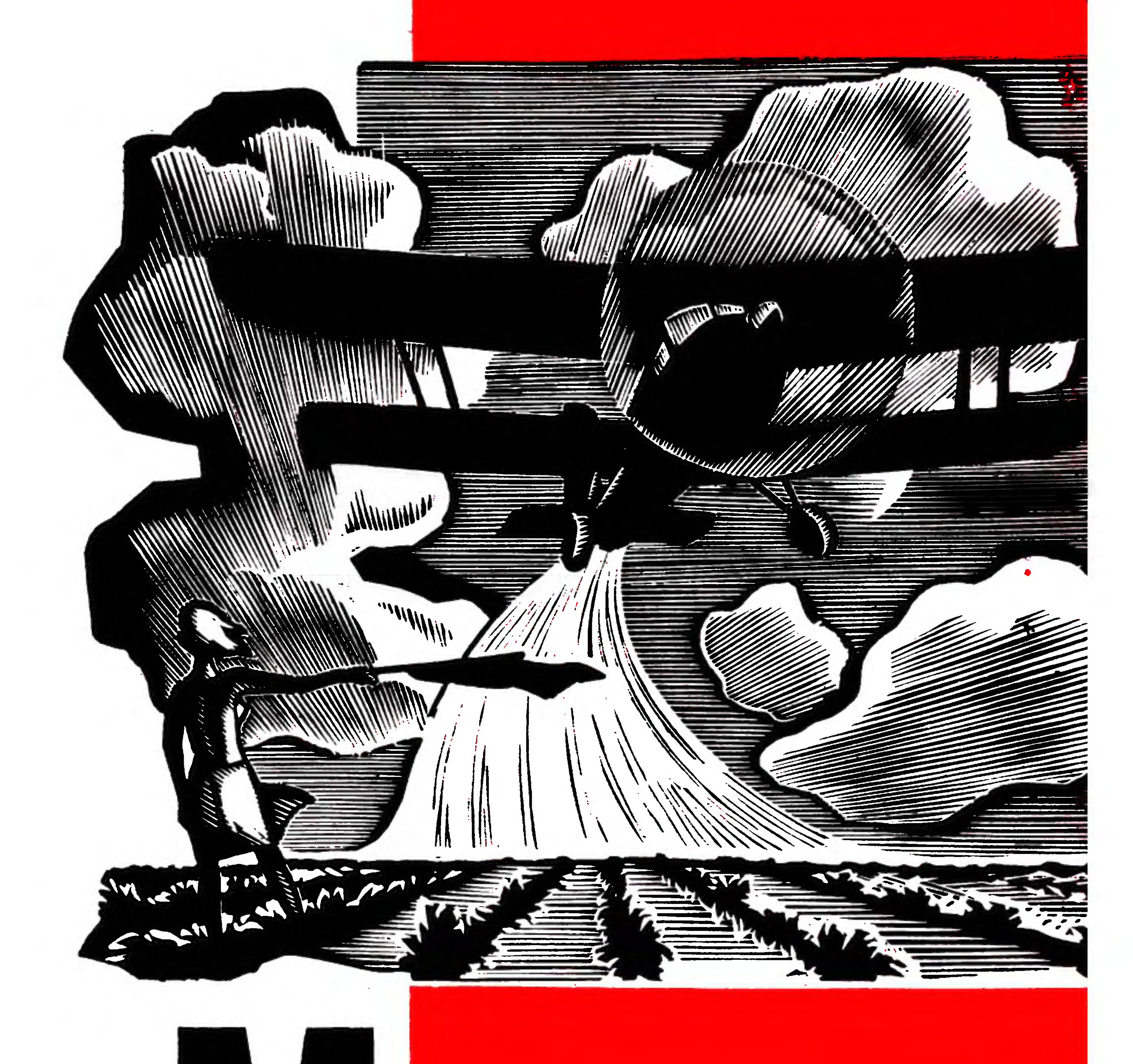
1973

8



Молодая гвардия

ВСЕСОЮЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА «ПО РОДНОЙ СТРАНЕ»

В. Озол (Рига), «УРОЖАЙ»

Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР И. Виеру, «СБОР УРОЖАЯ»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ

Молодая гвардия

1973
8

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

На первой странице обложки гравюра художника В. Носкова «Крылатый помощник».

Наш адрес:

Москва, К-30, Сущевская, 21, редакция журнала «Молодая гвардия». Коммутатор: 251-15-00; отдел прозы — доб. 2-40; отдел поэзии — доб. 4-13; отдел очерка и публицистики — доб. 4-26; секретариат — доб. 4-16; отдел критики — доб. 4-14; отдел «Товарищ» — доб. 3-66.

Подписка на журнал «Молодая гвардия» производится без ограничений, с любого месяца года.

В. КУЗЬМИН,
первый секретарь Красноярского краевого комитета ВЛКСМ

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Сибиряк — понятие емкое. Оно стало подлинно интернациональным. Сибирский характер соединил в себе все лучшие качества советского человека: глубокий патриотизм, несгибаемую волю, неуемное стремление к труду, честь, принципиальность и дисциплинированность. На протяжении многих десятилетий о Сибири говорили в будущем времени. Сейчас мы отмечаем то настоящее, которое вносит весомый вклад в рост экономического могущества страны.

Красноярский край по праву считается главным территориально-экономическим районом Сибири. Наш край — край молодых. Трасса мужества Абакан — Тайшет была в свое время Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС, Ачинский глиноземный и Норильский горно-металлургический комбинаты, десятки других крупных объектов не обходились и не обходятся без участия молодежи.

В день 50-летия Советской власти строители Красноярской ГЭС замуровали письмо к внукам 2017 года: «Только что электростанция, построенная нашими руками в суровых условиях Сибири, включила два первых своих агрегата, дающих энергии больше, чем все электростанции царской России». Нынче мощность станции, которая сдана в промышленную эксплуатацию, увеличилась в шесть раз.

Веление сегодняшнего дня состоит в том, чтобы как можно быстрее с наивысшей производительностью, с меньшими затратами ввести богатства обширного края в общехозяйственный оборот. Ключ к этому — комплексное развитие народного хозяйства.

На нашей территории пять Всесоюзных ударных строек, двенадцать объектов энергетики, тяжелой индустрии, легкой промышленности и сельского хозяйства объявлены краевыми ударными комсомольскими стройками.

Четыре года назад коллектив комсомольско-молодежного управления № 49 треста «Красноярскалюминстрой» развернул широкое движение за повышение производительности труда. Его призыв «Строить умело, хозяйствовать экономно!» подхватили многие строители края. Был проведен анализ деятельности управления за четыре года, составлен комплексный план мероприятий на пять лет. Начинание коллектива СУ-49, поддержанное всеми строителями и монтажниками края, позволило повысить производительность труда по Главкрасноярскстрою почти на пятьдесят шесть процентов.

В первый месяц девятой пятилетки комсомолия тридцати наиболее крупных и экономически сильных предприятий Красноярского края начала массовый поход-соревнование «От каждого — высшую производительность труда и отличное качество!». Бюро Красноярского краевого комитета КПСС и Бюро ЦК ВЛКСМ рассмотрели и одобрили работу краевой комсомольской организации по развертыванию социалистического соревнования среди молодежи. Поход-соревнование «От каждого — высшую производительность труда и отличное качество!» прежде всего соответствует главным направлениям экономической политики партии и учитывает особенности развития народного хозяйства края. Главная цель похода — сосредоточить усилия комсомольских организаций, каждого молодого труженика на поиске и использовании резервов роста производительности труда, на развитии творческой активности молодежи.

Мы выделили четыре магистральных направления деятельности молодежи в походе-соревновании: научно-технический прогресс, научную организацию труда, укрепление дисциплины и закрепление кадров, общеобразовательный, профессионально-технический и экономический всеобуч. Предложенная организация соревнования позволяет комплексно решать многие проблемы, объединить в единое целое различные почины и начинания, использовать опыт старших поколений.

Более двух тысяч первичных комсомольских организаций, сотни тысяч комсомольцев активно участвуют в краевом походе-соревновании «От каждого — высшую производительность труда и отличное качество!». Свыше двадцати тысяч юношей и девушек, не выполнявших ранее нормы выработки, стали их выполнять. Десятки тысяч молодых рабочих повысили квалификацию, прошли обучение в школах передового опыта. Участвуя во Всесоюзном общественном смотре использования резервов производства и режима экономии, комсомольцы и молодежь края внесли в «Комсомольский фонд экономии» девятой пятилетки двадцать пять миллионов рублей.

Основная задача похода — борьба за технический прогресс во всех звеньях производства. Экономисты и технологи помогают коллективам детально оценить свою работу, выявить профессиональные качества каждого рабочего.

Сегодня секретарь комитета комсомола реально, за одним столом с другими руководителями стал решать вопросы как воспитания молодого рабочего, так и выполнения производственного плана. Совершенствуются системы и методы работы всех руководящих органов. Вырабатываются стратегические направления в деятельности молодежи. Мы видим главный итог похода: комсомольское начинание перерастает во всеобщее движение.

Особое место в походе занимает инициатива токаря-автоматчика

Виктора Панова, который решил бороться за звание «Чемпион пятилетки». Инициатива красноярца облетела всю страну. В личных обязательствах Панова записано: выполнить пятилетний план к 29 октября 1973 года.

В своей речи на XV съезде профсоюзов СССР тов. Л. И. Брежнев сказал: «Передовой рабочий сегодня — это человек, обладающий глубокими знаниями, широким культурным кругозором, сознательным и творческим отношением к труду, он чувствует себя хозяином производства, человеком, ответственным за все, что происходит в нашем обществе».

Виктор Панов — один из ярких представителей именно таких людей.

В чем суть новой формы соревнования? Она объединяет в себе элементы социалистического соревнования и конкурсов профессионального мастерства. Молодые рабочие промышленных предприятий, вступая в борьбу за звание «Чемпион пятилетки», принимают социалистические обязательства по росту производительности труда, экономному и бережному расходованию сырья и материалов. В ходе борьбы за звание нужно добиться права участвовать в цеховых, заводских финальных соревнованиях за почетный титул. Завоевавшие первенство представляют свой коллектив на конкурсах различных рангов — от заводского до Всесоюзного.

Красноярский край — это громадный строительный полигон. Молодые сибиряки построили за годы восьмой пятилетки более ста пятидесяти крупных промышленных предприятий и производств. По объему производства край стоит на втором месте в промышленной зоне Сибири и Дальнего Востока.

На нашей земле родился комбайн «Сибиряк», так полюбившийся хлеборобам. Новая двухбарабанная машина имеет большие преимущества перед своими предшественниками, не уступает лучшим зарубежным образцам. Пятнадцать авторских свидетельств, золотые и серебряные медали ВДНХ получили создатели «Сибиряка».

Руками наших рабочих изготовлены мощные козловые, линейные и другие краны. Впервые в стране создан уникальный параллельно-передвижной кабель-кран с пролетом 750 метров. Запущены в производство три модели модернизированных лесопогрузчиков. Хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани, вырабатываемые на Красноярском шелковом комбинате, отвечают лучшим мировым и отечественным образцам.

Третий, решающий год пятилетки требует от комсомольских организаций бóльшей отдачи в борьбе за выполнение планов, за резкое повышение эффективности общественного производства. Когда в крае началось движение «От каждого — высшую производительность труда и отличное качество!», возникло много вопросов. На чем сосредоточить главное внимание? Какие направления в повышении эффективности производства взять за основные? Внедрение новой техники? Научную организацию труда? Повышение квалификации? Бюро крайкома ВЛКСМ неоднократно обсуждало эти вопросы. Было много споров. Одно не вызывало возражений: надо начинать со Всесоюзных и краевых ударных строек, потому что капитальное строительство для края особенно важно.

Выбор на ударные стройки пал еще и потому, что там более или менее сформировались рабочие коллективы, имеется солидная учебная база, выходят многотиражные газеты, роль которых

в организации соревнования очень велика. У крайкома с ударными стройками многолетние связи. Каждая ударная — это своеобразная лаборатория комсомольской работы.

Теперь, когда поход-соревнование «От каждого — высшую производительность труда и отличное качество!» принял массовый характер, можно порадоваться, — комсомолия и молодежь края вроде бы обрели новые крылья для полета. Молодежь края стала активно внедрять в производство все новое и передовое. Большая работа в этом направлении проводится комсомольской организацией рудника «Маяк».

«Маяк» — первенец Талнахского месторождения медно-никелевых руд. Здесь исследовательские работы по внедрению новой горной техники и технологии ведутся в промышленном масштабе. При комитете комсомола создана специальная группа «Поиск». Ее возглавляет молодой инженер, член крайкома комсомола Владимир Чернецов. Молодые специалисты участка внедрили комплекс самоходного оборудования для послойной обработки жильной руды. «Поиск» участвовал в планировании всех проектно-конструкторских работ по внедрению новой техники. Эта работа подняла авторитет комсомольской организации, помогла почти вдвое повысить производительность труда на руднике Талнаха.

В практику работы комитетов ВЛКСМ, советов молодых ученых и специалистов края вошло также осуществление «сквозного» контроля над внедрением той или иной научной идеи, включая ее разработку в институте, проектирование в конструкторском бюро и внедрение на предприятии. Так это делается, например, комсомольцами Сибирского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института имени Б. Е. Веденеева в содружестве с молодыми строителями Саяно-Шушенской и Усть-Хантайской гидроэлектростанций.

При непосредственном участии молодых специалистов и ученых на предприятиях края внедрены новшества, экономический эффект которых составил более шестидесяти миллионов рублей в год. Девять молодых инженеров края стали лауреатами премии Ленинского комсомола.

Бытует у нашей молодежи выражение — «чувство переднего края». Таким передним краем являются Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярский алюминиевый завод, Абаканский вагоностроительный комплекс, Норильский горно-обогатительный комбинат и множество других новостроек. За последние тридцать лет по комсомольским путевкам на этих стройках работало около двух миллионов юношей и девушек. Что их влечет туда? Желание посмотреть новые края? Найти выход неуемной энергии? Не только. Главное, они унаследовали от первых комсомольцев, своих дедов и отцов, великое чувство ответственности за преобразование жизни, готовность к самопожертвованию, стремление быть там, где труднее, где нужны молодые рабочие руки, мужество и оптимизм... Именно на таких стройках перед молодым человеком открываются широкие перспективы роста и возмужания характеров.

Ударные стройки — это не только романтика путешествий, это школа самостоятельности, возможность получить добрую профессию, найти себя, определить свое место в рабочем строю пятилетки.

■

Анатолий СОФРОНОВ



БЕССМЕРТИЕ

ПОЭМА

Памяти Героя Советского Союза
Николая Сипягина

I

Над Новороссийском полыхает зарево,
Догорают старые коряги...
Вот уже и нет возможности
нам разговаривать,
Николай Иванович Сипягин.
В ночь уходишь с катерами вместе —
Грузятся на палубу десантники.
Тихо...
Тихо...
Только шелест жести.
Затаенность.
Как же быть с романтикой?
А романтика —
это особая штука,
С нею здесь
в эту ночь не шути.
Если быть ей когда-нибудь
просто наукой,

К ней другие подходы
придется найти.
Кто на подвиг идет,
подвиг, смерти подобный,
О романтике, право, не думает:
Здесь забота одна
в эту полночь особая,
Чтобы не было — главное — шума.
Чтоб побольше пройти
и поближе подкрасться
Под недолгим полуночным пологом;
Если выйдет,
тогда до безумия драться,
А минует свинец —
и пожить
по возможности долго.
Не прощаемся, нет!
Это очень дурная примета,
Моряки и солдаты
обходят ее стороной...
Черноморская осень...
Как будто и не было лета...
Хорошо бы опять повстречаться весной...
Коля, Коля...
Товарищ Сипягин,
Капитан-лейтенант
в офицерской зюйдвестке!
Где,
когда,
у кого ты учился отваге?
Или ты получил ее
вместе с повесткой?

Катера... Катера....
Полуночные чайки...
Только чайки кричат
у родимого берега,
Ну а эти идут...
Продвигаются стайка за стайкой.
Ну а эти идут...
И молчат...
И молчат, но уверенно.
Да о чем говорить,
если главное — выдержка?!

Если все решено
и предельно рассчитано?!
Если будешь ты жить,
то на сердце ты вырежешь
Все, что видел,
что было тобою испытано!
Ночь темна...
Но и темень уходит,
кончается.
Зеленеет восток
над Цемесскою бухтой,
И торпедные катера
в атаку бросаются,
В загражденья сейчас
торпедами ухнут!
Все открыто уже
на огромном экране,
Что когда-нибудь мальчики,
возможно, увидят
в кино, —
Загражденья торпеды
таранят,
таранят,
И как будто все море вокруг
взметено!
Прибавляются серые,
желтые,
алые краски,
И уже полыхает над морем
рассвет;
И все ближе,
все явственней
видятся каски,
Ненавистней которых сейчас
для десантников
нет!
Вот уже катера
миновали проломы
И на полном пределе
устремляются в порт,
В этот порт,
где когда-то ходили как дома...

В этот порт,
что лежит у подножья
сурового гор.
Но навстречу завесой
свинцовой,
смертельной
Пулеметы из дотов,
минометы огонь
по десанту ведут;
Выбирая
летящие к берегу цепи
отдельно,
Бьют,
уже обреченные, гады,
но бьют!
Моряки...
Моряки...
Бросаются в воду кипящую!
Моряки.
Моряки...
Цепляются за парапет...
Чей-то голос звенит:
— Прощайте, товарищи! —
Как итог,
как призыв,
как завет!
А на катере главном,
за борт ухватившись,
Сипягин
На сраженье в порту
потрясенно глядит;
Он бы кинулся сам,
полный сил и отваги,
Только надо опять
катера
в Геленджик уводить.
Он глядит потрясенно
на вздыбленный
в мареве,
Окруженный дымами
и огнями
Новороссийск...

...В этот день мы сумели
с ним разговаривать
В пределах отпущенных
жизнью границ.
...И пока катера
в путь опять собирают
И латают
пробоины второпях,
Мы стоим с Николаем
у самого края,
Там, где жизнь и смерть
на одних якорях.
Он уходит опять с катерами
и вновь возвращается,
И бессонны глаза
под свинцовою тяжестью век...
И никак не поймешь,
где кончается жизнь,
а где начинается,
Та, что после зовется
бессмертьем
навек...
Трое суток гремел
возле Черного моря
Этот праведный бой,
в песни вписанный бой;
И вздымалось у моря
«ура-а!» громовое,
Заглушая надолго
осенний прибой.
Здесь сошлись и обнялись
малоземельцы
Вместе с теми,
кто в город ворвался
на катерах.
Те, кто шел,
уходил в полуночные рейсы,
Кто давно позабыл,
как стояли на якорях.

...А десантники вновь уплывают все дальше,
к Анапе,
К Темрюку,
отступающим наперерез...

Это битвы Кавказской
было последним этапом —
За туманом виднелся уже
Херсонес.
За проливом синели
Крымские горы,
Керчь и Ялта,
Севастополь в дыму...
А у бухты Цемесской
лежал
в развалинах город —
Я отныне до смерти
приторочен к нему!
Коля, Коля...
Товарищ Сипягин!
Капитан-лейтенант
в офицерской зюйдвестке!
Где,
когда,
у кого ты учился отваге?
Ты ее получил, Николай,
без повестки.

...Вновь идут катера...
Все дальше идут,
за Анапу.
Снова бой,
снова кровь,
снова смерть достается живым;
И война продолжается,
все новым и новым этапом, —
Керчь лежит впереди...
Это значит и Крым.
Это значит опять
за десантом десанты;
Ночь не ночь
и туман не туман.
Катера на ходу...
Катера как атланты.
На ведущем стоит
капитан-лейтенант.
И опять,
и опять
темный берег и взрывы,

Минометов немецких
натужный захлеб;
Моряки...
Моряки...
Уже за проливом —
Это новый встает
Перекоп.
Катера отплывают...
К Тамани несутся.
За кормой поднимаются
брызг веера...
Но проклятые мины
осколками рвутся,
И осколки впиваются
в катера.
Если б только в железо впивались,
в обшивку,
Если б руль оторвали,
отбили винты, —
Все равно бы дошли,
доползли на обрывках, —
Сколько раз уходил,
находил это мужество ты?!
Только падает навзничь
на мокрые доски настила,
Опрокинут Сипягин...
Осколки в зюйдвестку впились...
Долго смерть стерегла...
Над проливом настигла —
На лету,
на ходу
обрывается жизнь.
Волны бьют по бортам,
волны хлещут свинцово,
И Сипягин лежит,
остывая во мгле...
И два моря над ним
наклонились багрово,
И уже в тишине
катера
подплывают
к земле...

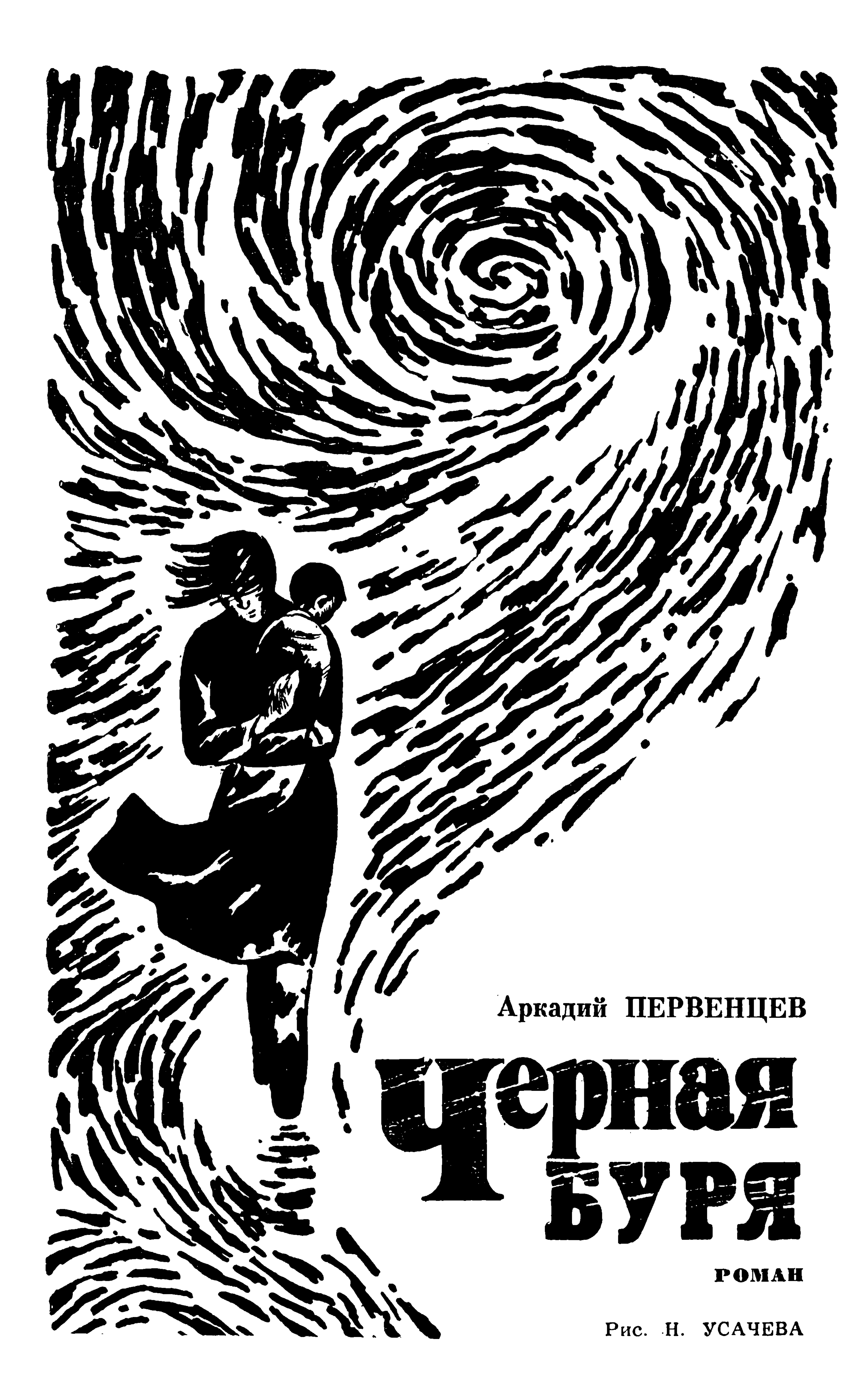
II



В Новороссийске зной и тишина,
Сияет солнце в дымке над горою.
И вместе с дочерью
Сипягина жена
Подходит молча
к площади Героев.
Горит огонь у двух гранитных глыб,
Плывут над камнем
реквиема звуки;
И кажется,
ломая все углы,
Сюда два моря
протянули руки.
Здесь Цезарь Куников
с Сипягиным лежат,
Два друга,
а по смерти одногодки;
Две доблести,
два мужества,
два рубежа —
Одной строкой
они входили в сводки.
Одной строкой
в один и тот же год;
Одни и те же
взятые вершины —
Из жизни
самый трудный переход
Они к Бессмертью
вместе завершили.
Теперь за ними
Малая земля.
Новороссийск.
Таманский полуостров.
Теперь над ними
вольная семья;
Все братья здесь,
все матери и сестры.
У них двоих,
у Вечного огня
Людей молчащих
круглый год избыток;

И ветры с моря,
облака гоня,
Их пропускают
низко над гранитом,
Над тополями
и над мостовой,
Где шли в атаку
моряки когда-то, —
Сипягин здесь,
новороссийский,
свой,
Живет,
минуя возрастные даты.
Он слышит бой
курантов и сердец
И голоса веселые без меры,
Где имени Сипягина
Дворец
Новороссийских
юных пионеров.
Они в зюйдвестках,
шитых по плечу.
В музее смотрят
старое оружье...
...Я верностью
и памятью плачу
Тебе, Сипягин, —
вечной нашей дружбой.

1972—1973 годы



Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ
Черная буря
РОМАН
Рис. Н. УСАЧЕВА



Глава шестая

После уборки урожая Анатолий Кибрик сдал дела Тимофею Аулову, получил расчет и окончательно решил переехать в Лебедянку.

— Желаю тебе не только успеха, Анатолий, — сказал тепло Повалий, — желаю, чтобы встречал людей, похожих на себя, чтобы не обманули они тебя. Доверчив ты и прост... — Бригадир обнял Анатолия, смущенного проявлением нежности. — Спасибо, что не бросил дела в разгар уборки урожая. Сумели мы при общем круге в пять центнеров взять почти двадцать. Твоя тут большая заслуга.

— Заслуга всех, Николай Иванович.

— Спасибо, ввел Тимофея в курс дела...

— Да откуда вы знаете, Николай Иванович? — спросил Тимофей со смущенной улыбкой.

— Следил я за вами, хлопцы. Видел, как вы колдовали возле каждого трактора и комбайна.

Окончание. Начало в № 6 и 7.

За месяц до этого заключительного аккорда, когда косили рано поспевший ячмень, Анатолий и Римма расписались в загсе. Все было сделано тихо и скромно. Неудачный послебуревой год не настраивал на веселье. На семейный узкий прием пригласили Харченко, Зарембу, Потапова и Повалия. Были еще кое-какие родичи по линии Тарасенко, наскочил Лихопят в одиночестве, приезжал на часок Макуха, и, как ни странно, Безмерный появился с янтарным ожерельем для невесты. Родителей Анатолия из Лебедянки не вызывали: острый вопрос обошли как бы стороной, втихомолку. Маринка привела Петю Повалия к самому концу ужина, и тот тайком от отца хватил даже лафитник водочки. Цвела Маринка возле кавалера, поминутно оправляла волосы, приосанивалась. Зоя мило глядела на молодую, неоперенную пару, улыбалась по-матерински, завидовала свежему лицу сестренки.

Свадьбу отгуляли в доме Ауловых. Тарасенко продолжали жить на прежнем месте, в квартире Барышевой, которая сама, не придя на ужин из-за хворобы, прислала поздравительную телеграмму.

— Анна Сергеевна не забыла нас, — радовалась мать Тимофея, поглаживая телеграмму и обращаясь с ней, как с живым существом.

Так было все ясно и просто в объединенной семье Тарасенко-Ауловых. Никто не знал, что ждет их впереди...

* * *

Земледельцы бережно врачевали раны земли. Над полями, дорогами, реками, станицами, казалось, держался черный туман. Бульдозеры и скреперы разволакивали курганы наносов. Тимуровские отряды расчищали дворы стариков и инвалидов. И в этой битве детство наращивало крылья мужества, зрел и укреплялся дух взаимной ответственности.

Анатолию Кибрику было неловко за свои прогнозы о беззащитности земли, о ее преждевременной смерти: были санитары, лекари, земля кровоточила, но уж это доказывало ее жизнь — мертвое не дает крови.

Из окна конторы можно было видеть вынесенную на возвышенность строительную площадку животноводческого комплекса. Упрямый Повалий продолжал строить

задуманное им предприятие. Край обязан был увеличить производство мяса на восемьдесят восемь тысяч тонн, молока на двести тысяч.

Молоко, свинина, говядина, птица, яйца. Сказочные цифры, неумолимые требования, жесточайшие сроки... Могла кругом пойти голова. Анатолий понимал, что за этими цифрами стоят тысячи мужественных людей, способных тащить все вперед и выше. Тимофей дотошно выкачивал из него все: наряды на запчасти, на станки, уточнял, сколько затребовано машин под стихию, успели ли выцарапать их или еще где-то завязли?

— Сдаю тебе хозяйство в полном порядке, Тимофей, — заверял Анатолий. — В обиде не будешь.

— Могу подтвердить.

— Рад, что попадает в твои руки. Ценю твою любовь к технике.

Тимофей пожал плечами.

— Не скрою. Каждый механизм для меня живой, — продолжал Анатолий. — Я даже голоса машин различаю, узнаю с закрытыми глазами не только марку, а какой именно трактор, комбайн или автомашина. Только не смейся.

— Я не смеюсь, — с трудом выдавил Тимофей, — есть выражение — любить технику. Употребляют такое выражение часто, затерли его, а вот подумай, большое слово — любить. Любить можно живые существа, вот ты и одушевляешь машины, тебе я верю, любишь...

Тимофей говорил долго, опустив густоволосую голову. Под потолком вяло зудели мухи. Из коридора доносились голоса трактористов. Возможно, они поджидали смены начальства или просто собрались позубоскалить во время обеда. Когда Тимофей и Анатолий вышли на улицу, механизаторы старались посторониться, чтобы пропустить их, и Анатолий заметил, что это нравится Тимофею, возбуждает его, заставляет держаться по-иному, чем раньше. Анатолий с грустью подумал об опьяняющем вине власти, а когда они уселись за столик под ивой, высказался вслух. Скулы Тимофея порозовели, дрогнули уголки обветренных губ, и глаза потемнели и сузились.

— Это я тебе по-родственному, — вздохнул Анатолий, — без всякой подковырки.

Тимофей обернулся к смущенному Анатолию:

— Пожуем чего-нибудь?

Недалеко от них обедали сухомятчики, пренебрегаю-

щие столовой по разным соображениям. Один из них, пожилой тракторист, обдирал яйцо негнущимися, железными пальцами. Другой, в клетчатой пропотевшей рубахе, молодой, смачно грыз утятину, запивая из горлышка бутылки ряженкой, третий, аккуратно разложив на газете помидоры, вяленого чебака и яйца, подтачивал складной ножик на грубой, землистой ладони. У всех сухомятчиков было одно и то же выражение и на лице. Они знали о смене механиков, и знали и о том, что без них не обойтись, и потому держались с достоинством, как бы подчеркивая мудрость простого люда: нам, кто ни поп, все батько.

Из-под плакучих ветвей вербы вынырнул Чубов, веселый, оживленный, загорелый, только зубы светились под сочными, трепетавшими губами.

— Смена смене идет! — Он растопырил руки как бы для объятия. — Был механиком Лихопят, сменил его Чубов, а Чубова Кибрик, а Кибрика Аулов! Бабка за дедку, дедка за репку... Здорово, хлопцы-запорожцы! — Чубов похлопал всех сидевших под вербой по спинам, по плечам и зычным голосом, приложив раструбом ладони, приказал кухарке притащить из погребца дюжину пива и вязку азовской таранки.

В раскрытом окне столовой появилась кухарка, перегнулась пышным станом на подоконнике, крикнула в ответ и вскоре пришла с подносом, уставленным бутылками местного пива. Девушка в поварском колпаке и полотняном халате, что делало ее похожей на медсестру, несла блюдо с вяленой таранкой.

— Дожидалась вашей команды тараночка, товарищ Чубов, — певучим голосом сообщила кухарка, женщина разбитная, обладающая даром приветить любого человека. — А пивко-то такое холодненькое, припотелое...

Женщина накрывала стол с радушной улыбкой, округляя карие очи с подведенными бровями. Она будто невзначай задевала мужчин то локтем, то бедром, а то и грудью, жмурилась, изучая впечатление, и с бесстыдной откровенностью подталкивала наперед новенькую подавальщицу, девушку красивую и застенчивую, в халатике, перехваченном пояском по узкой талии.

— Покидаете нас, товарищ Кибрик, покидаете, — выпевала кухарка. — На кого же нас оставляете?

Анатолий воздерживался от разговора, сидел понурившись, не старался вникать в смысл путаного застоль-

ного разговора. Год завершался трудно, хотя все было сделано: и пересеяли, и подкормили, и расчистили поля. Опять подвела природа, не было дождей. И осень пришла знойная, с неостывшим опаленным небом, с сухими грозами, полыхавшими, как далекие артиллерийские залпы.

— Ничего, ничего, — бодрился Чубов, — риск — благородное дело. Теперь вплотную возьмемся за мелиорацию, планы широченные... Будем строить орошаемые пастбища, каналы пробьем, ученые-то для чего, а? Теперь хлебороб не сам по себе, во-о какая ширь, одних институтов не перечтешь. А неудачи всегда бывают, без них нельзя. — Чубов забивал этими густыми словами то, что также копошилось в душе Анатолия, угнетало его. — По краю дают в среднем двадцать центнеров с гектара! Слыхал такую цифру? И это все сделали люди.

Пожалуй, подумал Анатолий, Чубов охмелел не только от пива. Когда он до последней косточки разделывал таранку, под клетчатой рубахой двигались, как жернова, круглые, мощные лопатки, в кошачьих глазах то зажигались, то гасли огоньки.

— С кормами швах и два нолика, — продолжал Чубов, — и все же, Анатолий, сам знаешь, берем полову, шляпки подсолнухов, ботву, с жомом договорились, косим, где только травка выскочит, дает на самый низкий срез косилки... Если даже подержится сушь, все равно не дадим сбросить ни одного рога, а тем более не погоним куда-то на зимовку...

Анатолий поймал себя на тайной мысли, что ему теперь безразлично, как сложится дело в колхозе, выкарабкаются или нет, все позади, чужое, и люди говорят с ним пока по привычке и тоже понимают, что не ему впрягаться в ворот, не ему крутить колесо.

Чубов делится своими заботами о машинах не с ним, как прежде, а с Тимофеем. «Отрезанный ломоть, отрезанный», — думал Кибрик. Его скупые слова выслушивались вежливо, но, судя по всему, в расчет не принимались.

Непроизвольно возникшие проводы тяготили Кибрика. Подошел агроном с рулеткой, присел, снял шляпу, пригладил рыжеватые длинные волосы ладонями, жадно выпил пива, обратился к Тимофею:

— На дискование четвертого поля надо поставить Рух-



лова, а Горчака занарядить на транспортировку кукурузы.

«Ведь я возвращаюсь к себе, — подумал Анатолий. — Почему же мой поступок не понимают люди?»

Девушка из столовой переглянулась с агрономом и, краснея, ушла, высоко подняв красивую головку.

Чубов и Тимофей сидели друг против друга и с наслаждением курили. Говорили о настроении в работе, касались бригадира, его требовательности, иногда яростной, и Чубов как бы призывал молодого механика к осмотрительности.

— С Повалием, пойми меня

правильно, Тимофей, работать двояко. И легко и трудно. Находиться вблизи великих — значит обречь себя на затемнение. Работать приходится как бы на них. Как ты ни крутись, а когда бригада взяла двадцать по кругу, кого во всех газетах просклоняли как пример вырванных от природы милостей? Повалия. Мы обслуживаем великана, Тимофей. Мы — спутники планеты, и всякий мимо пропустит и наш перигей, и наш апогей...

Тимофей, чтобы не показывать свое отношение к словам Чубова, хмурился и оглядывался, нет ли посторонних, так как, будучи воспитан в армии, воздерживался обсуждать своих командиров.

— Надо идти, товарищ Чубов.

— Еще пивка, а? У меня загашник.

— Нам пора до хаты, — Тимофей поднялся. — Поедем, Анатолий.

— Родычи!.. — Чубов погладил мотоцикл Анатолия: — Не продашь мне по старой дружбе?

— Нет, — Анатолий завел мотор, проследил, чтобы в коляску уселся Тимофей, — не продажный...

— В Лебедянку берешь? Будник не найдет машины для долгожданного механика?

— В Лебедянку не беру.

— Не берешь и не продаешь? — перекричав треск мотоцикла, удивленно спросил Чубов.

— Ивану Терентьевичу отдаю. Ему теперь добираться в стан далековато. Автобус не всегда подают.

— Верно! Пока! Пожалуем в гости за рыбкой, не прогонишь?

— Приезжайте, рад буду.

Анатолий завез Тимофея домой, высадил у калитки и, издали поприветствовав что-то делавшую во дворе Зою, уехал. Ему надо было собираться в путь. Невелик был его багаж, немногим обзавелся он, а все же следовало все упаковать, собрать, сложить. Римма поджидала его у родителей.

Никто не мог заглянуть в душу Анатолия. А если бы и смог, увидел бы много незаполненных пустот. Бывает иногда так пусто. Не мог он привыкнуть к станице, не сумел обзавестись товарищами. Как-то не удавалось, не выгадывал времени, все работал, работал... Прокля-

тый круг, беличье колесо. К семье Тарасенко он продолжал питать добрые чувства, ценил стариков, забавляла его Маринка, и, пожалуй, только их и жалел при расставании. Неизвестно, как сложится жизнь. Не всегда если близко — значит рядом.

Заведя мотоцикл во двор, еще заваленный черной пылью, Анатолий поднялся на третий этаж и застал в квартире Анну Сергеевну.

— Какими судьбами, Анна Сергеевна?

— Ехала из исполкома, дай, думаю, заверну, — радушно ответила она, подала руку, присматриваясь к Анатолию. — Успела перекинуться парой слов с Параскевой Терентьевной, с Риммой... — Она усадила его рядом с собой, незаметно мигнула женщинам и, когда те вышли из комнаты, сказала напрямик: — Звонил мне Чубов, не нравится ему твое настроение, Толя. Что тебя мучает?

Анатолий вспыхнул, смутился, не зная, что отвечать. Замешательство его было понято Барышевой правильно, и она сказала:

— Если не сумеешь сформулировать причины, не пытайся, — голос ее стал крепче, нотки грубее. — Я говорила с Дудариным, с Потаповым, если вы с Риммой передумаете, дадим квартиру. Ваши останутся здесь, а вы своей ячейкой. Если надо будет родителей перевезти, пожалуйста.

Она ожидала ответа, продолжая пристально смотреть на собеседника. Анатолий поблагодарил за внимание и стоял на своем. Родители сюда не поедут, в Баклановской тоже обещали квартиру, таким образом, дело-то, может быть, в нескольких месяцах, и они сумеют перебиться пока в Лебедянке.

— Бесповоротно решил, Анна Сергеевна, — выдавил Кибрик, закончив откровенные признания, — сами понимаете, там ждут, и вдруг... Каково им, Анна Сергеевна?

— Да, им будет трудно, — согласилась Анна Сергеевна. — У нас расчеты, а у них чувства. Мы постановим на бумаге, а у них царапнет по сердцу... Я сама мать, Анатолий... — Барышева поднялась. — Могу пожелать любым родителям такого сына.

В комнате появилась Параскева Терентьевна с рушником на плече, заторопилась к столу, сдернула бархатную скатерку, застелила холщовой, застучала тарелками и вилками.

— Нельзя, нельзя уходить, Анна Сергеевна, откушайте с нами.

— Напрасно стараетесь, Параскева Терентьевна, обязана быть дома.

— Да хоть пышечки...

— Пышечку съем, — согласилась Анна Сергеевна, — только на ходу. Со сметаной пышечка?

— Со сметаной, а как же? — Параскева Терентьевна мигом вернулась с пышками и сметаной, налила по чашке молока. За стол сели Анатолий, Леночка и Римма. — Вы уж нас не браните, Сергеевна. Заняли вашу квартиру. Начали строиться, отпустили то и другое, стеновой материал и кровлю. Чуточку задержались, надо было комбайнировать кукурузу, разве моего оторвешь от поля... Не такие пышечки, Анна Сергеевна, на газу не такие, скажу откровенно, и молоко не такое, как от своей буренки, и солений никаких, и меду нету... — Параскева Терентьевна постепенно как бы теряла голос, вновь вспоминая недавнее горе.

Анна Сергеевна перевела разговор на другую тему, ведь скоро Терентьевну можно будет поздравить с внуком или внучкой, обрадует Зоя.

— Думаю дождаться, — оживилась Параскева Терентьевна, — какую бурю испытала Зоя, не отразилось бы... Домик-то они свой заканчивают, а мы напротив, через улицу. Не знаю, сумеем ли осилить стройку до первого снега?

Глава седьмая

Близилась осень, начнутся штормы, непогода, совсем закиснет Лебедянка. Анатолий не представлял себе, как приживется там Римма. Он хорошо понимал, что, согласившись на переезд в Лебедянку, она примирилась с неизбежным. Поступить по-другому — значит потерять мужа. Как бы отрезая себе пути, она настояла на регистрации брака, понимая, что этим делает уступку родителям мужа и избавляет себя от двусмысленного положения.

Анатолий любил свою мать тихой, ненавязчивой любовью, свойственной неиспорченным, впечатлительным

детям. И в то же время он ловил себя на мысли, что осуждал мать, ее упрямство; невольно проводил параллели с другой матерью, с Параскевой Терентьевной, умевшей иначе смотреть на вещи, не осуждать, не требовать, а применяться. Не замечал он в ней угодливости, присущей хитрым женщинам. Поступки ее отличались искренностью, естественно вела себя эта трудолюбивая, сердечная женщина.

— Может быть, оставите пока Леночку у нас? — осторожно спрашивала она. — Осмотритесь, приладитесь, а тут рукой подать.

— Решили, значит, решили, — отрезала Римма. — Не дело — ребенком перекидываться!

Параскева Терентьевна покорно выслушивала раздраженные слова дочери, не перечила ей, старалась успокоить, обойтись с нею помягче, чтобы не омрачать последние дни.

— Понимаю, свой ребенок... Без Леночки заскучаешь, затомишься... — Она собрала их в дорогу и проводила, не уронив ни одной слезы.

После отъезда Риммы и Анатолия, когда «рафик» пропал в пыли, Параскева Терентьевна, придерживаясь за перила, тяжело поднялась на третий этаж и, еле переставляя ноги со ступеньки на ступеньку, прошла в узкую каморку кухоньки, прислонилась плечом к окну и дала волю печали. Никто не увидел ее слабости. Умылась холодной водой, осмотрелась, перевязала платок и возвратилась к своим с улыбкой.

— Нам так хорошо с мамочкой, — говорила Маринка, блестя глазами, недавно еще омытыми слезами, — вот я никуда не уйду, не брошу вас.

— Еще как уйдешь, — сказала младшая, Маша, — с Петькой своим уйдешь.

— С каким Петькой? Замолчи!

— Ничего тут дурного нет, — мирно говорила мать, — у каждой будет свой Петя, Коля, Ваня... Так устроено на свете, — она ободряла смущенную Маринку, подходила к молчаливо пригорюнившемуся мужу. — Чего пригорюнился, Терентьич?

— Ничего, — встрепенулся Иван Терентьевич, — ничего... Мотоцикл он мне оставил... Сказал всего три слова: «Возьми, батя, ездий».

— Мотоцикл, — мать огорченно вздыхала, — разве дело в мотоцикле?..

Иван Терентьевич понимал, что дело действительно не в мотоцикле, но ему хотелось чем-то заполнить пустоту, чем-то заделать брешь, пробитую в семье отъездом Анатолия, Риммы и единственной внучки.

Параскева Терентьевна понимала мужа и находила способы утешить его. Недаром кто-то утверждал, что женщине легче переделаться. Мужчина, мол, живет рывками, а у женщины жизнь идет ровно, как речка. Где немного воронкой закрутит, где с камня вниз польется, а течение ровное.

Течение этой реки помогало Римме заранее приучить себя к любым обстоятельствам. Ей было труднее, она начинала жизнь, и многое из всепобеждающих качеств женщины еще не укрепилось в ней.

Маленький «рафик» миновал окраину станицы и, перевалив шоссейную магистраль, покатил по асфальту на Баклановскую. В автобусе были сложены чемоданы, матрац и подушки, связанные дорожными ремнями. Римма в темных очках, косынке и в брючном костюме сидела у окна.

— Оделась бы поскромнее, — посоветовал Анатолий,— там не поймут...

Она настояла на своем, и теперь они ехали молча, недовольные друг другом. Когда свернули на Баклановскую и по сторонам замелькали живописные фермы и лесополосы, Римма побаловалась с Леночкой, заставила ее похохотать, передала ее мужу.

«Рафик» бежал быстро. Шофер, молодой паренек в ковбойке и с удлиненными по моде, опаленными солнцем висками, искоса поглядывал на Римму и попытался даже ей подморгнуть.

— Парень-то подмаргивает, — Римма повеселела.

— Почему ты на всех производишь впечатление доступной? — буркнул Анатолий.

— Я и в самом деле доступная, — отпарировала она. — Это ты все время хмуришься, жуешь губы, будто подсчитываешь, сколько тебе до миллиона не хватает.

Леночку укачало, и она уснула на руках Анатолия. Римма протянула руки.

— Дай ее мне, Толя. Ты ей завалил головку.

— Хорошо. Я поправлю, — он нагнулся над спящим ребенком, сдул с ее волос муху, устроил удобней.

— Не надо ее будить, — сказал он.

— Мы сразу в Лебедянку? — спросила Римма.

— По-моему, да. Сразу устроимся. Лучше засветло.

— А там есть электричество?

— Конечно. Ты имеешь в виду не уличное освещение?

— Куда там!.. — Она улыбнулась, поправила очки у переносицы и, думая о своем, о том, что ей предстоит, закрыла глаза. Годы, проведенные с первым мужем в многолюдном, своеобразном портовом городе, и тем более первые годы самостоятельной, удачной, обеспеченной жизни, нельзя сказать чтобы испортили ее, но отучили от скромной трудовой жизни. Городская квартира, приличная зарплата мужа, регулярные подарки после возвращения из заграничных рейсов; определенный круг знакомств, веселые, молодые товарки, так же, как и она, поджидавшие мужей с моря, болтовня в парикмахерских (все готовились, принаряжались), праздник, праздник... Каждое возвращение — праздник. Пусть коротки свидания — танкеры заполнялись быстро, — все же приятно, шумно, радостно... Теперь все позади, все!..

«Я, видно, плохая жена, плохая подруга мужу, — мысленно укоряла себя Римма, — испорченная, избалованная. Мне тяжело, но и ему вдвое...»

К Баклановской подъехали в двенадцатом часу.

— Председатель ждет, — сказал шофер, обернувшись к загрустившей Римме, — на капе́пе ждет.

— Каком капепе?

— Против «дикарей» было сделано капепе, чтобы не притащили холеру... Сейчас капепе закрыли, а будка осталась.

Председатель рыбколхоза Будник глядел в ту сторону, откуда должен был появиться «рафик». Убегала будто отковăнная из стали лента дороги к опаловому небу, колыхалась в мареве, ершисто выпячивались на бугровине акации.

Водитель дремал, уронив голову на скрещенные на баранке медного цвета руки. Кепка прикрывала от солнца левое ухо. Дверцы распахнуты настежь для движения воздуха. Букет цветов прикрывала газета «Советская Кубань», где бросалось в глаза отбитое в рамку сообщение о ходе бетонных работ на основных объектах Краснодарского водохранилища.

Узнав свой «рафик», Будник оживился, примял рыжие кудри перед автостеклом, как перед зеркалом. Повернул туда-сюда голову на массивной шее и, оставшись довольным своей внешностью, взял букет, встряхнул им, как веником, чтобы придать ему живость.

Будник был наслышан о модной женушке Анатолия. Разбудив шофера и кивнув на дорогу, он вышел на ее середину, остановился, широко расставив ноги в начищенных туфлях и застегнув на все три пуговицы короткий пиджак. На его лице, тронутом созвездиями конопушек, появилось радушие, губы заранее сложились в улыбку, глаза прищуристо вглядывались в приближающийся «рафик».

Заранее обдумав формулу приветствия, Будник все же волновался в предчувствии встречи с «женушкой-лебедушкой», как он мысленно окрестил Римму. От ее поведения зависела крепость семьи Кибриков и, само собой разумеется, закрепление в артели нужного ему механика. Матвей Иванович обладал достаточным тактом, чтобы не ставить такого вопроса впрямую, но поведение свое подстраивал под эту основную цель.

Он подождал, пока «рафик» остановится у будки, и с широкой улыбкой, обнажая удивительно белые для курца зубы, подал коротконалую руку Римме, преподнес ей цветы и предложил пересесть в «Волгу».

— Мы сразу туда? — спросила Римма, насильно улыбаясь, привыкшая понимать мужчин, терявшихся от ее томного взгляда.

— Туда? — переспросил Будник. — Вы имеете в виду Лебедянку? Сначала пообедаем в станице, а потом и на лоно природы. — Он присел на корточки возле Леночки, попробовал сделать пальцами «козлика». — Как же вас зовут, царевна Несмеяна?

Девочка смотрела хмуро, прижимаясь к Анатолию. Будник обескураженно пожал крутыми плечами.

— Не вызвал доверия. Ну, прошу... — Подождав, пока семья устроится, сел рядом с шофером, хлопнул дверцей. — В ресторан! Братва тебя ждет, Толя. Ты знаешь, как они тебя уважают?

— Может быть, не стоит сразу в ресторан? — сказала Римма.

Будник развел короткими руками, выразил недоумение.

— Как же, как же, перекусим. Ресторан при гости-

нице. Номер заказали. Умоетесь, переоденетесь... — он глянул на ее брюки и, чтобы снять недомолвку, добавил: — Еще год назад засмеяли бы... А теперь молодежь охотно носит брючные костюмы... И какие еще! Бельгийские, французские! Спросите, откуда? Отвечу. Кооперация имеет связь с загранфирмами через крайпотребсоюз. Мы им раков, тыквенное семя, лубяную костру, камыш, копыта, хвосты, рога и тому подобное, а они нам ширпотреб...

Будник разговорился, его голос стал крепче и уверенней, потеряв первоначальные нотки некоего подобострастия. Да и сам он по-хозяйски приосанился, поважнел. А почему бы не так? Дело сделано, механик вошел теперь в его кадры. Он говорил о том, как рыбколхоз пережил бурю, какие понес потери, так как у него не только море, а имеется и земля.

— А как «Четвертый корпус»?

— Пошатало его здоровье, Анатолий. Сдирало кожу с земли, а казалось нам, сдирают ее с самого Кучеренко. Забрался в долги Кучеренко. Ничего! Если будущий год даст удачу, все перекроет и баланс укрепит. Игнат Степанович есть Игнат Степанович! У него из жмени не выльется...

Неинтересными, чужими казались Римме дела в Баклановской. Зудело в ушах от крикливого, осадистого голоса Будника, даже Леночка пугливо жалась к матери. Анатолий оживился, вникал в дела, расспрашивал, и Будник старался показать свою осведомленность и ввести механика в курс артельных забот.

— Нам надо перелудить всю посуду, Анатолий! — яростно выкрикивал увлеченный Будник. — Что надо, скажи! Чего нет — найдем! В Жданов пошлем! В Ростов! В Краснодар! В Темрюк! У нас морская дружба. Сам погибай — товарища выручай! Рыбаки, как матросы, держатся друг за друга... Земли нет под ногами, сам знаешь.

Они проехали пыльной станицей и остановились у гостиницы, той самой гостиницы артели «Четвертого корпуса», куда попал Безмерный в первый день своей колхозной жизни.

Их уже поджидали Кучеренко, Безмерный и еще какой-то человек в наглухо застегнутом офицерском кителе, с седыми, выстриженными под нулевку висками. Это был отставник, ныне директор гостиницы.

— Римма Ивановна! — Безмерный радостно поднял руки. — Наконец-то...

— Здравствуйте, Михаил Кузьмич, — Римма улыбнулась ему, познакомилась с Кучеренко и директором гостиницы, жеманно поцеловавшим ей руку.

— Прошу, прошу, — сказал он, — рассчитывайте на наше гостеприимство. Пожалуйста, приводите себя в порядок с дороги, разрешите проводить, а потом и откушаем...

Когда приехавшие ушли в номер, Будник толкнул в бок Кучеренко.

— Как, Игнат Степанович? Умеет Будник принять по первому разряду?

— Чем удивил. Знаем тебя. Умеешь пыль в глаза пускать.

— Ты приметил, какая женушка, а? Стряхнуть бы с моего спидометра годков бы... двадцать. Как, товарищ Безмерный?

Тот только улыбался.

Солнце шло к закату. Море бугрилось плавной зыбью. Чайки бросались вниз, по-видимому, близко проходили косяки тюльки.

Отец и мать все глаза просмотрели, поджидая молодых. Загустела лапша, перепарилась снедь.

— Да як же понимать? — в который уже раз спрашивала Матрена Свиридовна. — Может, що случилось?

— Замолчи, стара, — останавливал ее муж, — ще накаркаешь.

— Накаркаю? Та що я ворона? — Она прикладывала руку к слабеющим глазам, вглядывалась в мутные очертания побережья, надеялась только на чуткость своего сердца. Оно-то подскажет раньше любого сигнала. — Подывись, ось там пылюка взялась, Опанасе.

— Какая там пылюка, то хмара, — отвечал ей Опанас.

Свиридовна осмотрела нашнурованных для провяливания судаков. Они еще были с сырцой из-за малого солнца.

— Едут, едут! — сказал Опанас.

Свиридовна заторопилась к калитке, успела догнать мужа, прошагавшего дворов пять вдоль улицы до углового дома Маклаковых, где Маклачиха тоже глядела в ту сторону, откуда бежал «рафик».

— Вот тебе и радость, —сказала Маклачиха, — и сын, и невестка, и внучка. — На последнем слове она запнулась и выговорила его из-за деликатности тише, чем первые.

Мать следила за облачком пыли, пока оно не задымило молодые топольки возле хатенки инвалида Прокопенко. С замиранием сердца подняла она руку, отступила с дороги, пошатнулась. «Рафик» проскочил мимо и остановился возле их дома. Туда и заторопились старики.

Не дождавшись остановки, Анатолий выскочил из автобуса и обнял отца, растроганного той радостью встречи, которую он не мог не заметить.

— Папа, значит, я угадал: это вы стояли возле Маклаковых?

— Разве меня трудно признать, сынок? Трухлявый пень на ракушке...

— Сынку, мий сынку, — мать скрестила руки на его шее, заплакала.

— Мама, и горе и радость обмываете слезами, — растроганно бормотал Анатолий.

Римма вышла из «рафика» подчеркнуто неторопливо, с места не сдвинулась и первого шага не сделала как бы из-за Леночки, опасливо глядевшей во все глаза на ребятишек, набежавших сюда. Леночка схватила руку матери. Ребята были чумазые, босые, полураздетые, с выгоревшими волосами. Дети мореходов, они держались подчеркнуто независимо.

Свиридовна глядела на невестку пытливо, с трудом скрывая свое предубеждение. Жена Анатолия резко отличалась от навеянных злыми думами представлений о ней: молоденькая, сложения ладного, лицо свежее, ненамазанное. И девочка милая, ухоженная, волосы спелого абрикоса, ручки у локотков с ямочками. Леночке четвертый годик, сколько же невестушке?

— Мама, вот мы и приехали, — второй раз сказал Анатолий, испытывая неловкость и досаду за затянувшийся прием.

— Да, да, приехали, це слава богу, — она заторопилась и первой направилась к дому шмурыгающими, валкими шагами, а потом, спохватившись, остановилась, пропустила детей, приглашая руками и вымученной, жалкой улыбкой.

В дом вела дорожка из цементных плиток, проросших меж щелей сизой травкой. Вход был с веранды, если

можно так назвать холодную пристройку из дюймовой доски, без фундамента и пола. На веранде стояло с десяток старых корзин и в них матки-гусыни, пахло пометом, гнездами, перьями, а также заквашенным комбикормом и рыбой. Рядами протянулись шнуры с таранью и судаками.

В горнице крашеный пол, иконка старого письма. Стол, выскобленный до желтизны, соль в тропической раковине и хлеб на резном блюде. Кровать, несколько хорошо отделанных табуреток и диван с валиками.

— Ось тут мы со старым, а тут, на тахте, Сашок, — объясняла Свиридовна, — окна на море, чего ще треба.— И, отвечая на случайно оброненный невесткой вопрос, быстро заговорила: — Летом, при солнце, рыбу не потрошим, берем ее и в тузлук, в кадушку-перерез и сверху еще солью. Тузлук делаю крепкий...

— Мама, что такое тузлук? — спросила Леночка, исподлобья глядевшая на свою новую бабушку.

— Тузлук? Диточка, це такая рапа...

— Мама, что такое рапа?

— Рапа — вода с солью, — объяснила Римма.

— Крутая, — добавила Свиридовна и тяжело опустилась на табуретку.

Анатолий вносил вещи в соседнюю комнату, не зная, куда пристроить телевизор. Стоял в нерешительности.

— К себе в комнату, Толя, к себе, — сказал поспешно отец.

— А может? Чтобы всем...

— Будет что интересно, разве прогоните? — успокоил его отец.

Мать проследила за тем, как сын, натужно изгибаясь, унес телевизор, вздохнула, быстрым движением руки вытерла губы и продолжала рассказ о рыбе.

— Кладу рыбца, таранку или сулу в тузлук дня на четыре, потом отмачиваю в воде, пока рыба не отдаст соль в воду, и шнурую ее на шпагат, на солнце. Сколько висит? По погоде, с неделю висит, потом в сенцы, в холодок...

Она вслушалась в ропот недалекого прибоя и не столько ослабевающим своим слухом, сколько чувством улавливала, где волна шла на голый берег, а где проплескивалась через редкие камыши, подступившие к приморской стороне улочки.

— Хочешь покушать рыбца, Леночка? — спросил ее Анатолий.

Девочка уткнулась ему в колени, строго смотрела на бабушку.

— Батя пытает, Леночка, треба отвечать бате, — сказала Свиридовна.

— Я сама знаю, — буркнула девочка, по-прежнему дичась.

— Ничего, ничего, привыкнет, обживется, — бормотала Свиридовна, стараясь погасить свое смущение, так как не только девочка, но и невестка отнеслась к ней сдержанно.

Первая встреча всколыхнула обиды Свиридовны, не принесла радости, надо было притворяться, казаться искренной, делить внимание между сыном и этой пока еще совершенно чужой женщиной. Она чувствовала настороженность сына, с тревогой следившего за ее поступками, и, понимая его, вынужденного также делить себя, горевала в душе. Отобрала, отобрала у нее сына эта женщина, одетая в непривычное.

Анатолий тихо сказал жене:

— Пошла бы переоделась.

Римма передернула плечами.

— Пусть привыкает.

«Привыкну, привыкну, — думала огорченная мать. — Я-то привыкну, а вот ты...»

Ужин проходил натянуто, не сложилось родственного застолья, о чем мечтала Свиридовна. Обстановку чуточку разрядил Сашок. Его вместе с другими детьми привезли в Лебедянку на грузовике из школы после второй смены. Он прибежал запыхавшийся, обрадованный, и весь вид его выражал счастье. Подошел к брату, протянул мальчишескую руку Римме. Она сразу понравилась ему прежде всего своей необычностью: костюмом, кофточкой, прической, запахом духов, розовыми ногтями.

— Чего же вы так слабо куштуете? — сетовала мать.

— Объяснили же вам, мама, накормили нас в ресторане.

— Понимаю, сынок, понимаю. Не ваша вина. То Матвей Будник лапу наложил, такой у него характер, такой он тип, тот Будник...

Отец недовольно посапывал, пытался остановить ее, искоса поглядывая на невестку, и наконец пристукнул ладошкой по столу.

— Хватит! Чего взялась червоточить хорошего человека? Он для нас и то и это... Чем он плох?

— Да я разве зову его плохим. Я о характере... Человек с виду может быть такий красавчик, а изнутри тип...— тут она глянула на невестку, не приняла ли та на свой счет.

Римма, казалось, не слушала ни этих, ни других слов матери, скучающе осматривалась, что-то шептала Анатолию, и в конце концов, стараясь быть ласковой, поблагодарила и, извинившись, ушла вместе с дочкой в отведенную им комнатку.

— Я там выбелила комнату, полы побанила, оконцы, — предупреждала мать. — Койка двуспальная, для девочки раскладушка. Коли так — то так, коли не так, шо не пондравиться ей, — кивнула на закрытую дверь,— или погребует, то у вас, бачу, много свого...

— Не беспокойтесь, мама, — успокоил ее Анатолий, — все наладится. Ничем не побрезгуем.

— Я не за тебя, Толечка, — она уткнулась в грудь сына, скрестила тяжелые руки, всхлипнула. — Прости меня, сыночек. Думала лед растопить, сама не могу, скажи ей... Не могу сама растопить...

— Уже растопили, мама, тает, — он поцеловал ее в голову и тоже уронил слезу.

— На тебя надеялась, сыночек. Ждала тебя, как ждала... — растроганно бормотала мать.

— Толя, можно тебя? — позвала Римма.

— Сейчас, — он оторвал руки матери, почувствовал обжигающую влажность слез и поспешил на повторный призыв.

— Ось так и будет кидаться к ней, — сказала мать.

— А как же иначе, — мягко урезонил ее муж.

* * *

Смеркалось рано. Зажглись звезды. Над морем погуливал ветер, шевеля верхушки акаций, но не качая стволов.

Свиридовна увидела, как муж, накурившись до чертиков, побрел к берегу, чтобы на всякий случай поднять повыше лодку да и примкнуть ее к штормовому, более удаленному колу — мало ли бродит балованной молодежи.

Эти мысли казались теперь мелкими. Думы матери прикипели к главному. Возясь у корыт, очищая их, она видела падающий из окошка молодых свет, представляла, как они там, особенно отчетливо, до боли в темени отгадывала содержание их разговора о ней. В дурном свете предстала она перед невесткой, как ни крепилась, ни изламывала себя внутри, неприязнь прорывалась, и она ничего не могла сделать. Она искала в душе твердости, смирения, понимала, как себя повести, но потому, что ей претило притворство, оставалась полностью безоружной. Куда ей, простой женщине, овладеть искусством лицемерия.

Пока она возилась во дворе, Сашок успел перемыть посуду, подмести и проветрить комнату. Он охотно откликнулся на зов брата и помог ему вынести перину и подушки, приготовленные матерью.

— Хорошие штуки, — сказал он, — мягкие. Пуховые...

— У нас есть свои. Куда их?

— В чуланчик, — Сашок толкнул ногой дверь, — здесь они и лежали.

— То-то они отсырели. Запах действительно дурной.

— Дурной? — Сашок ткнулся носом в подушку.— Перьями пахнет, птицей пахнет, почему дурной? Их сушили...



— Зачем же вы их? — мать подошла к детям. — Я наперинники постирала, выгладила.

— Мы привезли, мама, — сказал Анатолий. — Куда же наше девать?

— Наше... ваше... — неодобрительно пробурчала мать и отошла от чулана.

— Я знал, что мама обидится, — сказал Сашок.

— И я знал.

— Тогда чего же ты?

— Чего, чего? — Анатолий подтолкнул братишку. — Женишься, поймешь. Ты-то где спишь?

— Пока тепло, не закрутило, вон там, в балаганчике. Там у меня топчан, тумбочка, книжки.

— Не протекает?

— Если сильный дождь, парусом обтяну, возьму на шкоты. А закрутит, переберусь в хату. В вашей комнате спал временно. Называли ее Толиной комнатой. А теперь мне диван отдали.

...Рано поутру за Анатолием заехал беспокойный Будник, согласился выпить чаю, а подвинутую Опанасом чарку категорически отверг.

— В рабочее время исключено! Ты же мой порядок знаешь. Сам не принимаю и других учу...

— Знаю, знаю, — Опанас ухмылялся в усы, щурился лукаво — проверку делал. Сказал Анатолию: — Была басня, будто наш председатель заставляет в трубочку дуть, как автоинспектор.

— Зачем мне трубочка, я за два метра слышу. У меня собачий нюх... — Спросил Матрену Свиридовну: — А молодайка? Почивает?

— А чего ей с чертями на кулачки вставать, пущай поспит. — Она вступилась за невестку, исполняя данный самой себе зарок не выносить за порог свои огорчения.

Будник еще раз метнул глазами на дверь.

— Недолго ей зоревать.

— Почему? — с подозрением во взгляде спросил отец.

— Поставим ее на работу. Учетчицей у Повалия была и у нас будет учетчицей.

— А дите куда? — спросил Опанас.

— Внучку на бабку, — Будник подмигнул, наблюдая за сборами Анатолия.

Будник не любил увальней, нерях, нерасторопицы.

Новый механик был быстр в движениях, ел в меру, не расчванивался за столом, что председатель отметил еще в ресторане; соображал без тугодумства, руки у него сильные, рабочие.

— Когда ждать Анатолия? — спросил Опанас, допаливая папироску.

— В семь вечера. В шесть кончаем, час на знакомство. Ну, пока!

Будник подкинул руку к шапке, крутнулся на каблуках и, пригнувшись в дверях, зашагал к машине. Их провожали гоготом гуси. Утки хлопотно били крыльями, поднимали головы. Неумолчные голоса птиц заставили улыбнуться председателя, пройтись острым словцом в адрес Кибриков-птицелюбов, но, не получив поддержки, взялся попутно накачивать нового человека.

— Мастерские наши, ты знаешь, достались от РМС, Анатолий. Оборудования добавили, конечно, цыганили по всем румбам, добывали что в Ейске, что в Темрюке. Теперь имеются и строгальные и фрезерные. Сверлилки в комплекте...

— Кузница? — поинтересовался Анатолий.

— Естественно. А вот испытательный стенд в барахольном состоянии. Потому и обрати первое внимание на двигатели. Техника подносилась...

Подъехали к месту.

Мастерские заложили вскоре после войны при неглубоком ериковом затоне. Раньше просто было подогнать к ним суда. Немного требовалось усилий, чтобы вытянуть их на отстой. Потом ерик изменил русло, ушел в сторону метров на двести, волна прокопала другое ложе, и положение осложнилось. Суда приходилось подтягивать мощной лебедкой, волоком, выставлять на клетку.

На клетках ожидали ремонта две мотофелюги и мотобот с трехзначным номерным знаком — рыболовецкое судно до двухсот регистровых тонн.

— Двигатель с него на переборке, — пояснил Будник, подходя к мастерским. — Придется тебе поклониться Дикушину, съездить в Прилиманск. Ты с Лихопятом знаком, через него к Дикушину. Надо выбить станки помоложе, и еще кое-что потребуется.

— Почему же к Дикушину?

— Заводище, вот почему! — воскликнул Будник. — Сам станки делает.

— Завод делает станки сложные, с программным управлением, Матвей Иванович, — напомнил ему Анатолий.

— Нам программные ни к чему. Не о них речь. Мало ли у него оборудования. Что им негоже, нам дай боже. — И пояснил свою мысль: — Дикушин присылает к нам в профилакторий за лето триста рабочих, не считая жен и детишек. Мы их уважаем, и они нас уважают... Я же посылаю тебя не милостыню просить — подаянием мы не живем, — в государстве ссуду не берем, даже после бури ни алтына не попросили. Имеем свыше трех миллионов своих капитальных вложений, расчетный счет в банке живой, полнокровный. Ввожу тебя в курс экономики, потому как надо держать палец на курке рубля. — Будник приосанился и представил Анатолия «личному составу».

Знакомство прошло быстро и без осложнений. Ремонтники устроили, кстати, и перекур на свежем воздухе, задали кое-какие вопросы председателю, пожаловались на недостачу запасных частей и ходового инструмента.

К Анатолию подошел бригадир промысловиков Алексей Маклаков, они были сверстниками, вместе ходили в школу. И у того и у другого отцы вышли на пенсию, и теперь дети заменили их в той же артели.

— Гляжу, Толя, и глазам не верю, ты или не ты, — Маклаков крепко тряс его руку, говорил баском, чтобы казаться солидней, да и держался намеренно повзрослей. Он носил куртку на искусственном меху и морскую фуражку-мичманку. — Ждали тебя, все жданки поели... Отслужился?

— Отслужился, Алеша, — Анатолий не мог скрыть своего удовольствия от встречи со школьным другом, тем более одногодком.

— И я отслужился. При мне флот получил Красное Знамя...

— Поздравляю.

— Ты, говорят, женился?

— Да. А ты?

— Жду свою кралю.

— Ну что же, холостякуй, Алеша.

— Кстати, мой совет, подтяни дисциплинку. После флотской я окунулся в такую, я тебе скажу, партизанщину!

— Ладно, потом побалагурим. Я пойду принимать хозяйство. — И, пожав на прощание руку, направился прежде всего в механический корпус.

Глава восьмая

Каждый день Римму преследовал запах перьев. Люди, окружавшие ее, отличались от людей земли, хотя там, в тех же Облучках, была та же птица, те же заботы о куске хлеба. Пусть Облучки приютились в балочке, у гнилой речушки, а здесь море и просторы до самого неба, все же ей было душно.

Мать молчала, не упрекала, приглядывалась исподлобья. Римма считала хитрой эту простую женщину и воспитала в себе дурное чувство к ней. Свиридовна почти не разговаривала с ней, но многое говорили ее глаза. Римма вспоминала Новороссийск, беспечную жизнь, подруг, своего мужа — беззаботного, шумного одессита.

Здесь же невзрачные берега лениво лизало скучное, серое море. Серый песок от размельченной ракушки, продавленный на дорогах до осевых втулок, гусиные тропы, пробитые среди скупой растительности, такой же унылой и серой, поселки будто жмени проса на рыхлой мешковине. Повсюду чешуя рыбы, матово поблескивающая под солнцем, запахи камышей и перьев, перьев...

Вдали, словно минареты, по крутобережью поднимались тополя, под ними белели пятнышки домов станицы, обращенной к морю. Но все это было далеко, в миражах, когда тополя изламывались, размывались у комлей и плыли туда, в просторы великой равнины.

Баклановская коса вклинивалась в море, а ее острие прогибалось вдоль берега, в размытых местах образуя временные островки и прораны, куда по ошибке заходила красная рыба и после металась в мелководье, как стадо напуганных кабанов.

Море как бы продолжает берег, и наоборот, один и тот же цвет, одна и та же пустыня. Только при ветре обережье окаймляется пеной, гнутся верхушки акаций, трепещут жерделы и вишни, швыряя охапками листья, будто резиновые пляшут на волнах бакланы, и с плачем захлебываются в воздушных потоках азовские чайки.

Камыши возле дома не такие мощные, как в недалеких плавнях, где на десятки тысяч квадратных километров раскинулись тростниковые джунгли. Они чем-то напоминали родные Облучки, тот же покорный шелест моталок, словно трется о сухую кожу нейлон. Римма искала знакомые черты в этом неприветливом, чуждом мире и почти не находила их, и оттого робела, скучала и для окружающих становилась невыносимой.

Для ее мужа все представлялось по-иному: эта природа была природой его детства. Сатанеевка, Хворостянка или Докука для него не представлялись горстями проса на мешковине, а имели свое лицо, несли свои запахи и обладали своими красотами. Море не порождало у него уныния, а тем более тоски, он не просиживал возле него, обняв колени и переносясь мыслью туда, где он также познал и шум разноплеменной толпы, и напряженный ритм заводов, перетирающих мергель и бросающих его в раскаленные печи. Вместо лысых гор и оскаленного зева Волчьих ворот здесь простирался крутояр, замыкающий скифские и ногайские степи у древнего славянского моря, откуда не так далече и до Дикого поля и до поля Куликова, где сабельно гуляла бунчужная и шеломная Русь.

Анатолий с жаром взялся за подготовку к путине. Уже в феврале брали тарань. Какая уж там зима у рыбака, если и зимой ловили рыбу, да к тому же немалые силы бросались на ремонт подношенной снасти.

— Ты опять придешь поздно?

— Да, Римма. Извини. Иначе нельзя. Пойми, мне надо взять разгон.

— А потом побежишь? — она невесело улыбалась.

— Степенно пойду, отпущу усы, бакенбарды.

— Нет, из тебя никогда не выйдет пижона.

— Это хорошо или дурно?

— Вопрос праздный, Толя. А у нас будни.

— Праздник бывает только после утомительных будней.

— Понятно, — она прикасалась ладонью к его губам. — Все же мы переберемся отсюда?

— В станице рыбколхоз строит дом.

— Ну, это надолго, — тянула она огорченно.

— Почему ты так думаешь?

— Знаю наши темпы.

— Мы еще так мало сделали здесь...

— Хорошо, не буду, — она провожала его к «рафику», собиравшему рабочих затона, и возвращалась обратно, провожаемая любопытными взглядами соседок. Дома ей предстояло немало трудов, и она не торопилась. Руки ее... Она не могла уже смотреть на них, так их повело от домашней работы.

Леночка бежала к детям рыбаков, с которыми она подружилась. Скоро ее не отличишь от этих голопузеньких, резвых детишек, облупленных от солнца и ветра, босоногих не потому, что нет обуви, а так им лучше: хочешь — в лужи, хочешь — беги по прибою.

— Мама, мама, а что, папа насовсем отдал мотоцикл? — неожиданно спросила Леночка.

— Почему ты спрашиваешь?

— Просто спрашиваю. Можно побегать?

— Побегай. Зачем же ты снимаешь туфельки?

— Без них лучше, мама. — Леночка бежала за стайкой детей, чтобы догнать желтую волну прибоя.

Иногда к ним заезжал, будто случайно, Безмерный и привозил что-нибудь из «даров природы». У Михаила Кузьмича был в полном распоряжении «газик». Римма пользовалась его услугами, если надо было съездить в станицу, в магазин или на почту. Однажды в субботу, когда Анатолий ушел далеко в море проверить мотобот, Безмерный пригласил Римму в кино на заграничный фильм.

Фильм шел во Дворце культуры «Четвертого корпуса». Они запоздали и устроились на балконе. Михаил Кузьмич выбрал уединенное место. Когда погас в зрительном зале свет и на экране замелькали полуобнаженные женщины, Безмерный как бы невзначай погладил ладонью колени Риммы.

— Не надо, Михаил Кузьмич...

— Извините, Римма, — учтиво произнес Безмерный, не снимая руки с ее колена.

— Вы шалун, Миша, — тихонько засмеялась Римма и по привычке, как это делала с первым мужем и Анатолием, решила легонько потрепать Безмерного за ухо. Михаил Кузьмич перехватил руку Риммы и стал ее целовать.

— У меня так огрубели руки, — вздохнула Римма. — Они, вероятно, пахнут рыбой и гнездами?

— Вы прелесть! Прелесть!.. — горячо шептал Безмерный. — Вы сказка!..

Римма понимала, что все получается глупо, пошло, скоропалительно, но почему-то ей вдруг стало приятно. Вспомнились угрюмый, заработавшийся до чертиков муж, враждебная свекровь, унылый быт, куры, перья, лапша, тузлук... И вот какой-то человек говорит ей о любви, ищет ее, да, ищет, ищет. Не все ли равно, в конце концов?

На экране разыгрывалась трагедия из, казалось бы, совершенно чуждой жизни, трагедия нескольких девушек из фронтового публичного дома. Жестокий, кровавый секс, грубый мужской цинизм...

После фильма Римма вышла на воздух. Обессиленная, отдышалась, молча уселась рядом с Михаилом Кузьмичом в машину, и они поехали.

— Вы куда? — Римма встрепенулась, провела рукой по лицу.

— На минутку ко мне, Риммочка. Вы еще не видели, как я устроен.

— Нет, только домой.

— Вы совсем одичали.

— Простите, Миша, не забывайте, у меня дочка, вернется муж, — она протянула ладонь к его губам, — когда-нибудь в другой раз. Если узнает мегера... О, если только она узнает! И так на нас обратили внимание. Я уверена, теперь сплетен не оберешься...

— Вы меня не отталкиваете, Римма? — задыхался от счастья Безмерный.

— Я не люблю, когда мужчины торопятся, — вздохнула Римма.

— Я спешу?

Они спустились по крутой дороге к морю. Позади остались живые, перемигивающиеся огоньки станицы. Впереди неясная пелена моря, несколько мутных звездочек в редком тумане, зябкая, настороженная тишина.

— Вам не скучно, Римма? — спросил Безмерный, когда машина побежала по мягкому берегу среди намывов ракушечного песка и серых, истрепанных трав.

— Просто грустно... А вообще да... Я не представляю зиму в этих Сатанеевках и Хворостянках. Б-р-р-р!..

Он остановил машину, выключил фары.

— Зачем? — вялым голосом спросила Римма.

— Давайте полюбуемся морем, — предложил Безмер-

ный, открывая дверцу. — Сейчас вернетесь к своей мегере.

Она вышла из машины, попросила у него сигарету.

— Разве вы курите?

— Нет. А вот вместе с вами...

— Прекрасно.

Они закурили. Море тихо плескалось почти у ног. Где-то в бурьянистом овраге гулко ухала и ухала какая-то птица. Римма почувствовала, как у нее защемило сердце, и бросила недокуренную сигарету. Огонек сигареты горел недолго, затем погас. Безмерный, вздыхая, склонил голову ей на плечо и прикоснулся губами к шее.

— Успеете, Миша, — прошептала Римма, легонько отстраняясь от него, — к тому же я боюсь простудиться.

— Вы мне так нравитесь, — смущенно бормотал Безмерный, сбитый с толку ее поведением, — так нравитесь...

— Обычно в таких случаях говорят о любви, — направляясь к машине, сказала Римма, — но я не тот случай, Михаил Кузьмич. Я понимаю, чего вам хочется, понимаю. Я не девочка, но, имейте в виду, я люблю прелюдию... Если вы хотите, — она засмеялась, приблизила свое лицо к нему, — если хотите, вы обязаны поступать красиво и не спешить... Прелюдия, вот что меня обычно прельщает... Жаль, что вы так невнимательно смотрели сегодняшний фильм.

Безмерный пожал плечами, вздохнул.

— Я вас разочаровала, Михаил Кузьмич?

— Как сказать, если откровенно, я привык к несколько другому... — он не мог подыскать нужного слова, запнулся.

— Ну, к чему же вы привыкли? — спросила Римма.

— Трудно определить.

— Хотите, я определю?

— Пожалуйста, — сухо проговорил Безмерный.

— Только не обижайтесь, — сказала она, — поле соседа не чужое поле! — Римма тихо смеялась, пытаясь заглянуть Безмерному в глаза.

Михаил Кузьмич обиженно насупился и до самой Лебедянки не проронил ни слова.

Глава девятая

Прошло около двух недель после переезда Анатолия в Лебедянку. Будник не ошибся в своих надеждах. Анатолий сразу же, без раскачки, взялся за дело. Чтобы поддержать нового механика, Будник, забегая в контору «Четвертого корпуса», жарко хвалил его деловитость.

Игнат Степанович Кучеренко, слушая Будника, прижмуривался и ходил по просторному кабинету мягкими, джигитскими шагами, заложив руки за спину.

— Чего ты гоняешь стометровку, Игнат? Скажи в ответ хоть полслова...

— Ценишь — хорошо, — говорил Кучеренко, — верить тебе можно. Не всякому ты выставляешь такой балл. Иному выше двойки не вписываешь. Только не порть парня. Петуху можно кружить голову, а такому человеку не стоит.

Будник мгновенно прицепился к реплике Кучеренко, чтобы извлечь и из нее выгоду.

— Стой, Игнат! — Он подходил к нему, наворачивал на палец узкий ремешок его кавказского пояса, притягивал к себе вплотную и, оглянувшись, как бы по секрету, говорил полушепотом: — Точно ты выразился насчет кружения головы. Прошу тебя по-братски, прими меры против своего кадра... Твой бригадир свежей выпечки, товарищ Безмерный не сумел вскружить лестью голову Повалию, так добрался до дамочки.

Кучеренко, высвободив пояс из рук Будника, отошел к окну:

— Яснее, какой дамочки?

— Женушки моего механика! Мне еще не хватало семейной чертоскубии. Начнется, покатится все как с бугра... Я за нее не волнуюсь, может, ее и не убудет, а дело, дело...

Кучеренко вспылил:

— Не нравится мне, Матвей, твой грубый практицизм! У тебя есть что-то тамерлановское. Хоть сто тысяч черепов под копыта, лишь бы орде вперед. Расскажи, что ты знаешь?

Он выслушал сведения Будника, почерпнутые из разных источников, из бесед с матерью Анатолия и дотошной Маклачихи.

— Пока не нахожу ничего предосудительного, — сде-

лал заключение Кучеренко, — обычные визиты интеллигентного человека, семейная дружба... Раньше в станице интеллигентные люди ходили друг к другу, слушали граммофон, составляли пульку, пили чай и водочку... А теперь, если не на собрании встретишь, значит уже распутство.

Будник разумные слова Кучеренко принимал охотно и, соглашаясь с ним, просил все же «провентилировать кавалера».

Беседы в кабинетах председателей артелей не были известны Анатолию, целиком и самозабвенно занятому своим новым делом.

Путина продолжалась. Бригады вываливали двухсадковые ставники на ночь, а выбирали сети очень рано, когда еще не зажигалась заря над баклановским крутояром.

Анатолий дважды выходил в море на промысел. За ним забегал Маклаков, тихонько стучался в ставенку и, подождав дружка, отвозил его на своем мотоцикле к стану.

Повариха Кирилловна всегда поджидала их на крыльце, накинув на плечи теплый полушалок, у нее был готов чай и что-нибудь из холодной закуски.

Маклаков, прихлебывая из кружки, покручивал головой, распределял людей, пользуясь общим табелем выхода. Рыбаки, в зеленых куртках и длинных резиновых сапогах, неуклюже вышагивали к берегу, сталкивали черные каюки — полукилевые лодки, разбирали весла и пристраивались на буксир к мотофелюге.

...Каюк пахнет смолой и рыбой. Его низкие борта почти соприкасаются с поверхностью воды, взбуравленной винтом фелюги. Каюки бросает то туда, то сюда на шатком капроновом тросе, сцепившем утлую флотилию. Маклаков на переднем каюке. Его швыряет сильнее всех. По черным бортам выпрыгивает пена. Иногда каюк зарывается носом, и тогда один из рыбаков нагибается и черпаком выплескивает воду.

Как бы то ни было, предвидится улов или нет, хорошо отдыхать в каюке, расслабив мускулы и предаваясь мечтам. Анатолий загадывает наперед, думает о том, как расширить мастерские, купить еще два мотобота, получить станки, наладить ремонт моторов и привлечь заказы со стороны, от колхозов. Надо расширить производ-

ство блоков из ракушечника и цемента, кругом столько стройсырья! И блоки Баклановской косы должны помочь быстрее построить коровники, свинарники, птичники и непременно дома. Он, будто в добром сне, видел новую Лебедянку: вместо турлучных завалюх — блочные дома, улицы с фонарями, дамбу. Перед ней бессильна будет любая волна.

Голубая звезда еще не покинула неба. И чаек еще не слышно, неизвестно, где они добирают последний зоревой час и когда выйдут на поживу.

Фелюга замедляет ход, приближается первый ставник. Последняя в буксируемой цепи лодка становится на весла. Остальные идут к следующим ставникам, их четыре. До берега недалеко. Над станицей уже посветлело, и с моря можно угадать здание правления «Четвертого корпуса» и — если бы был бинокль — увидеть флагшток над клубом рыбколхоза.

Ставник — это нечто вроде западни или капкана для беспечно гуляющей рыбы. В ставнике нет никаких приманок и крючков. На колья натягивается обработанная смолкой сеть с широким входом и завершающим карманом, куда набивается рыба, трется там, пытается пробиться сквозь ячеи, устает и притихает. Выбирают сеть в каюк. На каждый ставник один каюк и три человека. Ставник дает за одну выборку десять центнеров. Подрезка обычно проводится с рассветом, длится недолго, минут двадцать, за это время выбирается шестьдесят метров сети.

— Кажись, зацепили неплохо! — обрадованно воскликнул Степка Печеный. — Подай китало, Анатолий.

Анатолий подал китало — черпак на длинной ручке. Печеный, пока двое других подтравливали сеть, постепенно втягивал ее в каюк.

— Попалась на мою грыжу! — радостно приговаривал Печеный, выбрасывая черпаком в каюк крупных судаков и лещей.

Рассвет засеребрил чешую рыбы, и то алым, то оранжевым цветом вспыхивали ее плавники. Рыба бунтовала, попав в неволю, раздувала жабры. Каюк проседал от груза.

— Не ходи ты! — командовал Анатолию Печеный. — Разбирай весла!

Кибрик видел и другие каюки, слышал голоса рыбаков, перекатный рев мегафона — Маклаков отдавал какие-то команды.

— Греми не греми, Алеха, а у нас неплохо! — радовался Степка Печеный. — Сейчас вывалим в обратном порядке сети и айда к пирсу, Анатолий!

На берегу, у пирса, рыбаков поджидали приемщики. Подходили забитые рыбой каюки. Каждое утро они «косили» море, и не было видно стерни, не нужно было пахать, глядеть на небо, ждать благодатной тучи. Анатолий отдыхал душой, наблюдая с детства привычную жизнь. Конечно, и здесь отразилась буря, но это был удар сбоку, все же море не так-то легко искалечить, как землю.

И только одного не мог понять Анатолий — равнодушия Риммы. Не мог понять ее пренебрежения к тому, что было свято для него. Он выпрыгнул из каюка на берег и увидел Маклакова без шапки, в расстегнутой куртке, внешне беспечного. Тот тащил большую севрюгу на шпагатном кукане, продетом под жабры.

— Харчевая, наша! — гордился Маклаков, приподнимая рыбу. — Гляди, Анатолий! Метровка! Приемщик зубами заклацал, давай, мол, ему... Пошли на уху!

Уха, как обычно, готовилась в девять часов. Рыбаки кончали утренний лов, вытаскивали каюки на песок, умывались, стягивали грубые доспехи и шли под два тополя, обнявших дом бригадного стана. Повариха на газовой плитке варила уху. Из погреба доставали икру, квас... Рыбаки густо гудели за столом, хлебали уху, ели рыбу, кто сколько хотел.

— Эх, Анатолий, подождем до весны! — говорил Маклаков. — Вот тогда отведаем икорки. Вспорешь ножичком осетринке брюховинку, а там, как в фабричной упаковке, два процента от общего веса. Протрешь икру через грохот, семь миллиметров ячейка, чтобы пленка ушла, а потом зерно в тузлук, самый крепкий. Четыре-пять минут... — Он сжал широкие ладони, подморгнул товарищам. — И рыбацким бутербродом — ложкою в рот!..

Выполняя наказ Будника, Анатолий Кибрик сел за руль председательской «Волги» такого же синего цвета, как и наружная колоннада клуба, и выехал в Прилиманск за станками.

Лихопята он разыскал в гараже завода, на окраине города. Такому опытному человеку, как Лихопят, нетрудно было сообразить, каким образом помочь рыбколхозу.

— Подожди минутку, Анатолий, если Дикушин на месте, обстряпаем!

Он позвонил директору завода, заручился его согласием на приезд и тут же, натянув кепку и погасив папироску в чугунной пепельнице, пригласил Кибрика в машину.

— Станки прямо тебе не дадут, — говорил Лихопят по дороге. — Я их приму на себя, перекантуем вам, а там видно будет... Как сказал слепой — побачим.

Прилиманск некогда славился хлеботорговлей. Сюда приходили корабли с побережья Средиземного и Эгейского морей. Отцы города требовали мзды за право получения превосходной яровой пшеницы, которую называли «гарновкой», от слова г а р н о, то есть хорошо. Каждое иноземное судно обязано было доставить в порт бесплатно булыжник или камень. Этим южноморским камнем полностью вымощен город. И теперь еще там, где не накатали гудрон, машины подпрыгивают на булыжнике.

— Умели работать наши предки, Анатолий, — заключил Лихопят свой рассказ, скоротавший путь к заводу.

Директор Дикушин встретил гостей приветливо, вышел из-за стола, поинтересовался в первую очередь хлеборобскими делами Повалия.

— Теперь Кибрик уже у Будника, — поправил Дикушина Лихопят. — Техника рыбакам тоже нужна.

— Да, да, — Дикушин извинился за забывчивость и сразу приступил к делу. Пришлось ему и почмокать губами, и потереть переносицу, и... пойти на поводу у искусителя Лихопята.

— Помогать нам не запрещено, — ворковал Лихопят, — если Нигерии помогаем или той, или иной арабской республике, то как отказать нашим единоутробным братьям. Они сами берутся за ремонт, ну и хорошо, а то ведь имеют право и к нам тащиться со всякой мелочью, как к шефам.

Больше к вопросу о станках не возвращались, пошли в столовую обедать.

Директор был из молодых инженеров, не испорченный властью, деликатный и краснеющий по самому ничтож-

ному поводу. Его крупное лицо с рыжими густыми бровями, полные щеки и голос, мелодичный тенорок с модуляциями, настраивали на доверительный тон.

Коснулись больного вопроса — черной бури. Здесь каждому было о чем сказать.

— Ездил я с Бабиевым к Потапову, — рассказывал Дикушин. — Ведь всю черноту растащили, разровняли и привели в норму поля, мало того, ветрозащитки будто пылесосами выбрали, проредили.

Под клюквенный кисель перешли к семейным делам. У Лихопята в те дни родился сын, у Дикушина — дочка.

— Ведь тогда, когда с механического крышу сорвало и женщины бросились к семьям, я жену в роддом отвез... В роддоме отопление заморозило, порвало котлы. Жена моя трудно справилась с первыми родами. Пришлось везти ее на квартиру, кипятить воду. Что было!..

Анатолий уехал из Прилиманска в Лебедянку, как из столицы в дикие дебри. Римма встретила его тревожно:

— Не могу! Не могу! Еще когда ты дома, ничего. А тебя нет... Море шумит, еле успокоила Леночку. С ней начинается прежнее... Давай сниму ботинки.

— Толя, — позвала мать, — парного принесла. Будешь?

— Сейчас, мама. Извини, Римма. Выпью парного молока.

Глава десятая

Мотоцикл Анатолия Иван Терентьевич приспособил для перевозки легких грузов. Коляску снял и вместо нее приделал платформочку. Получилось незамысловато, а для дела лучшего не придумаешь. Надоумил его Иван Муравей. На такой платформочке можно было перевозить цемент, шифер, распиленные доски, краску, оконные рамы... Не только один Тарасенко наведывался в Облучки. Не один он ковырялся в развалинах, трещал гвоздодером или ломиком, рубил топором или повизгивал ножовкой. Быстрее всего растащили школу, ободрали доски, крышу, повалили стропила, вынули потолок, принялись за перегородки, полы и даже фундамент. Дударин поощрял добровольных работников, поторапливал,

так как нужно было выравнивать берег, где согласно утвержденному проекту должна разместиться механизированная ферма.

В первой половине сентября «добивали» кукурузу. На уборку пустили комбайны «Херсонцы» и «Беларуси» девичьих механизированных звеньев. То и дело появлялись на горизонте машины, похожие на длинношеих птиц, выплевывающих из клювов початки.

Иван Терентьевич знал, чьи пофыркивают «Беларуси», кто за рулем, и с радостью узнавал своих детей, «закрывающих» прифермскую кукурузу.

В тот день Иван Терентьевич нарезал кубометр реек из пилоотходов, уплатил в кассу колхоза для проформы какую-то ничтожную сумму, направился домой. Ехал он не спеша и не мог понять, какой запах ему благодатней: свежераспиленных сосновых реек или вон того подсолнуха-метровки, яростно цветущего вопреки всем законам природы. Его золотые головки с молочными зубочками попадут под стальные ножи силосного комбайна.

Лесополосы, прикрытые у стволов черно-бурыми мехами мелкозема, еще не осыпались, хотя и пожелтели, особенно ясени и тополя. А вот акация останется одетой до заморозков и нехотя обнажится лишь под шорох первых снежинок, чернея монашески строгими формами до весны, и первой отзовется на призыв солнца, вспыхивая духовитыми гроздьями пышного белоцветья.

Тарасенко чувствовал акацию, как живую, помнил первые запахи, и первую кашку, и мед на донышке цветка, будто и сейчас на языке его пахучая, нежная сладость.

Тележка кривилась на перепадах дороги, поскрипывала, следовало после рейса осмотреть ее внимательно. Металл тоже устает, сварка на узлах расходится, изломы бывают опасными, непоправимыми. Съехав с твердого грейдера, Иван Терентьевич покатил по грунтовке. Если свернуть, то можно попасть на бахчи, а там дружок-одногодок сторожит — тоже Иван. Служили полгода в одной части, пока не разошлись из-за ранений. Иваном Муравьем называли станичники его однополчанина. У него тоже мотоцикл «ижевец». У Муравья Иван Терентьевич и приобрел опыт переделки легкового индивидуального транспорта на мотогруз. Нельзя сказать, что Иван Терентьевич заразился от друга стяжатель-

ством, хотя в поведении их определилось нечто общее. Иван Муравей начал строиться раньше, из подручных материалов, а теперь помогла буря — выдали ссуду. И все же он шарил, добывая прутья для своего гнезда.

Откуда только узнает он, где будут сносить старый дом. Не успеют подкатить технику, Иван Муравей тут как тут на своем мотоцикле. Затормозит, оглядится, осторожно поднимет протез и прохромает к месту. Завидев его, никто уже не решается выламывать окно или дверь, а тем более сшибать резные фасонные наличники.

Подождут, ответят на хмурое приветствие, присядут на перекур и наблюдают, как Муравей берется за дело. Простучит стенку, пазы, надколет штукатурку зубилом и, словно драгоценный камень из хрупкой оправы, начнет вынимать дверь или оконный проем. Кивком головы позовет на помощь, и никто не осмелится оттолкнуть или осмеять старого фронтовика.

— Люди здесь жили, дышали через эти окошки, ходили в дверь и с горем и с радостью, а вы переломщики, варвары, — бурчал он, подрагивая губой с щетинистыми усами.

Иногда кто-нибудь фыркнет:

— Зачем тебе такая дверь несуразная?

— Во-первых, несуразный ты, скороспел. Во-вторых, подойди убедись: дверь каштановая, темная не от старости, а от качества! Ее никакой червяк не возьмет, не пустит его каштан, потому как он упористей мореного дуба и акации.

— У тебя же двери навешены.

— Другому отдам.

— Продашь?

— Чучело ты, скороспел! Я за доброе слово отдам. Доброе слово дороже грошей...

— Что верно, то верно, — соглашались с ним с почтением и к его разуму, и к прежним заслугам, и к трем орденам Славы, горящим на его фронтовой гимнастерке в торжественные дни.

— Ты что же его не прикрутишь? — говорили Зарембе.

— За что? — спрашивал секретарь партийной организации.

— За инстинкты.

— Какие?

— Частнособственнические.

— А у тебя какие?

— Я живу в коммунальной квартире, плачу по жировке.

— Из какого дерева у тебя дверь и окна?

— Странный вопрос.

— Кто строил коммунальный?

— Казна. Или артелью. Откуда мне известно.

— Значит, у тебя инстинкты артельные? — злая усмешка изламывала чисто очерченные линии губ Зарембы. — Ты ходил кумом королю, пока люди сооружали тебе куток, а Иван никого не просит, освобождает труд для других целей, сам строится да еще бахчу караулит.

— Он превращает гнездо в самоцель. Инстинкт...

— Заладил... Инстинкт заставляет жирного белого червяка закутываться в панцирь из собственной слюны, а получается шелковичный кокон. Заставь его поступать по-другому — п ш и к!

— Бывает куколка вредная. Дубовый шелкопряд, к примеру.

— Бывает и дубовый, — парирует парторг, — ты, к примеру.

— Я?

— Ты!

— Бьешь по площадям беглым, Заремба?

— По заранее разведанным! — Заремба переходил в атаку. — Ты почему заправляешь артельным горючим свою машину?

— Мелочный ты, — смущался критикан, — из жмени норовишь пятак вытряхнуть.

— Не смей злоупотреблять положением! Если на горючее не хватает, сдай в артель машину. Предупреждаю. Поступили на тебя жалобы.

Стоило Ивану Терентьевичу перевалить шоссе, нырнуть сквозь будто топором рассеченную карагачевую посадку, и он увидел сизовато окрашенный огудиной массив, и словно накатанные темнокорые кавуны, и небольшие, как ананасы, дыни-колхозницы.

По кормовой суданке двигалось красномастное стадо. Коровы жадно хватали суданку, оставляя за собой будто срезанную отаву.

Иван Терентьевич пережидал, пока пройдет стадо. Любил он смотреть на скот, видеть движение копыт,

отсветы рудой шерсти, блеск рогов. Так и стоял он, не слезая с горячего сиденья, держа жилистые руки на спущенных, как бычиные рога, рукоятках, поглядывая из-под козырька на незнакомого пастуха. Тот грыз яблоко, брызгая соком, так и казалось, радуга вспыхивала у белозубого рта с сочными, алыми, под цвет рубахи, губами. Через плечо у пастуха поролоновая желтая сумка, набитая яблоками, из нее торчала книжка, учебник физики. «Наверно, заочник», — подумал Иван Терентьевич. Его мысли вернулись к Маринке и Пете. Крепкая у них дружба. Местом свиданий выбрали ветряк. Милое место. Заберись повыше на ступеньки, прислонись к перилам, и, пожалуй, увидишь даже море, а уж степь полностью по всему кругу, со змейкой речки и щетиной тростников.

Пропустив стадо, Иван Терентьевич перевел мотоцикл через шоссейную насыпь и, став на грунтовку, покатил к бахче, к шалашу фронтового друга, который встретил его радушно, угостил салом, печеными яйцами и, выбрав самый крупный кавун, распахнул его кривым ножом.

— Спасибо, не забываешь, — благодарил гостя Муравей. — Уходят, уходят друзья-товарищи... — и он принялся перечислять знакомые фамилии. — Вот у меня записная, Иван, погляди, сколько вычерков!

Муравей пытался прихватить пожелтевшими зубами кончики коротко остриженных усов. Глядел Тарасенко на эти усики, вспоминал их былую пышность и с горечью выслушивал печали друга.

— Пошла молодежь, — продолжал Муравей, — не могу всех хаять, есть и достойные, а есть и ловкачи... ох, какие ловкачи!

— Говоришь о ком-то персонально или рассуждаешь вообще? — Тарасенко не признавал неверия в молодежь, так как видел ее в труде, имел молодых детей и зятьев, не заслуживающих хулы.

— В частности, поэкземплярно. — Муравей рассказал о Безмерном. — Проложил он тут тропу через веничное просо, катается к Николаю Ивановичу, набирается мудрости... Так он объясняет свои маршруты.

Он разрезал еще один арбуз, вынул целиком середину и вручил другу.

— Куда там ананасу. Кило сока одного, для почек самый одеколон, бери обеими руками.

— Так что там с Безмерным? — заинтересовался Тарасенко.

— Хвалит Повалия с прихлебом.

— А за что его ругать?

— С прихлебом, говорю, хвалит. Рассчитывает на мой язык, думает, передам...

— Пожалуй, правильно сделал вывод, — согласился Тарасенко. — Если спросить меня, я мало знаю его, хотя видел, как он приезжал к Николаю Ивановичу, как складывал перед ним ладошку к ладошке.

— Не только... На свадьбе был?

— Был. Про то я запамятовал.

— Правду бабы балакают, какое-сь ожерелье Римме подарил?

Тарасенко отложил арбуз, вытер губы.

— Ну и что, если подарил?

— Дорогое! Все ахнули! — Муравей хитро прищурился. — Бабы балакали.

— Мало ли чего бабы набалакают, — пробурчал Тарасенко. — Такие штучки я бачил в ювелирторге в Краснодаре, на Красной. И стоит-то какую-то десятку. А ты какой вывод выстраиваешь?

— Чего я могу выстраивать с одной ногой? Про ожерелье забудем, Иван. А вот Повалия он обхаживает липко. Выводит Николай Иванович бригаду Безмерного на первое место по «Четвертому корпусу».

— Разве Безмерный уже бригадир?

— Вот тебе и на! А ты и не знал?

— Знал бы — не удивился. Ну и что? Повалий помогает бескорыстно.

— А ты видал, какая свекла пошла у Безмерного? — настаивал Муравей.

— Не видал...

— День и ночь везут ЗИЛы на сахзавод. А оттуда тащат жом.

— Ну и пусть, одна копилка, — Иван Терентьевич недовольно остановил приятеля, — успеху соседа надо радоваться, а не осуждать.

— Так он все тянет на себя, на свой венчик! — воскликнул Муравей. — А надо мной подсмеивался, над моими «инстинктами»... И тебя зацепил.

— А меня за что?

— За мотогруз, Иван, — Муравей посмеялся, — на-

учил я тебя на свою голову. Теперь склоняют нас вместе.

— Это чепуха, — отрезал Тарасенко, — разве лучше было бы, кабы мы отрывали от поля колхозный транспорт?

— Как твой самострой?

— До белых мух въеду.

— Да ну! Молодец! Это хорошо. Надо высвободить квартиру Анне Сергеевне. — Муравей поведал Ивану Терентьевичу еще несколько новостей, а потом настойчиво и, по-видимому, не случайно вернулся к Безмерному. Муравей имел в виду его общительность, деловое завязывание знакомств, «перепашку межников», как он образно выразился.

Тарасенко удивился:

— Ты опять о нем?

— Зачастил он в Лебедянку...

— В Лебедянку?

— Да! И, стало быть, сдруживается с вашими эмигрантами.

— Пусть! — резко произнес Тарасенко, опасаясь какого-то подвоха. — В той Лебедянке со скуки сдохнешь.

— Правильно. А такие люди, как Безмерный, стало быть, сглаживают остроту жизни.

— Как это сглаживают? — переспросил Тарасенко, снова принимаясь за кавун.

— Может быть, скудно выразился, раз не понял меня, тогда поясню, — он поскрипел протезом, потрепал штанину двумя руками, как бы нагоняя под обрубок прохладу, и продолжал ровным голосом: — Движение нормальной жизни обязано иметь остроту, стало быть, резкие развороты, разные углы прицеливания, в этом ее смысл. Возьми ту же артиллерийскую самоходку, отними у нее все эти качества, что? Груда металла. Спичка загорается от трения, вспыхивает, получается огонь, а разложи отдельно коробок и спички, не дай им столкнуться, нет огня...

— Ты петляешь, Иван. Зачем так передо мной? Я же не зеленый горошек.

— Да и я уже не тот, — Муравей тяжело вздохнул, прижал палец к губам, прихватив рукой небритый, сивый от седины подбородок, и стало жалко Ивану Терентьевичу старого друга; глядел он на него с нескрываемым

чувством братской грусти. Будто вновь прорезалось острое зрение, и печально отметил он разницу между тем Ваней с самоходки и этим бахчевиком, между теми очами храбреца и этими, будто притрушенными пеплом времени.

— Поеду я, Иван, — сказал Тарасенко.

— Не задерживаю, — Муравей ловко встал, придержав протез, — тебе еще горбатиться и горбатиться над домиком. Как Анатолий?

— Устроен.

— Живут с родителями, стало быть?

— Не в гостинице же.

— Когда Зоя ждет наследство?

Муравей не дождался ответа. Не любил отвечать на такие вопросы Иван Терентьевич и потому более холодно, чем хотелось ему, расстался с фронтовым другом, а тот долго еще стоял, тоскующим взглядом провожая гостя.

Не успел Иван Терентьевич отчихаться от пыли, как на него буквально налетела прибежавшая из станицы Маринка.

— Папа, где ты был?

— Что случилось?

— Зою отвезли в родильный!

— В родильный? — Иван Терентьевич сглотнул слюну и нервно прикрикнул на дочку: — Чего ты так? Чего? Я думал, что с матерью... Принеси воды, там в приклетке, в кубышке.

Приложившись к кубышке и чувствуя, как по ее краю протекает вода, Тарасенко обратился к дочке:

— Радость принесла, а могло быть горе.

— Прости, папа.

— Почему же ты из станицы сюда? Вон же их хата.

— Пришла Зоя к нам, принесла кое-чего — и схватило... — объясняла Маринка. — Туда не пустили ни меня, ни Тимошу.

Отец улыбнулся.

— И не пустят в родильный. На то гигиена... Давай помоги сгрузить рейки.

— Я пешком, папа.

— Нет, вместе так вместе... — он проследил за доч-

кой, быстро перетаскавшей рейки, погладил ей щеку, когда, справившись, она подоткнула юбчонку и села позади. — К сватьям не забегала?

— Как не забегала? Никого нет. На свекле они.

Иван Терентьевич поправил очки, повернул кепку козырьком назад, застегнулся и с щедрой, молодой скоростью помчался к станице.

Глава одиннадцатая

Ватага с бригадиром Маклаковым вышла в осеннее море, чтобы размять мускулы и разогнать кровь. Отслуживший действительную на флоте Алексей Маклаков называл такую физическую разминку «проворачиванием механизмов».

Скользили три каюка, каждый о четыре весла, длинных, гибких.

Потухло и обескровилось море. Потянуло вдруг холодом, как бывает в осенние вечера после заката, когда еще не вспыхивают звезды и где-то прячется среди чешуйчатых облаков луна.

Анатолий устроился па кормовой банке рядом с Маклаковым.

Кибрику уже была известна беда: в черную бурю погибло много икряной краспорыбицы. Осетры по семь-восемь-десять килограммов не выдержали нанесенных в море химикатов. В паническом ужасе они стремились к берегам, а здесь буря гнала воду в море, и осетры задыхались во взмученном мелководье. Пришлось закапывать их бульдозерами.

Анатолий попытался еще раз расспросить Маклакова о том, что рассказывали ему Будник, старик Печеный, отец и другие рыбаки.

— Верно, — подтвердил Маклаков, — пока ты наблюдал, как умирала земля, мы думали, умрет море. Пыль такая была, проседала, подгоняло ил со дна, удобрениями рыбе забивало жабры, ей не хватало кислорода... Раскроешь жабры — ил со льдом. Как во время пожара животные бегут на огонь, так и рыба бросилась против течения к берегу. Погибли семнадцатилетние-восемна-

дцатилетние осетры. А ведь им до икры тринадцать лет расти... — Маклаков не вытерпел, выругался. — Извини, отвел душу, теперь редко-редко берем икряную: выбила буря старшее поколение.

Вскипала волна под тяжелыми и длинными буковыми веслами, серыми воронками откатывалась назад, чтобы смешаться с развалистым буруном, каюки казались древними ладьями, будто выдолбленные из одного ствола дерева. Семь-восемь лет служит такой челн промыслу, а потом списывают его на дрова, приходи, хватай топором по бортам, по дубовому шпангоуту, клади в печь или в костер, бери с него последнюю подать густым, смолистым пламенем.

Бригадира иногда по старинке называли ватажком. В обычном представлении под таким именем возникал образ этакого морского волка, пропахшего рыбой и табачищем. Грубый голос, изжеванный ус, дубленая кожа, татуировки и чуть ли не серьга корсара в мочке уха.

Маклаков был молод, хотя и успел отслужить на противолодочном корабле Краснознаменного Черноморского флота и вернуться классным специалистом с именными наручными часами. Он поначалу заменял отца. Тот часто болел. Зарекомендовав себя, Алексей принял бригаду не только по неписаному закону преемственности: правление в один голос утвердило его. Алексей сразу же выдал полтора плана, хотя товарная рыба металась по бассейну, не зная, куда ей притулиться: от Керченского пролива нажимало сероводородное Черноморье, а с закольцованной по каналам Кубани почти не поступала пресная вода.

— Заработки подпрыгнули, — объяснял Маклаков Анатолию. — С февраля до половины апреля берем тарань, за ячеей слежу, чтобы не брать молодь. А судака ловим после того, как заканчиваем с тараньkой. — И, увлеченный своим делом, Маклаков рассказывал, как он исправляет фабричный сетевой материал — дель. — Он слишком эластичный, обвивает рыбу кругом, капканит ее, рвет, намучаешься, пока ее вырвешь. Потому мы после того, как построим невода, опускаем их в смолку, и не просто в каменноугольную смолу, а добавляем еще бензина, по моему испытанному рецепту. Разогреваем смолку примерно до девяноста градусов и в кипящую опускаем невод на три-пять минут, потом вытаскиваем и даем с четверть часа на стечку.

Анатолий уже видел на берегу площадку с котлом и пристроенным к нему лотком для стечки лишней смолки.

Но не это занимало Анатолия, шут с ним, как они обрабатывают фабричную дель. Важно, как рассказывает Алексей, как воодушевляется, радуясь своему нехитрому изобретению.

Маклаков жил с отцом и матерью в трехкомнатной турлучанке через пять дворов от Кибриков. В хате стало посвободнее, так как младший брат служил пограничником на Амуре, сестренку сосватал флотский дружок Алексея и увез в Анапу.

Друзья говорили о том, о другом, дошли до главного.

— Значит, назревает, — сказал Маклаков, выслушав Анатолия.

— Не по дням, а по часам.

— Советую разъехаться, Анатолий.

— Разъехаться? Ждали, ждали сыночка, и нате, мол, вам...

— Поверь мне, роднее будете.

— Не знаю, право, что такое с мамой...

— Чудак человек! — воскликнул Маклаков. — Самое шаблонное положение. Мать ревнует сына, не принимает к сердцу невестку.

Анатолий вступился за мать:

— Римма не хочет понять, гордится, противоречит, на полмизинца не уступит.

— Не потому. Будь они обе золотые, все равно. Такой закон природы.

— Проще всего на природу сваливать, — Анатолий зябко поежился.

— Лучше всего разойтись до скандала, — продолжал Маклаков. — У меня сестренка — золото, поехала в Анапу, а там тоже черная кошка между ней и свекровью.

Давно уже отрозовела волна, помрачнела, глухо стуча о смоляные борта, ворчливо вскипая пузырями за каждым гребком. Легко выносились длинные весла, казалось, гитарно звучало гибкое дерево, взрывая плотную массу воды.

— Позволь мне на весла, Алеша?

— Ладно, сменишь Степку Печеного. Еще успеешь ухекаться. У меня есть предложение: кончат многоквартирный к ноябрьским или не кончат, переходите к нам.

— Как это?

— Очень просто. У нас после сестренки освободилась комната: обои, два оконца, ввод для телевизора. Без ремонта можно въезжать.

Анатолий замялся с ответом.

— Платы никакой. Родители ничего против иметь не будут, — продолжал Маклаков. — Мамаша моя мечтает о внучке, а тут Леночка. Она и так ни разу не пройдет мимо нее, поговорит, приласкает. Есть такой период у пожилых женщин, когда вынь да положь им внучат, иначе начнут раздражаться, сохнуть.

Алексей широко раздвинул ноги в резиновых сапогах. Он чувствовал хмелек власти, ловя устремленные на него взгляды гребцов, покорно исполнявших его команды, знал каждого из них, «сделал» с ними несколько планов. На трех каюках всего двое старше его, остальные молодняк. Комсомольская бригада, так и называли ее в рапортах и отчетах. Четверо, в том числе и сам бригадир, члены партии.

Анатолий сменил Степу Печеного, греб умело, не сбивался с ритма, ни разу не закопался веслом. Справа по курсу прошли ставники. Отсюда были видны верхушки гундеров — столбов, укреплявших сети, и тонкие, еле заметные нити проволочных оттуг.

Четыре ставника принадлежали третьей бригаде, общая их длина не должна превышать девятисот метров. что отметил Маклаков и ругнулся: бригада снова нарушила закон и расставила невода в шахматном порядке.

— Да что тебе, Алексей, — сказал Печеный, — чи тебе ершей за спину пихают?

— Нельзя, Печеный.

— Нельзя на небо влезть, а остальное все можно, — Печеный наконец, махнув рукой вперед, добавил: — Нельзя осетров на самоловные крючки брать, а вон, ты видишь, первый каюк уже явно зацепил белобрюхого. Раньше, что ли, поставили снасть, Алеха?

— Раньше, позже, какая разница, — отрезал Маклаков, привстал, покричал в мегафон, так как ребята разохотились и переваливали через борт вторую рыбину.

Это и был естественный проран, промытый течением возле Мартынячьего островка, чуть ли не каждый день менявшего свои нестойкие очертания. Каюки подняли стаю мартынов.

Маклаков отдал команду на обратный путь. Его моло-

дой властный голос густо отрокотал через мегафон и отозвался слабым эхом.

— Уху заварим на стане, Анатолий, — сказал Алексей, усаживаясь, — была мысль — на островке, только что-то погодка перемозговалась.

Каюки тяжело развернулись и неуклюже пошли вдоль берега.

«Если идти под парусами, — подумал Анатолий, — такой курс назывался бы фордевиндом».

В Новороссийске ему удавалось ходить под парусами. Он любил выходить на свежую волну и нестись в пене и брызгах под трепещущей, тугой энергией ветра. Не закрывая глаз, он восстанавливал в чуткой своей памяти Цемесскую бухту, Геленджик, Кабардинку, мыс Дооб.

Какие веселые, легкие встречи были у него с Риммой! Товарищи смеялись над ним, не верили в наивную простоту их отношений. Ее муж подолгу был в плавании. И когда уходил в рейс, смеясь говорил: «Только тебе одному доверяю жену. Если ты, Римма, с кем-то еще появишься в городе, смотри!..»

Анатолий улыбнулся другу, разбудившему его от грез, что-то буркнул в ответ на шутку, шевельнув зазябшими губами, спросил:

— До дому, до хаты?

— Пора! Завтра направляю хлопцев пораньше к тебе, в затон...

— Ладно. Если не пособите гуртом, долго еще прокукует твой мотобот. Ему нужен капитальный ремонт.

— Еще бы! Тискали его и те и другие...

Разговор касался закрепленной за Маклаковым мотофелюги, которую пришлось вытащить на отстой. Мотофелюга была старая, построена шесть лет назад на Приморско-Ахтарской судоверфи. Маклаковские каюки буксировала другая, более молодая мотофелюга, но своя рубаха ближе к телу, и ходить за подаянием к чужим дядям самолюбивому ватажку не хотелось.

Каюки притерлись к скрипучему пирсу, завели концы. Анатолий, выпрыгнув на мокрые доски, подбиваемые снизу волной, попросился домой.

— А уха? — Степа Печеный показал из кармана штанов капсюльное горлышко бутылки.

— Грыжа принимает ее, Степа?

— Исключительно ради лечебных целей и держу.

— Без меня, — холодно сказал Анатолий.

Маклаков, слушавший этот диалог, тихо посоветовал:
— Хлопцев не обижай. Не отрывайся, Анатолий. Терпи, — он присел на корточки возле вытащенного из каюка осетра, погладил его. — Какой подсвинок! Еще дышит, ишь как жадно ловит кислород. Музейная редкость...

Осетра взяли под жабры. На пирсе осталась кровь из порванного самоловным крючком бока.

Кто-то плеснул из брезентового ведра, замыл кровь. Ребята вытащили каюки на берег, закрепили на кольях, чтобы не унесло в море.

— Ты что-то сегодня невменяемый, Анатолий. — Маклаков взял друга за плечи, встряхнул. — Если не тянет продолжить разговор, иди домой. Я объясню хлопцам.

— Пожалуй, я пойду, — вяло отозвался Анатолий.

— Не закачало ли тебя?

— Нет, что ты... Я не поддаюсь качке.

— Подумай о моем предложении, — напомнил Алексей, покликал Степана Печеного и велел отрубить осетрины. — Дома и заваришь ушицу, — распорядился: — Освободить пластмешок и туда заложить подарок.

— Спасибо, — поблагодарил Анатолий, чувствуя живое мясо осетра и стараясь не глядеть на обезображенную тушку и сгустки хлипкой крови, забрызгавшей доски. — Вы где же будете добирать разминку?

— В профилактории. Там плита на пропане.

— Хорошо.

— Меньше экзотики, зато чище пища.

— До свидания, Алеша, — он подал руку, — провентилировал сегодня себя, как говорится, насквозь и даже глубже.

— Холостому все же лучше, — Маклаков блеснул в улыбке зубами. — Безотчетный элемент. Не удостоверить ли причину твоего отсутствия?

— Хочешь проводить, что ли?

— Угадал, пока хлопцы организуют, успею туда и обратно.

Тропу по береговой целине протоптали рыбаки и жители Лебедянки, ходившие от пирса морем в город за товарами и продуктами.

Ветер изменился, не забивал дыхание. Поселок помигивал оконцами, доносился запах прибиваемого к земле дыма. Вот и белостенные хатки за стволами облетевших

деревьев, и придирчивый брех собак, учуявших шуршащий скрип шагов.

— Псы у нас важные, раскормыши, рыбоеды, — сказал Алексей.

— Это они на осетрину, — Анатолий переложил тяжелый сверток под другую руку. — Откромсали от вольного твои ребята.

— Жаль, икряных нет... Батько-то небось насолил икорки?

— Есть кадочка.

— За мотоцикл не журит? — спросил Алексей, имея в виду оставленный тестю мотоцикл.

— Он молчит, а мама да, — Анатолий припомнил сетования и тихие упреки матери, обращенные прежде всего к невестке. — А почему ты спрашиваешь?

— Отец твой моему не то что жаловался, но недоумевал. Ведь у нас транспорт основное. За всякой мелочью приходится мотаться на бугор, в станицу. А потом, если надо в кино, в потребиловку, в театр, «газика» не напросишься. Он у тебя с коляской?

— С коляской.

— Шикарно даришь, Толя.

— Ладно, не вздумай накалять страсти.

Возле своей хаты Маклаков остановился, закурил. Уняв выпрыгнувшего из-за канавы пятнистого, как астраханский кавун, кобеля, сказал:

— Вот эти два оконца будут ваши, если надумаете. Вид на море. Чайки с лучами играют, сам знаешь, бакланы идут пониже и дальше, ну и лебедей иногда сможешь узреть со своей принцессой.

— Расписываешь, как цыган.

— Не все еще, Толя. Глянь, небо — ни одной второстепенной звездушки, а вечерняя мерцает. Наблюдаю иногда за ней и всякое думаю о жизни.

Маклаков растер носком сапога окурок, попрощался и повернул обратно.

Глава двенадцатая

Старый Кибрик курил во дворе, в сапогах, в кальсонах и в полушубке внапашку. Он ложился рано и потому встал после второго сна, чтобы прочистить горло табачком.

— Садись, Толик, — он подвинулся на лавочке, — запозднились. Юшку заваривали?

— Пошли ребята заваривать в профилакторий. Куда свежину, папа?

— Значит, отходным снабдили? — отец ткнул пальцем в мешок. — Севрюжина?

— Осетр.

— Ишь ты, попался, гуляка. Давай сюда, потом отнесу в холодильник, — он почмокал губами, как бы проверяя, на месте ли усы, после пары затяжек сказал: — Безмерный снова крутился.

— Ну? — Анатолий потер щеки, разогнал кровь. Напоминание о Безмерном и явное ударение на слове «снова» неприятно кольнуло его.

В самом деле, чего повадился Безмерный, тем более в его отсутствие? Легче всего позвонить в мастерские. Так нет, едет прямо сюда и, как правило, с подарками, которые он почтительно вручал матери.

— Кавунов привез и дынек-колхозниц.

— Небось оборышей? — думая о другом, спросил Анатолий.

Отец ничего не ответил, помялся, слышалось его свистящее дыхание и всхлипы в груди, в поликлинике вдобавок к ревматизму отыскали у него и астму.

— Надо притормозить кавалера... От ворот есть поворот! К тому же матерь наша... Сам знаешь, на перекосе...

— Как понимать? К Римме, что ли, ездит? — Анатолий сглотнул слюну.

Отец положил на колено сына тяжелую руку.

— Нельзя так, Анатолий. Закипеть легко, остынуть тяжко.

— Надо выяснить! Какие основания?

— Оснований нет, — отец копнул носком сапога песок, — пока рассыпчато все, как ракушечник. У матери от любви к тебе и от дикости. Она уже и от человечьего голоса отвыкла, бормочет с гусынями.

— При чем же здесь Римма? И этот самый...

— Вот к его приезду Римма начинает штаны себе гладить, прическу и кофтенку, ту самую, бессовестную,— отец объяснил жестами, погладил усы ладошкой. — На мой погляд, добре получается. А вот матерь наша... А потом еще эти проклятые лимоны.

— Какие еще лимоны? — Анатолий вскипел. — Вы,



папа, не размазывайте, выражайтесь прямо, эзоповский язык тут ни к чему.

— Что ты, я, кроме русского, ну еще украинского суржика, ни на каком другом языке...

Старый Кибрик попытался замять серьезный разговор:

— Лимоны! Какие лимоны? Что ты привязался до тех лимонов? Чи не знаешь! Мажется ими. Мать закипела. Лимоны переводит, двадцать пять копеек штука. Ладно, объясняю ей: ты, што ли, их купляешь? Сами заробили, сами схарчили. Ухватилась она за мое неудачное

слово, и не лимоны, а яйца пошли в ход...

— Какие яйца? — гневно переспросил Анатолий. — Из пустяков можно таких трагедий натворить!..

— Придумала Римма желтками лицо мазать. И хотя бы в одной посуде, а то позаймет чашки, куда ни кинется мать — желтки. В одной жидкие, в другой — с лимоном, третьи — засохли, зашкарубели, только на выброс.

— Она женщина молодая, следит за собой! Здесь море, ветер, воды горячей и то... Желток мягчит кожу, придает бархатистость...



Отец покряхтывал, запахивался в кожушок.

— Все ясно. Я пойму, ты разберешься, а мать не убедишь. Яйцо — пища. Служит для внутреннего употребления. Это все равно как... — он сморщился, подыскивая сравнение, — как хлебным мякишем стекла замазывать. Я могу стерпеть, не такое видел, а мать... бродит с той чашкой, где яйцо прокисло, прибалакивает, для нее хуже кошмара. Так оно и накапливается, Анатолий, то штанцы, то бессовестная кофтенка, то лимоны и желтки, а получается аммонал. Одна спичка — и взрыв.

— Надо подумать, — согласился Анатолий, — может, нам временно переехать?

— Куда? — отец вскинул брови. — Опять к Повалию?

— Нет.

— Тогда куда же? Дом еще не готов. Маклаков? — отец насупился. — Понятно. Вот какая, выходит, была у вас разминка... Дело твое. Я пойму. Как матерь? Она в обиду примет.

— Лимоны, желтки...

— Не будет их, чего-то еще придумает. Женщине скучно без горя...

Высказав такой несправедливый упрек, отец пошел в хату.

Анатолий подождал несколько минут, чтобы прийти в себя, направился следом. Из коридора пахнуло теплым застойным воздухом птичьего помета и закисшего корма. Зашипели гусыни. В проходной комнате, где спали родители и братишка, такой же воздух: мать боялась простуды и форточку не открывала.

Войдя к себе, Анатолий плотней прикрыл дверь, зажег ночник.

Римма перевернулась на спину, приоткрыла веки.

— А я уже забеспокоилась. Слышу, усилился ветер.

— Какой там ветер!.. — он снял куртку, стащил сапоги.

— Портянки вынеси, — Римма брезгливо сморщилась. — Рыбой воняют.

— Живем среди рыбаков. Если бы среди лимонных рощ!..

— Предпочла бы.

— Я знаю.

— Ужинать будешь?

— Подожду утра, заодно и позавтракаю. — Грубова-

то добавил: — Зачем спрашивать для проформы? Все равно не соберешь.

Она, глубоко вздохнув, собрала силы, чтобы не ответить в том же тоне.

— В холодильнике есть вареная говядина, возьми, если тебе не трудно, Толя.

— Ладно, — он думал не об ужине, а о том человеке, ради которого она гладила брюки, доставала «бессовестную» кофточку, да, может быть, и лимоны и желтки ради него.

Послышался голос матери:

— Толя, вечеря тебе готова. Я зараз встаю, Толя.

— Вот и вышли из положения, — Римма повернулась к стене.

— Ты идешь, сынок? — послышалось из-за двери.

— Иду.

Мать ждала его в кухоньке, куда надо было пройти через тот же гусиный коридор. На столе, кроме мяса, была гречневая каша с молоком, утятина и чай со сливками.

Теплое чувство к матери не покидало Анатолия никогда. Есть такие привязчивые сердцем дети, все прощающие своим матерям. Но ведь и мать простит, поймет, ответит добром. Свиридовна старалась угодить, но не унижалась из-за любви, все делала в меру. Она не заводила беседы ни о Безмерном, ни о невестке, и не потому, что они что-то значили для нее, а потому, что такой разговор мог быть неприятен сыну.

Столкновение матери и жены не только огорчало, но и пугало Анатолия. Он не опасался разлюбить мать, такой угрозы не существовало. Но жену?.. Здесь он был бессилен. Его огорчал эгоизм Риммы, ее избалованность. Он понимал, что она не ко двору, нельзя было ее везти сюда, тем более с Леночкой.

Продолжая есть, Анатолий вспоминал стычки с женой, возникавшие из-за ее пренебрежения к матери. Он вынужден был ее останавливать.

— Пойми, она моя мать.

— В таком случае ты должен понять и свою жену.

— Я прошу быть терпимей к ее недостаткам.

— Потребуй того же от своей матушки.

— Зачем такой тон, Римма? Вспомни, разве я допускал что-либо подобное в отношении твоей матери?

— Еще бы! — восклицала она. — Моя мать святая женщина. Как ты можешь сравнивать?

Он резко обрывал ее и потом мучительно переживал споры.

Безмерный заведовал третьей комплексной бригадой, которая имела около двух с половиной тысяч гектаров пашни, одну МТФ и откормочную ферму.

В личном распоряжении Безмерного был «газик», для перевозки людей — автобус.

Прежний бригадир мало обращал внимания на внешний облик полевого стана. Теперь бригадиры старались отличиться друг перед другом. Один вводил освещение ландышевыми светильниками, другой строил роскошную въездную арку, третий разбивал благоухающие газоны.

Безмерный, проводя комсомольские субботники, добился показательной чистоты на внутреннем дворе и в техпарке. Чтобы потрафить председателю, Безмерный ненавязчиво попросил для содержания и ухода в своем полевом стане два десятка коней, наиболее породистых кабардинцев и дончаков, служивших резервом для скачек и джигитовок, устраиваемых на станичном плацу в праздники. Чтобы польстить секретарю парткома Максимову, красный уголок сделали не просто читалкой, а настоящим культурным центром, где дежурили комсомольцы с повязками на рукаве. Сюда заезжал автофургон с кинопередвижкой, которая показывала короткометражные фильмы, имеющие практическое значение. Их Михаил Кузьмич добился благодаря связям с краевым центром кинофикации.

Бытовые помещения в стане снабжались горячей водой, пища теперь готовилась на месте, а не привозилась «рафиком» в термосах, как прежде. Обед из трех блюд калькулировали по науке.

Когда на стане был наведен образцовый порядок, Безмерный пригласил к себе Повалия. Николай Иванович придирчиво осматривал поля и земледельческие орудия, говорил с людьми по-простому. Угостили его хорошо. Повалий сдержанно отнесся к угощению и предупредил при отъезде:

— Другой раз, Кузьмич, прошу без помпезности, не хотел тебя и Макуху обидеть, а баранов при мне прошу не свежевать. Я не хан.

Прошел год после приезда Безмерного в «Четвертый

корпус». Год этот был очень тяжелым, и Михаил Кузьмич мог проверить самого себя. На межрайонном совещании он выступил не голословно, а оперируя доказательными цифрами. На совещании председательствовал Повалий.

Перед совещанием Безмерный, улучив момент, познакомил Повалия со своим выступлением, четко написанным от руки. Повалий как бы небрежно пробежал страницы глазами, понял главную мысль, потому решил сам не выступать, предоставить слово соседу как бы и за себя. Он только сказал:

— Ты что-то уж очень меня превозносишь, Кузьмич. Вычеркни прославления, старайся частное превращать в общее.

«Все это хорошо, — размышлял Безмерный, любивший анализировать свои поступки как бы со стороны, — но худо то, что председатель артели уехал расстроенным. Как бы он не подумал, что его бригадир тянет свою линию, принимает на себя не огонь, а лавры». И, размышляя таким образом, приходил к неизбежному выводу: «Надо похвалить председателя за дальновидность, сделать его соучастником успеха, так как не кто иной, как Игнат Степанович, посоветовал приглядеться к соседу, перенять доброе, узнать, почему та же земля родит разно...»

Если возникнет разговор на расширенном правлении и его позовут к столу, следует так и поступить. Безмерный оценивал внутреннее состояние Кучеренко со своих позиций, со своей колоколенки и потому решил применить именно такую тактику — тактику лести, что нередко действовало безошибочно и приносило успех.

Справившись со своими сомнениями, Михаил Кузьмич окончательно успокоился, принял горячий душ, побрился с особой тщательностью и примерил перед зеркалом каракулевую серую кубанку, сшитую по особому заказу на манер кучеренковской. И это должно повлиять на отзывчивое сердце бывшего эскадронного. Безмерный натянул мягкие сапоги и подпоясался по азиатской рубахе, похожей на бешмет, узким казачьим пояском, тоже таким же, как у Кучеренко.

— Молодец, Михаил! — похвалил он себя, прихорашиваясь и поворачиваясь перед зеркалом. — Чем не Кучеренко? Ну пусть не сам председатель, зато ничуть не хуже бывшего бригадира Самойленко.

Изменяя свою одежду, как бы приноравливаясь к чу-

жим вкусам, он испытывал неудобство и что-то отдаленно похожее на укоры совести. «Ты же используешь слабые места, Безмерный, забираешься, как таракашка в щелочки, в тайники, фактически подсмеиваешься над слабостями хороших, откровенных людей. Сумел обольстить Повалия и уже прямо-таки карикатурно нажимаешь на Кучеренко. Удастся ли такими дешевыми приемами добиться своего, не раскусит ли тебя умный мужик Игнат Степанович?»

Кисленько стало на душе у Безмерного. Он осмотрелся вокруг, увидел другими глазами так быстро дарованную ему однокомнатную квартиру с прекрасным видом хотя и не на само море, но все же в ту сторону. С высоты третьего этажа, если еще выйти на балкон, можно было наблюдать, как рождаются и умирают зори, поднимается будто литая из латуни луна...

Все дано Безмерному в короткий срок. Не каждому так фортунит. Даже буря помогла ему открыть свои таланты. Не кто иной, как он, храбро бросился на поиски подмоги и привел караван к стану Макухи, спас овчарни, тысячи овец спас... Расправляя плечи, Михаил Кузьмич приободрился, стараясь заглушить грустные мысли о себе.

До двух часов времени вполне достаточно, чтобы, накоротке перекусив, укатить к «милушке», как в мыслях своих он называл Римму. Встреченный им на совещании Алексей Маклаков будто невзначай обронил новость: перебрались молодые Кибрики к ним, к Маклаковым, ушли от родителей.

Расспрашивать он не стал, чтобы не возбудить подозрений, но теперь, когда не грозит встреча с подозрительной старухой, с отцом Анатолия и особенно с шустрым и недружелюбным Сашком, почему не прокатиться в Лебедянку? Потянуло туда Безмерного, вспомнил Римму, ее волнующие намеки. «Муж в мастерских, Алешка на путине, родителей теперь нечего стесняться...»

«Газик», как всегда, стоял во дворе, под навесом, бензин был заправлен еще с вечера.

Безмерный предосторожности ради обогнул правление стороной, чтобы не столкнуться с ненужным человеком, и покатил глухой, неасфальтированной улицей, оставляя за собой рубчатый след на пыльной, прибитой осевшим туманом дороге.

В это время Римма успела проснуться, с четверть ча-

са понежилась, закинув руки под голову и прислушиваясь к близкому крику чаек и к тихому дыханию спавшей Леночки.

Почуяв, что квартирантка проснулась, Маклачиха приоткрыла дверь, поздоровалась, втиснулась без спроса. Она ходила, не отнимая подошв от пола, ссутулившись, пыталась угодить и сама не понимала, что утомляла постороннего угодливостью, подтверждая слухи о себе как о женщине с длинным языком.

— Доченька спит, и добре, — заговорила она, шевеля сложенными у фартука пальцами, — пущай поспит доченька... Чую, вы проснулись, прошу прощения, я такая беспокойная за других, може, чего треба?.. Ну как ваша комната, Риммочка? Я побелила ее, потолок тож побелила, где не так, извините. И викна покрасила, белила, мабудь, переголубила подсинькою, но ничего, Риммочка, як солнце клонит на Керчь, весело грают виконцы... — Она наклонилась в сторону Риммы, ладошкой вытерла сальные губы. — Алексей туда-сюда, а мы в этой кимнате в сезон ставим четыре раскладухи, и приезжане — а тут их богато з Баку и з Ростова — платют по рублю за сутки... А с вас, Риммочка, положу я тридцать, як не знаю вам...

Римма поднялась на локте.

— Пожалуйста, тридцать так тридцать. Я передам Толе.

— Тилько не кажить Алексею. Вин казав ничего з вас не брать... А я думала, думала, да разве вы согласны, шоб надурняка...

Маклачиха запуталась в словах, махнула рукой и, добившись своего, вышла из комнаты.

Римма вскочила с постели, накинула халат, заколола в пучок волосы, вышла умыться. Хозяйка чистила подсулков — молоденьких судачков. Кошка тигровой расцветки с поджатыми лапами лениво жмурила изумрудные глаза. Рыба была ее привычной, постоянной пищей, и потому она не мяукала, не выпрашивала, а ждала, вздрагивая ушами, когда подсулок пытался вырваться из скрюченных пальцев старухи, колотил хвостом, разбрызгивая воду на пол.

— Ой, сколько вы! — Римма всплеснула руками.

— Сколько же, Риммочка. Уху треба заварить, заливное, туда-сюда, мой старик в больнице, вожу ему того-сего, пущай и заливного...

Римма умылась из медного рукомойника. Вода приятно освежила кожу. Посмотревшись в зеркальце, Римма увидела свои повеселевшие глаза, пышные губы и тот самый вздернутый носик, который почему-то привлекал мужчин и заставлял их говорить ей комплименты.

Все было так хорошо! Небо глубокое, с перистыми облаками, загнутыми в сторону степи, тихое море, мелкий камыш и дозревающие его метелки, похожие на беличьи хвосты. К воде ковыляли утки, куры выбирали в деревянном корыте остатки корма; пахло птицей, как и у Кибриков, но здесь все это не вызывало тоски и раздражения. Все было чужое, и мимо всего можно было проходить, не думая о том, как угодить свекрови, не время ли собрать яйца, посмотреть, не далеко ли заплыли гуси...

Римма вышла за калитку, прислушалась к звукам, доходившим с той стороны, где находился лиман. Увидела дымок над летней кухней, силуэт свекрови, мелькнувший за пожелтевшими кустами сирени, а в ушах, казалось, еще удерживался ее ворчливый, пришептывающий голос. Пусть куда угодно, только не туда... Риммой вновь овладело чувство свободы, чувство, похожее на мстительную радость, и хотя всего три дворика отделяло их, а как все разом отодвинулось далеко-далеко, словно за тридевять земель.

В другой, противоположной стороне мутно вырисовывались мастерские. Оттуда доносились звуки металла, и это напомнило ей Облучки, родной домик, где прошло ее детство, где есть шелковица, речка, которая пахнет, как море, и камыши, только здесь они побиты волной, корявые, а там свежие, пышные.

Безмерный объехал поселок окраиной по небитой дороге с потрескивающими под колесами сухими бурьянами. Заметив Римму, он остановился и несколько минут наблюдал за ней из машины. Увидев, что она одна, Михаил Кузьмич вылез из машины, отряхнулся и направился к ней. Не доходя сотню шагов, Безмерный остановился. Его удерживало какое-то необъяснимое тревожное чувство, но это чувство исчезло, когда Римма, увидев его, что-то прокричала.

Михаил Кузьмич приободрился и быстрее зашагал на зов.

— Вас не узнать, Миша, — Римма задержала его руку в своей. — Как это называется? Ассимиляция?

— Лучше? — он сделал несколько жестов, копировавших Кучеренко.

— Боюсь, вас начнут путать.

— И я этого боюсь. Перебрались окончательно?

— Перебрались.

— Как настроение?

— Сама себе не верю. Утром встала, вышла, дышу, любуюсь, никого за спиной.

— Надолго здесь обосновались?

— Обещали квартиру в станице. Заканчивают дом. Возможно, сдадут к празднику.

— Возможно, и сдадут.

— Вы случайно или специально?

— Специально. Есть небольшое окошко. В два часа назначено расширенное заседание правления, вот и решил заскочить.

— Несмотря на мой запрет? — Римма улыбнулась.

— Несмотря на запрет. Хотите, пройдемте к морю?

— Вот так, в халате? — она распахнула полы, быстро закрыла. — Что же, пойдемте... Я и забыла, что теперь принадлежу только себе.

Они пошли к морю. Крикливая стая чаек носилась над ними, по-видимому ожидая подачки. Солнце заливало берег, отмели, струилось в тихом прибое. Римма была в хорошем настроении, шутила. Михаил Кузьмич восхищался ею, «такой необычной, такой сказочной, такой желанной».

— Вы только не обижайтесь. Имею я право восторгаться вами или обязан заквашивать свои мысли, желания, чувства?

— Говорите, я не обижаюсь. С вами легко, — Римма смеялась, — я устала от деловых разговоров, от всяких процентов и планов.

— Вы думаете, я избавлен от них?

— Знаю, никто не избавлен, — она поморщилась. — Вы... вы умеете совмещать. Женщинам у нас редко делают комплименты. Никто не заметит, как ты одета, что идет тебе, что не идет. Разве только бабы-старухи, бог мой, попробуй надеть модный костюм или брюки, — она заговорила быстро, раздраженно, постепенно теряя игривый тон, и Михаил Кузьмич заскучал.

Море ясно открывалось до горизонта. На шершавую ракушку набегал вялый прибой. Из-за бугра, скрывавшего западную часть побережья и его лиманы, выплыла

лебединая стая. Плавное движение перламутровых тел подчинялось особому ритму. Изредка вожак чуть-чуть оборачивался назад, поднимал желтый с черными подпалинами клюв и что-то кричал на своем птичьем языке.

— Послушайте, они кричат ласково, как хорошо воспитанные дети, — задумчиво сказала Римма.

Безмерный нехотя заметил:

— Они нас почему-то опасаются. А вот Кучеренко они не боятся...

— Хотя вы и оделись, как он.

— Птицу трудно обмануть оперением.

— Человека проще, — Римма тихо засмеялась.

— Вы опять швыряете камешки в мой огород?

— Нет ни огорода, ни камешков, — и она переменила тему. — Скажите, разве лебеди остаются на зимовку?

— Они улетят попозже, после октябрьских, если только не почуют ранних морозов.

Лебеди плыли, перекликаясь, в сторону ставников, чернеющих кольями и оттугами. Они не спешили. Чувствуя похолодевшую воду, поджимали то одну, то другую лапы, даже издалека черневшие на фоне белоснежных перьев.

— Пройдемте подальше, — Безмерный взял Римму за руку.

— Зачем?

— Там крупные раковины.

— Нет там крупных раковин. Дальше я не пойду. Вернемся. Леночка может проснуться.

— Нельзя жить только одним.

Римма ответила строго:

— Леночка для меня все. Я не представляю жизни без нее.

— Что вы за человек?

— Обычный, возможно, примитивный в вашем понимании.

Они шли обратно.

— У вас слишком быстрая реакция. Вы воспламеняетесь, тут же гаснете... Ненадежный огонь, Миша. К тому же сегодня, в этом костюме, вы снова чужой, я должна к вам привыкнуть.

— Ну, Римма, иметь с вами дело...

— Да, вы угадали, со мной, как говорится, пива не скоро сваришь. Кстати, вы любите пиво?

— А вы?

— Представьте, люблю.

— Привезти вам пива? — Безмерный снял кубанку, шутливо раскланялся.

— Минуточку, Миша. А у вас начинается лысинка. На макушке.

Он надел кубанку.

— С вами облысеешь, — сказал он упавшим голосом.

— Вот видите, вы и погасли... Разве я не права? Видите, как мы своевременно повернули.

— Не понимаю.

— Нас поджидает хозяйка. Любопытная особа. Почему-то меня не любят женщины, Миша. Если у меня есть враги, то только среди женщин.

— Естественно, они завидуют вам, — вяло отозвался Безмерный и с изысканной предупредительностью раскланялся с хозяйкой.

— Не простынете, Риммочка? — заботливо пропела Маклачиха.

— Пойду переоденусь. Подождите меня, Михаил Кузьмич.

Маклачиха засуетилась, закивала головой.

— Прошу простить старую, не признала вас поначалу. Здравствуйте!

— Здравствуйте! Лучше мне или хуже, мамаша?

— Это нащет костюма? Не знаю, не знаю... Раз так вам нужно, значит лучше, — она обернулась к вышедшей из хаты Римме. — Вот ей платье лучше. Не так стеснительно...

Римма надела то самое янтарное ожерелье, которое подарил ей Безмерный в день свадьбы. Это могло быть добрым признаком, и Михаил Кузьмич повеселел.

— Пройдемтесь немного, — предложила Римма.

Она шла потупившись по тропинке, изредка нагибалась, рассматривая попадавшиеся цветочки. Это был осенний отцвет, скудный и трогательный. Мелкие сухостебельные цветочки будто боролись с приближающейся зимой, бросали ей вызов, не боялись погибнуть; они хоть на короткий миг торжествовали, им удивлялись, и их не срывали, они словно покоряли своей отважной беспомощностью.

— Не надо, не рвите! — прикрикнула Римма на Безмерного. — Как вам не стыдно!

— Помилуйте, мне непонятно. Чепуховина какая-то, как говорит Кучеренко.

— Миша, — тихо сказала Римма, продолжая идти по той же тропке. — Вы не обижайтесь на меня... Не будете? Я попрошу вас взять обратно ваш подарок... — Она остановилась, сняла ожерелье. — Вы, кажется, в затруднении? Я объясню. Свекровь упрекнула меня, и Анатолий попросил вернуть... Все это, конечно, чепуховина, можно было не обращать внимания, но... Возьмите! Мне будет лучше, Миша.

— Пожалуйста, — сухо согласился Безмерный.

— К тому же оно, вероятно, дорогое...

— Дорогое? — Безмерный разорвал ожерелье, собрал бусинки в горсть, швырнул в бурьян.

Римма прикоснулась к его руке.

— Если это не от злости, спасибо. Я лучше буду думать о вас. Теперь можно вернуться. Вот иногда что-то засядет, сверлит, сверлит... Я полна диких предчувствий. Мне не по себе. Анатолий слишком занят, чтобы прислушаться ко мне. Нет, нет, не к моим словам, а к моему безмолвию. Вы ищете одного, я не осуждаю вас, вероятно, я кажусь доступной. Как избавиться от этого, не знаю. Я сорок дней после гибели мужа носила траур. И тогда ко мне приставали: «Девушка, как вам идет». Мне трудно. Леночка очень беспокойная. Да вон и она, — Римма ускорила шаги, девочка подбежала к ним.

— Мама, ты где была? Мне одной страшно.

— Понимаете? — Она взяла ее на руки и пошла быстрее к турлучной хате, к тем самым двум «виконцам», которые «весело грают, як солнце клонит на Керчь».

Глава тринадцатая

До расширенного заседания правления оставалось около двух часов. Безмерный хотел заехать в ресторан, подкрепиться, но раздумал и решил ехать в контору колхоза, чтобы выяснить обстановку. Никаких утешительных мыслей ему не приходило в голову, тяжесть на сердце не оседала, в горле першило от сухой и едкой пыли.

Во дворе колхозной конторы на флагштоке передовиков был поднят вымпел в честь третьей комплексной бригады. Безмерный подошел к группе колхозников, об-

суждавших новость. Его встретили шутливо и почтительно.

— С тебя причитается, Безмерный. — Могучий Гридасов прощупывал его бока мощными ладонями. — Помню, как ты первую миску щей уписывал в ресторации. Недавно было.

— Год назад, — степенно вымолвил Михаил Кузьмич, вчитываясь в фамилии своих передовиков.

— Полюбуйся, тебя жирно вывел, во главе строя, — продолжал Гридасов. — Причитается с тебя, Кузьмич.

Западный ветерок относил шелковистую ткань вымпела к востоку, к полям рекордной бригады. И в этом был символ. Безмерный снял кубанку, вытер вспотевшую голову платочком и, пожав руки поздравлявшим, осанистым шагом направился в контору колхоза.

Первый вымпел, поднятый в честь бригады Безмерного, немаловажное событие, больше того — поворотное. Теперь надо было держаться крепче и не только выходить в запевалы по колхозу, по району выходить и, чего скромничать, по краю.

В кабинете председателя находились Будник и секретарь парткома Максимов. Будник изучал развешанные на глухой стене фотографии боевого пути Четвертого кубанского кавкорпуса. Максимов, солидно вместив свое грузное тело в низкое кресло, сосал ментоловые конфетки.

— Разрешите, если не помешаю? — Безмерный остановился на пороге, снял кубанку.

Кучеренко мельком взглянул на серую кубанку, но ничего не сказал.

— Не помешаешь, — Максимов пристально поглядел на бригадира, удивился перемене в его одежде.

Безмерный, чувствуя себя неловко от явно суховатого приема, прошел к столу заседаний и сел спиной к стенке.

— Итак, Максимов, нечего нам играть в обиженных, надо пристраиваться к общей колонне, — Кучеренко снова заходил по кабинету, круто разворачиваясь на поворотах. — Продумай деловое партийное собрание, обязательно открытое, с обсуждением противоэрозионных мероприятий. Сам поспрошай, других надоумь, пусть прощупают соседей, близких и дальних, не кичатся, поймут, что в этом году мы фактически опозорились, почти вдвое дали меньше зерна, снизили надои, залезли в банк всей пятерней, пришлось затормозить строительство...

— Некогда нам фактически было перестраиваться, — Максимов попробовал смягчить жесткий тон самокритики, — осенью обсуждали методы, тогда все было заложено, потом настигла буря, тут не до жиру, быть бы живу... Свеклу дали как-никак... А когда пересев да подсев, тут не до перестройки.

Максимов, уловив на выразительном лице Кучеренко досаду, умолк, отложил планшет в сторонку.

— Переводи тумблер на прогрессивную волну, Максимов, — сказал Кучеренко. — Ты сам с усам, тебя нечего агитировать. Понять нам надо: то, что вчера казалось хорошо, сегодня — плохо. Придется и нашим массивам обрасти бородами... — Кучеренко помолчал и обратился к Безмерному: — Тебя хвалю, перенял опыт, не погнушался, потому молодой и не закис в традициях... Подняли вам штандарт!

— Вы рекомендовали, Игнат Степанович. Ваше задание. А мы исполнители. Если бы не вы...

Кучеренко поморщился и раздраженно осадил Безмерного:

— Взаимные расшаркивания теперь ни к чему! Паркет под ногами скользкий, раскорячимся. «Лукьяновку» посеяли вовремя, за декаду, с гранулами, в сырую землю бросили сильное зерно. Вот наш паркет. Будем отвечать Ленину юбилейной пшеницей. А потому использовать все: личную смекалку, соседский опыт... Пригласи на недельку ученых от Харченко, мы их игнорировали напрасно...

Председатель явно поворачивал руль на сто восемьдесят градусов и рассуждал по-новому, говоря о просчетах, себя не винил, хотя сам еще не так давно издевался над бородатыми полями, фыркал на плоскорезную технику. Спорить, вспоминать прошлое не было смысла. Максимов и Безмерный принимали упреки снисходительно, лишь бы дальше правильно закрутилось.

— Ты почему помалкиваешь, Максимов? Не согласен?

— Откуда ты взял? — Максимов покрылся пятнами, хрустнула раздавленная зубами ментолка. — Кого-кого, а меня ураган трепал в печенки и селезенки. Убедились своими боками, нельзя его просто перележать, как в окопах при артогне, не возьмешь его и в штыковом бою лоб в лоб. Надо выработать технику, создать заранее укрепрайоны, драться организованно, сплоченно. — Максимов продолжал в том же духе, применяя военную термино-

логию, от чего не отвыкнуть фронтовикам, приподнял покалеченную руку. — Не чувствовал себя инвалидом, а буря напомнила.

Будник продолжал сидеть в неподвижности, сложив на животе руки, и с равнодушием, явно написанным на его широком лице, выслушивал горячие слова Максимова. Его в основном кормило море. Имея свои заботы, он старался не принимать чужих близко к сердцу. Его рыбколхоз сумел отловить полторы тысячи центнеров рыбы при плане в тысячу сто, лов продолжался успешно, его «конь» не брыкается и не хромает, нужная техника в деле, мастерская пополнилась шефскими станками. Дикушин обещаний на ветер не бросил. Механик надежный, скромный, старательный. И только одно его серьезно тревожило: опасался Матвей Иванович разлома новой семьи: случаев таких много, опыт подсказывал не забывать о профилактике. Потому терпеливо и ждал Будник, когда выдохнется Максимов и вернется к его вопросу.

Делу помог Кучеренко, терпеливо выслушавший своего «комиссара».

— Ладно, Максимов, печалью смеха не добудешь, — мягко остановил секретаря парткома голова колхоза. — Бросался ты на спасение общественного добра лихо, забыв, что годы не те, и руки не те, и печенки-селезенки... Давай отпустим нашего ватажка, а то вот-вот нагрянут приглашенные. Анна Сергеевна будет, послушаем ее добрые советы, плохого она не подскажет. Бабиев приедет; возможно, хотя и нетвердо, — Потапов. Из института будет антиэрозийщик.

Максимов умолк и обратился к Буднику:

— Начинай, Матвей Иванович. Хотели заглазно, ан вышло по-иному, очная ставка... — Он взглянул на Безмерного. — Вопрос касается тебя. Моральный характер. Ты, Матвей Иванович, ставь вопрос ребром!

Будник приподнялся, оперся костяшками полусогнутых пальцев о стол.

— Ребром так ребром! Вам в укор, товарищ Безмерный! Знакомы мы с вами около года, помните, приезжали в Лебедянку, подружиться не удалось, не тот калибр наш брат рыбак, а все же...

Кучеренко не выдержал затянутой преамбулы, остановил натужно подбиравшегося к цели Будника, подошел

к Безмерному, взял его за кончик казачьего пояса и, остро глядя в растерянные глаза виновника, сказал:

— Товарищ Будник просит тебя не разрушать семьи Кибриков. Понял, в чем дело? Или объяснить популярно?

— Не понимаю, — Безмерный пожал плечами.

— Подбиваешь клинья к жене Анатолия Кибрика. Вот для полного понимания несколько упрощенно, грубовато, но так выразился в нашем присутствии Матвей Иванович. Вопрос ребром, — он усмехнулся, кивнул на Максимова, — ставится так: будешь продолжать «подбивать клинья»? Правильно объясняю, Будник?

— Вполне популярно.

— Игнат Степанович, это прежде всего оскорбляет женщину! — Безмерный кинул первую фразу, словно камень в Будника, и, воспользовавшись растерянностью того, продолжал в таком же возмущенном духе. Атака подействовала на бесхитростного Матвея Ивановича, заставила его то краснеть, то бледнеть и переводить недоуменные взгляды то на Кучеренко, то на Максимова.

Игнат Степанович не препятствовал жарким объяснениям Безмерного. Слова у того вылетали, подгоняемые холодным рассудком, и для такого старого воробья, каким был Игнат Степанович, высокая их тональность раскрывала истину.

— Давайте, как говорится, подведем черту, — предложил Кучеренко. — Из слов Михаила Кузьмича можно установить главное — он не собирается разрушать семью Кибрика. Станки, запчасти, фелюги, каюки и что там у тебя еще, Будник, не подвергаются опасности, — Максимов улыбнулся, повеселел. — Михаил Кузьмич, как я его понял, возмущен кривотолками, отвергает обвинения. Вопрос, по-моему, надо снять с ребра.

— Сняли! Не персональное же дело заводить. И так много сплетнями времени отнимаем, — категорически заявил Максимов. — Любишь ты, Матвей Иванович, с выеденным яйцом носиться.

— С выеденным? — Будник возмущенно пристукнул кулаком по столу. — Спроси улана своего, где он с утра был.

— Где? — спросил Кучеренко.

— Не скрою, в Лебедянке, — ответил Безмерный.

— Вот вам альянс-альямс, други! Муж на работе, а он к жене, — Будник повысил голос. — Лебедянка не Сан-

Франциско! Там в одной хате утку скубут, а перья по всему селу летят.

— Не будет он больше, обещал же, Матвей Иванович! — с раздражением заключил Кучеренко. — Иди лови тюльку! Подтягивай за счет жуй-плюй план второго полугодия.

— Какая сейчас тюлька! Защищаете своего кадра, — буркнул Матвей Иванович.

— А как же ты думал, Матвей? Тебе дорог Кибрик, нам — Безмерный. Исполосовать его по первому навету? Сам бы над нами подхихикнул, — вспылил Кучеренко. — Ты своих передовиков дашь в обиду? Мало они наших девчат попортили, стервецы! Если начнем по юбошному признаку шерстить кадры, боюсь, и с нашего брата сивые клочья вверх полетят... Так-то, старый барбос, Матюшка.

Будник улыбнулся, покряхтел и вышел быстрыми шагами, как бы убегая от дальнейших уточнений, способных обернуться не в его пользу.

— Вкус у тебя недурен, Кузьмич, — подморгнул Кучеренко Безмерному. — Хороша Маша, да не наша... Максимов, не посчитай за труд, выкликни сюда агронома, пусть карту захватит... Не горюй, Кузьмич! Быть битому добру молодцу не в укор! Вернемся от моря к земле. Съедутся гости и советчики, покаянных поклонов бить не будем. Виноват, отстал «Четвертый корпус», молод колхоз и бодр душой, исправимся. Расскажешь, как использовал опыт Повалия, какие успехи, и примем новую веру. Научила нас буря! В голове пойдешь, запевалой, не зря тебе вымпел подняли! Поясок чуть повыше носи, примерно на уровне пупка. Кубанку оторвал добрую. Макуха субсидировал курпеем? — Кучеренко встряхнул кубанку, подул на мех. — Молчишь. Ладно. Утробный каракуль: завиток мелкий, крутой, и блеск есть... Но, учти, не то ценно, что на кубанке, а что под нею. Кажется, подъехали гости...

— Я сейчас спущусь, а то неудобно, — Максимов заторопился, на ходу одергивая короткий парадный пиджачок.

Кучеренко глядел в окно, подняв руки и упершись растопыренными пальцами в чисто вымытое стекло, на котором еще видны были следы мела. Бесшумно, словно на резиновых роликах, засуетились девушки из конторы, накрыли стол ресторанными скатертями, вкатили на тележках бутылки с пивом, квасом и минеральной водой.

Позванивали мелодично фужеры. Появилась на столе паюсная икра, нарезанная в виде рыбок со сливочным маслом, вяленый рыбец, истекающий янтарным соком, копченая ветчина, колбасы.

Девушки продолжали украдкой зыркать на Безмерного: считался он женихом, и девичья биржа давно оценила его и исподволь открыла атаки. Теперь, когда замужняя милашка откололась, не миновать Михаилу Кузьмичу попасть в нейлоновый ставник с мелкой ячеей.

Искоса поглядывал Кучеренко не так на площадку перед парадным эркерным подъездом, как на мелькание полных локотков, коленок, с томительной грустью возвращался он в прошлое, наблюдая, как степенно объявилась Анна Сергеевна, раскланивалась хотя и приветливо, но с важностью и неторопливо.

— Повалий будет? — спросил Кучеренко.

— Звонили ему трижды. Полощет горло. Ангина.

Сечевики подкатили с небольшим опозданием. Потапов в кепочке, Дударин в велюровой шляпе, прикрывающей раннюю лысину, стройный черноволосый Караман. Их всех видел Кучеренко, когда направились они к Доске почета. Вот вылез из белой «Волги» Харченко, а за ним Зарембa и главный колхозный механик, сидевший за рулем. Приехал повалиевский агроном, державшийся скромно в сторонке с представителем научно-исследовательского института, проводившего удачные опыты по антиэрозионной обработке почвы.

— Этого я не знаю, — сказал заместитель председателя, приподнимаясь на носки, чтобы из-за спины Кучеренко рассмотреть улицу. — Наука?

— Наука, — насупился Кучеренко. — Он пощекочет нас и под мышками, и меж лопаток.

— Что-что, а интендантская служба работает по-сверхударному! — заметил секретарь крайкома, глядя на стол.

— Это для прочистки глотки во время прений. Может, мягче скользнет зуботычина, — пошутил Кучеренко, прозрачно намекая на жесткую критику секретаря в адрес «бронепробиваемого Кучеренко».

— Бытие определяет сознание.

— Пожалуй, пожалуй, — Игнат Степанович невесело покривился, поздоровался с Бабиевым, Потаповым, полуобнял тихо подошедшую к нему Анну Сергеевну. — Рад видеть тебя, Аннушка. Хоть одна женщина, а то будто в Запорожской сечи, одни казаки...

— Какая я теперь женщина, Гнате, — сказала Анна Сергеевна с приветливостью во взгляде и с добрым состраданием. — Идем, ветер глотаем.

— Идешь впереди, потому и задувает, Аннушка. Лидерам приходится рассекать воздух. — Кучеренко подал руку молча подошедшему к нему Харченко, поздоровался с Караманом, прежде всего обратившим внимание не на закуски, а на парадную стенку с историей казачьего корпуса. Благодарности Верховного, переснятые в увеличенном виде, были скреплены характерной подписью Сталина.

Собравшиеся расселись молчком. К накрытому столу подойти никто не осмелился. Бабиев раскрыл бутылку минеральной, предложил Потапову, тот отказался.

Анна Сергеевна о чем-то тихо говорила с молоденьким агрономом бригады Повалия, обернулась к Безмерному, что-то сказала ему, тот выслушал ее предупредительно и, вынув блокнот, записал.

Харченко сидел впереди, в том углу, где стоял сноп «Авроры», туго перевязанный красной ленточкой, и казалось, его взяли с Герба Советского Союза, таким литым и бронзово-золотистым был тот сноп сильной пшеницы, входившей в общий севооборот на правах доброго пришельца.

Кучеренко оглядел всех туманными, невеселыми глазами, откашлялся в кулак, начал говорить, поигрывая желваками и не сразу находя нужный тон:

— Если объяснить кратко, товарищи, мы попросили вас приехать, отняли у вас дорогое время лишь потому, что пришла пора... Постучалась к нам забота, как спасти землю. Против сорняка — знаем, против амбарного вредителя — обучены, против разбойников — милиция, а вот против повальной бури почти ничего, а если что есть, разнобойное, хочешь — так, не хочешь — этак, потому и прорыв. В этом разнесчастном году траур, вместо того чтобы везти на элеватор, везем с элеватора. — Кучеренко набрал воздуха, затянул паузу, и наблюдавшая за ним Анна Сергеевна заметила, как наполнились глаза его влагой и заблестели меж густых ресниц слезинки.

Кучеренко обратился к ученым и «эмпирикам», просил поискать общую линию, впереди юбилейный ленинский год, и люди «Четвертого корпуса» хотели бы рапортовать не пустыми закромами и растерзанной почвой.

— ...Нас назвали броненепробиваемыми, — закончил

он, — неверно такое жестокое определение. Уязвимые мы, легкоранимые, не гордимся, не кичимся, а тужим, и горюем, и плачем в тиши, незаметно, чтобы не обвинили нас в слабости. Земледелие — сплошной фронт, плечом к плечу, в земледелии еще вреднее необеспеченность стыков, чем в полевом бою. Стираются разграничители, как стерлись межники. Идет в бой не отдельный колхоз, как некий княже Серпуховский или Черниговский, а вся Россия земледельческая, социалистическая, подчеркиваю двумя жирными линиями, социалистическая. Не пошли мы с холщовой сумой через плечо исключительно благодаря именно этому. Щедро бросили нам помощь: воюйте, только не унижайтесь перед врагом, никто не осоловел, не опустил руки, не закричал отчаянно от страха. Только потому, что мы социалистические... Вот и давайте решать, как говаривали в древности, соборно, а еще лучше слово коллективно, потому как мы коллективное хозяйство...

Речь Кучеренко явилась неожиданностью для многих. Привыкли обычно начинать с писаного доклада, подсыпать по пути, чтоб не поскользнуться, цифровым песочком, подкреплять заклинаниями, «исходя из решений и для претворения в жизнь».

Люди, приготовившие свои писульки, стыдливо их попрятали, стали отыскивать не в бумаге, а в сердце ответ на душевный призыв бывшего эскадронного.

Глава четырнадцатая

К правлению «Четвертого корпуса» подкатил «ижевец» с коляской, заполненной кавунами, яблоками. Из коляски, из-под фартука, торчали даже метелки, связанные из веничного проса.

Алексей Маклаков, отгуливающий выходной в Баклановской, подошел развалистой моряцкой походкой к хозяину мотоцикла — Тимофею Аулову, разминавшему короткие ноги в кожаных грубых сапогах, щелкнул пальцами по козырьку своей фуражечки и бойко отчеканил:

— Привет!

— Здоров, коли не шутишь, — хмуро отозвался Тимофей.

— Не обменяем мотоциклы, парень?

— Не с того начал, — оборвал Маклакова Тимо-

фей. — Я не цыган, ты не Олег Попов, мотоцикл не пегая кобыленка. У тебя делов нет, мне некогда, спросишь — отвечу, покуражишься — объеду, преградишь дорогу — свалю...

Тимофей говорил раздраженно, потому что устал, к тому же ему не очень хотелось по настоянию Ивана Терентьевича возвращать мотоцикл Анатолию Кибрику. Он даже намекнул тестю: мол, дареное неудобно возвращать, но старый Тарасенко еще строже насупил седые брови.

Когда Тимофей заикнулся о том, каким транспортом он доберется обратно в Сечевую, Иван Терентьевич посоветовал:

— В Баклановку наши на совещание поехали. Попросишься — привезут...

Тимофей снял шлем, закурил, угостил Маклакова. Они покурили в холодке, на лавочке, напротив скверика. Благодаря ясному дню меж полуобнаженных ветвей просматривалось море. Вид его всегда возбуждал Тимофея, вызывал волнение, и потому он не спускал глаз с открывавшегося с крутояра вида.

— Отслужился? — поинтересовался Маклаков.

— Да.

— На флоте?

— Нет.

— А я гляжу, по фигуре подводник. Тебя как звать?

— Это важно?

— Меня Алеха, а тебя? Важно — не важно, а как-то надо обращаться, или ты любишь обращаться так: эй, подожди! Ты же не Эй?

— Тимофей. Почти Эй.

— Не знаю, кто ты, может, заочник, может, буровик, может, приехал капканить нутрию, не знаю, а ты мне нравишься. Я, к примеру, рыбак. Больше того, скажу на ухо, бригадир. Батько мой рыбак, дед рыбак... Открыли мы путину двадцатого сентября и посвятили ее приближающемуся юбилею. Пришел к нам новый механик — вот парень!.. Другому нужно год, он за неделю... И главное, без шума: пырь-шырь-нашатырь, туда-сюда-камфара...

— Ты про какого механика? — осторожно спросил Тимофей.

— Про нашего, Анатолия Кибрика. Все в нем в аккурате, а вот даже скромный, голос не повысит, а наш брат привык к мегафонным басам.

— Мешает ему скромность?
— Почему мешает? Я этого не сказал. Непривычно. Наша Лебедянка... Анатолий сейчас у меня на квартире с женой и дочуркой живет...
— Верно? — удивился Тимофей. — Садись, подвезу.
— Куда? На кавуны?
— Сзади садись.
Маклаков покорно повиновался, сел позади, дохнул в ухо Тимофею.
— К милашкам?
— В Лебедянку, — тоном приказа ответил Тимофей.
— Зачем мне туда, недогулял я, — Маклаков попробовал сопротивляться, но «ижевец» сорвался с места и покатил в направлении моря, куда вела приметная улица вдоль крутояра.
— Правильно, курс на Лебедянку? — уточнил Тимофей.
— Правильно! Мимо детского сада. Ох, какие там девули на дошкольном воспитании малолеток. Такие педагогички...
Они покатили мимо роскошного подворья, именуемого столь обыденно — детский сад, мимо квартала каменной колхозной новостройки, пролетая мостки, перекинутые через траншеи подземных коммуникаций, и лишь поближе к завалу кручи помчались мимо кирпичных домиков с железными кровлями, то и дело петляя меж застругами мелкозема.
— Левее бери! — прокричал Маклаков. — Впереди промоины будут. Там шею свернуть можно...
Время приближалось к пяти. Косо удлинялись тени. Впереди, на западе, сверкало море, будто играли в нем огромные золоточешуйчатые рыбы. Сбитые в стаи чайки носились, как хлопья ваты, держась ставников.
Тимофей не против был бы и остановиться, полюбоваться морем, чайками, солнцем... Некогда! Он отгонял мотоцикл Анатолию по настоятельной просьбе Ивана Терентьевича. Дошли до старого комбайнера дурные слухи. Больше того, получил анонимку с таким началом: «И не совестно тебе, старый прохвост, грабить неразумного хлопца...» Оскорбительное, мерзкое письмо, злой человек выстраивал валкие буковки, считая себя добрым.
Стиснув зубы, прочитал Тимофей подлую записку, порвал ее на кусочки: «Не храните этакое паскудство, батя, будете обязательно перечитывать, и всякий раз

полоска на сердце. Забудьте. Анатолий тут ни при чем, знаем мы его. Вручу ему машину, предлог найду, а вы, батя, дайте покой вашим нервам. А то, смотрю, вчера на зяби сделали «балалайку» *. Глазам своим не поверил. Такой пахарь — и «балалайка»!

Несмотря на разбитую дорогу, Тимофей с Алексеем добрались в Лебедянку без происшествий. Маклаков предупредительно сбегал в хату. Тут же выскочили Римма и Анатолий.

— Спасибо, Тимофей! — Анатолий обнимал родича. — Вот нежданно-негаданно! Я прибежал на обед. Тянем мы сейчас на клетку мотобот, спина мокрая, не гляди на мои чоботы, снимать даже не стал...

— Хватит тебе, Толя, — Римма отстранила мужа и поцеловала Тимофея в губы. — Поздравляю с сыном, Тимоша. Зойку поцелуй тысячу раз... Пошли в хату, как раз попал к обеду.

За маленьким столиком уселись все, позвали и Алексея, охотно отозвавшегося на приглашение. Кося дерзкими очами, он на секунду скрылся и, вернувшись, мигом открыл бутылку водки.

— Давай, Римма, стаканчики граненые. Возьми в буфетике у матери.

— Что вы?.. — запротестовал Анатолий. — Мне возвращаться на работу, Тимофей за рулем...

— Чего ты, за рулем, за рулем, — остановила его Римма. — Переночует, к утру все выветрится. Я тоже выпью.

— Я тоже граммов полтораста, — согласился Тимофей.

— Загадка, — Анатолий покрутил плечом, — надеешься на свои силы...

— Отгадка будет потом, — произнес Тимофей, готовясь к объяснению. — Что это, пельмени? Никак рыбные?

— Рыбные! — Римма сияла. — Сама придумала. Из свежего судака, филейчика... Перец, укроп. На обратную дорогу вместо кавунов и веников погрузим наши морские дары.

Обед проходил непринужденно, весело.

— Как там наши? — расспрашивала Римма.

— Хорошо. Батя забил последний гвоздь в домик. Пришлось ему посутулиться.

— Разве не помогали?

---

* «Балалайка» — огрех.

— Как не помогали. И мы не отказывались от субботников, и Харченко подсылал стройбригаду... Вышел домик на славу, веселенький, зоркий такой. — Тимофей потребовал еще миску пельменей, сдобрил их горчицей и уксусом. — По сравнению с вашим — дворец. Зимой здесь остаетесь?

— Обещают к празднику, — ответил Анатолий. — Строят тоже вроде «Черемушек».

— Если это те, мимо которых я проезжал, то действительно размашисто, Анатолий. Про Новороссийск совсем забудете, выветрите его из памяти.

— Трудно, — вздохнула Римма.

— Что же помалкиваешь о сыне? — задумчиво спросил Анатолий.

— Да вы же все знаете. Существует теперь еще один гражданин Советского Союза — Павел Тимофеевич Аулов. Посылали вам телеграмму. Вы не приехали. Вашу поздравительную получили. Спасибо. Теперь уже Зоя складывает их на комоде, взяла мамину привычку... — Тимофей, покуривая, перешел на дела бригады, рассказал о сегодняшнем совещании в Баклановке и, объявив, что торопится, перешел к главному.

— Чего спешишь, заночуешь у нас, — сказал Анатолий. — Когда еще свидимся? Мне не вырваться до ледостава.

— Заночевать никак не могу, увольнительная до двенадцати, Толя. А потом думаю успеть на машину, — объяснил, как он планирует обратный путь. — А то придется на попутках, наголосуешься...

Анатолий нахмурился, взглянул на шлем, пылевые очки, краги, лежавшие на табуретке.

— Не понимаю, Тимофей. Горилки выпил всего ничего, а что-то заносит тебя... На мотоцикле вернешься. Зачем голосовать на попутные?

Тимофей потупился, буркнул что-то неопределенное, начал издалека, а так как хитростью особой не обладал, запутался с первых же фраз.

— Разве не понял ты, почему от стопки не отказываюсь?

— Не понимаю...

— Прислал тебе Иван Терентьевич мотоцикл, возвращает с благодарностью. — Тимофей, стараясь не замечать порывистого жеста Анатолия, продолжил: — Помогла ему твоя машина. Приспособил батя ее для перевозки

мелких грузов по-муравьиному, как говорят в станице. Теперь дом кончен, транспорт не нужен. На работу — автобусом...

Наступило молчание. Алексей не стал дожидаться дальнейших объяснений, поднялся, поблагодарил за обед. В дверь заглянула его мать, с любопытством оглядела все прилипчивыми глазами, позвала сына, пришел к нему инвалид Елфимов: «Машину пришел просить, чего-то ему надо перевезти со станицы». После ухода Алексея неловкость продолжалась еще несколько минут. Анатолий нагнулся над столом, пряча глаза, мелкими глотками пил компот.

— Я же подарил бате мотоцикл. Мне совсем непонятно...

Тимофей помялся, обманывать не хотелось, а говорить все начистоту не решался, опасался, чего доброго, задеть родителей Анатолия. А вдруг они знали о письме или, того хуже, сами его писали.

— Ты подарил, а он передарил, — только и мог сообразить Тимофей и принялся лениво добирать алюминиевой ложкой охолонувшую юшку. — Миновала надобность. Не консервировать же на зиму. А здесь он нужней. И в станицу и на работу...

Римма не принимала участия в разговоре. Присела боком на койку и глядела в окно. Отсюда была видна часть размятой дороги, черные колеи, бугорок затвердевшего ракушечника в пегом сухотравье и за ним треугольник моря, налитого кровяными соками заката. Этот зловещий треугольник заставил ее вернуться к прошлому. Она старалась не вслушиваться в беседу мужчин, зная непрочность своего положения между двумя огнями. Зато разговор Алексея и Елфимова слышен был. Римма знала Елфимова, проживающего невдалеке, во втором «порядке», где стояли хотя и внешне ухоженные хатки, но такие ненадежные, карточные, исключая домик Елфимова.

Елфимов за лето капитально отремонтировал его, вывалил подгнившие столбы и заменил их двутавровыми стальными балками. Затурлучил стены не по хворосту или камышу, а по проволоке-катанке. Мало кто понимал инвалида. Зачем мастерил такой дот? Век у старика был явно короток, здоровье шалило, хватило бы ему на «дожив» и прежней хатенки. А вот появилась в нем этакая рьяность, вышибал материалы, трудился от зари до за-

ри и вот сейчас с упрямой надоедливостью, со скрипом в простуженном горле требовал от бригадира машину. Застав его возле бутылки, упрекал, приводил в пример снятого с бригадирства Степку Печеного.

— При отце держался ты, Алексей, никто мизинцем на тебя не имел права указать, а как батьку твоего отвезли в больницу, запах идет от тебя. Люди молчат, а принюхиваются, Алеша.

— Не имеешь оснований путать меня со Степкой, — задиристо цапался Алексей, — у того болезненное пристрастие. А ты часто видишь меня загазованным? В праздник баночку перекину, в будни пива не позволю...

Спор в соседней комнате отвлекал Римму от дурных мыслей. Тимофей прислушался, покачал головой.

— Недаром ваш колхоз «Азарт». Ишь какие азартные. А вот тебя Алексей назвал тихим, считает твоим недостатком.

— А что в крике толку? Я не крикун, это верно.

— Что верно, то верно, — Тимофей искоса глянул на приунывшую Римму, — таким тебя помнят в бригаде. Я нет-нет да и взовьюсь, всяко бывает, а потом примеряюсь к тебе, остыну.

— Не себя хотел отметить, — Анатолий помял руки.

Вопрос с мотоциклом как-то повис в воздухе. Где-то надо было ставить точку, а пока одни многоточия и вопросительные знаки. Хитро задуманный словесный маневр вывел Римму из задумчивости. Она встрепенулась, досадно поморщилась.

— Неужели все это так важно? — спросила Римма тоскливо. — Есть какой-то несчастный мотоцикл или нет его?

Анатолий уловил в ее голосе что-то горькое, потерянное и, повернувшись к ней, чтобы возразить, остановился, не посмел. Римма сидела вялая, с жалкой улыбкой и говорила будто про себя, ни к кому не обращаясь:

— Отец решил возвратить. Его не переубедить. Если Тимофей вернется на мотоцикле, он сам пригонит его.

Тимофей будто бы только и дожидался таких слов, как сигнала к отъезду, поднялся степенно, поблагодарил.

— Шлем и краги оставляю, — сказал он, — а на обратный запасся кепкой. Прощай, Римма.

— Прощай? — Она опустила ноги с койки, нащупала туфли, продолжая отсутствующим взглядом смотреть на Тимофея. — Нет, только не прощай. До свидания! Не за-

будь поцеловать Зойку. Скажи ей, пусть бережет мальчугана... Дети. Главное — дети.

— Мы тоже для родителей еще дети, — сказал Тимофей.

— Правильно, пока мы остаемся для них детьми... Где же наша Леночка?

— Она пошла с Сашком, — ответил Анатолий.

— С Сашком? — Римма вышла из комнаты, и вскоре ее фигура промелькнула возле окон.

— Вот так мы и живем, Тимофей, — подавленно сказал Анатолий. Руки его подрагивали, на верхней губе высыпали бисеринки пота.

— Не клеится что-то у вас? — осторожно спросил Тимофей. — Ты вроде сам не свой, она нервничает...

— Заметил, значит, — вяло проговорил Анатолий, — не клеится. Пришлось переехать от родителей в эту конуру. Первые дни была довольна, занавески, свой закуток, теперь вижу — и ей тошно. Хозяйка лукавая, что едим, как едим, о чем говорим — Лебедянка в курсе. Мать встретит, слезами обольет. А Римма нервничает. Через три дома живем, как спрячешься!

— Переберетесь в станицу, обкатается. Дальше роднее будете... В работе-то хотя спокоен?

— Какое там! Слыхал выражение «белка в колесе»? Я не видел, как она там в колесе, но технически представляю жуткий аппарат. Так и я.

— Не нравится мне твое настроние, Толя, — пожурил свояка Тимофей, незаметно поглядывая не так на часы, как на резкий закат солнца, бьющий остро в глаза даже через двойную раму.

Форточек не было. Сдвинутые в сторону занавески, о них упоминал Анатолий, и те висели безжизненно, вроде тоже недовольные. А ткань-то пестрая, с синими цветами, плотная, насколько помнил Тимофей, египетская.

— Со своим народом я поладил в основном, — продолжал Анатолий. — Раньше на инвалидных станках работали, теперь установим новые. Мальчишки у меня работают с аттестатами зрелости, быстро осваивают технику. Часть из них стажируем на судах. Суда ведь тоже фактически мне подчиняются. Потом расширим производство цементно-ракушечных блоков, заказчиков пропасть, магарычи сулят проворотчики, деньги подсовывают, только дай стеновой материал... — Он делился своими планами без вдохновения, ради заполнения пустот, возникающих

между ними из-за какой-то недоговоренности; спохватившись, попросил Тимофея рассказать, как у него идут дела в бригаде.

Разговор наконец как бы ушел в песок, поднялись, обнялись.

— Как отсюда добираться до Баклановки?

— Есть автобус. Ждать его нет смысла. Послесменный автобус. Довезу тебя на мотоцикле. Кстати, повидаю Анну Сергеевну, Григория Васильевича, — Анатолий примерил шлем, наклонился к зеркалу, взял краги. — Повалий, говоришь, заангинил?

— У него часто, советуют гланды удалить.

— Взял бы и вырезал.

— Вроде не тот уже возраст для удаления, — Тимофей коротко посмеялся, показав мелкие, густо насаженные зубы. — Взялись за чужие гланды, пропади они пропадом... Пошли! Коляску-то освободили?

— Хозяйка занималась. Веников-то сколько. На всю пятилетку, — сказал Анатолий.

— Там, погляди, мать сала клала, колбасу. Выдали с фермы нашим кабана взамен погибшего, закололи к празднику. Пошли, если хочешь успеть повидать наших. Потапов тоже здесь, и Караман приехал. Не хочешь с ними встретиться?

— Эти для меня крупные, — ответил Анатолий. Выйдя во двор и отогнав заворчавшего на Тимофея кобеля, спросил: — Совещание по какому случаю? Или просто выпить-закусить?

— Сплачиваются против ветра, Толя, — Тимофей прикрыл глаза от солнца, увидел быстро идущую от моря Римму, услышал негодующие крики Леночки. Позади уныло шел Сашок.

За Сашком в небольшом отдалении двигались, шелестя по колючкам, три мальчика с игрушечными автоматами и отчаянными глазами на запеченных личиках, выражающих предельную дерзость. На их плечах живописно висели маскированные пучками травы куски рваных сетей. А ближе к дому две девчонки соседа Корниенко, неподвижно уставившись на Тимофея, ели сухую курагу и исподтишка бросали друг в дружку косточками.

— Твой Сашок затащил ее в воду! — Римма шлепнула Леночку. — На кого ты стала похожа?

— Хочу с Сашей, хочу с Сашей, — упрямо твердила девочка.

— Нет, ты больше никуда с ним не пойдешь никогда.

— Пойду, пойду, — настойчиво повторяла девочка.

Анатолий возился у мотоцикла.

— Не надо поднимать крик по пустякам, Римма.

— Тебе все пустяки, — губы ее дрожали.

— Пойди успокойся. Я понимаю тебя, ты пойми меня. Сашок мой брат. Он восприимчив к обиде. — Поманил его к себе: — Хочешь с нами прокатиться?

— Куда? — он смотрел на уходившую с Леночкой Римму.

— В станицу. Отвезем дядю Тимофея. Кстати, не мешает и познакомиться, родственники же!

Сашок осторожно приблизился, смотрел хмуро, еще не оттаяв от обиды.

— Давай лапу, Саша, — сказал Тимофей.

— Здравствуйте!

— Дядя Тимофей — муж Зои, родной сестры Риммы, — объяснил Анатолий. — Как говорили в старину, прошу любить и жаловать.

— Руки-то у тебя в смоле, Саша, — заметил Тимофей.

— Не в смоле, а в смолке, — поправил его Сашок, — помогал обрабатывать сети.

— Похвально, — Тимофей указал на сгрудившихся в любопытстве детей. — Твои друзья?

— Кто да, кто просто, — уклончиво ответил Сашок.

— Чего же ты так строго? — мягко укорил его Анатолий. — Представь дяде Тимофею своих ровесников. Потом будете вспоминать, как росли вместе у одного и того же моря, ели одну и ту же рыбу, смотрели на одних и тех же чаек, — Анатолий задумчиво глянул в небо, на птиц, потом на ребят. — Вот Макеевы, — представил он, — Славик ходит в седьмой, мечтает в Звездный городок, а эта курносенькая — его сестренка Наташа. Кем ты хочешь? Учительницей?.. Неплохо. А вот, — он указал на стройненькую беловолосую девочку, — Танюша Лопухова. Те, с курагой, сестренки Корниенко, а этот Юрко, ему уже десятый, отец его лучший моторист, обрати внимание на кулачищи. Боксером будет. — Анатолий назвал еще нескольких детей, пригласил Сашка́ в коляску. Тимофей сел сзади, и они поехали в станицу.

Сашок в коляске сидел строго, жмурился от встречного ветра, застегнув пуговки на рубашке и спрятав руки под фартук коляски, видно, назябся все же на море. Тимофей видел его затылок, стриженую белесую голову, опален-

ные солнцем уши. И на десяток лет не был старше Сашка Тимофей, а все же завидовал мальчишке, его мечтам, его будущему и скромным запросам.

Невеликим лириком был Тимофей Аулов, а не мог отрешиться от услышанных им во Дворце культуры стихов. Читал их приезжавший с творческим отчетом их земляк — кучерявый, с фронтовой сединой поэт:

> Буду губы кусать я, обиженный,
> От восторгов мальчишеских млеть,
> Разбуди меня наголо стриженным
> Мальчуганом пятнадцати лет...

В таком пониженном настроении слез с кожаного седла Тимофей, нежно распрощался с Сашком и пошел вместе с Анатолием в правление, где еще шло совещание.

— Я туда не пойду, — сказал Анатолий, — сам знаешь, незваный гость... Давай тут попрощаемся, мои поклоны родне и друзьям. По первому ледоставу можешь засечь время моего появления в Сечевой. Вот тогда надышимся.

— Прощевай, Анатолий, — Тимофей долго жал его руку, трудно отыскивал последние слова, глодала его мысль о Римме, по-видимому, трудно ей, душевно трудно, и в самый последний момент осилил себя Тимофей и попросил Анатолия понять ее. — Мы же грубияны, Анатолий, хвать-похвать, сплеча, рявкнем и забудем, а они помнят, носят обиду долго, нелегко затягиваются у них раны. Знаю по своей Зое. А ведь они сестры, кровь-то одна, вникни в ее душу, или что там есть у живого человека...

Они расстались холодно, чего-то недопонял Анатолий в советах Тимофея, что-то не так расценил Тимофей, в общем-то бывает так даже между хорошими людьми.

Глава пятнадцатая

Во вторник, двадцать восьмого октября, погода изменилась. Усиливался юго-западный ветер. Когтистые облака, хищно разодравшие опаловое небо, сгустились, уплотнились, закрыли солнце. Сразу потемнело, на земле пропали тени.

Обеспокоенный Матвей Иванович приказал отвести мотосуда от пирса, потравить якоря. Каюки оттащили подальше на сушу. Приготовленные к ремонту мотобот и фелюга стояли на клетках, невдалеке от мастерских. Хотя штормового предупреждения не передавали, Будник принимал меры предосторожности.

Глухая тоска осела на сердце Свиридовны и не оставляла ее ни на миг, как бы она ни пыталась отогнать от себя воспоминания, как бы ни старалась найти оправдания самой себе после ухода детей к Маклаковым.

— Пособи! — звал ее муж.

Она увидела его возле лодки. Повинуясь тому же инстинкту, он выволакивал лодку подальше, сил уже не хватало, хотя он применял чурбаки, служившие ему катками.

— Ты уж извиняй, — сконфуженно сказал Опанас,— раньше справлялся один, зараз, — он виновато потер поясницу. — Хлопцы вытащили подальше от прибойной каюки, не зря вытащили...

— Пробегал на машине Будник, — сказала Матрена Свиридовна тихо, почти не разжимая губ. — Давай, Панасе!

Вдвоем они справились легче. Перетащили лодку через дорогу к дому.

— Берет береговик, — Опанас хмуро принимал лицом ветер.

— Тут береговик, — согласилась Матрена Свиридовна, — а на Тамани черноморец. Гонит соль проливом.

— Сколько той соли, — недовольно буркнул старый Кибрик. — Как план не вытягивают, так соль виноватая...

Из облаков прорвались два падучих столба солнца, прожгли море на сивом горизонте. Чайки взмыли в верховом потоке, косо поставили крылья, пошли с небольшим скольжением, как бы испытывая силу ветра.

От мастерских мчались два мотоцикла. Без труда узнали старики своего сына и Алешку Маклакова. Матрена Свиридовна отвернулась, засеменила во двор, на ходу обернулась.

— Подывлюсь на птицу.

— А шо твоя птица?

— Ути сбились под клуню, гуртом сбились, — она отвечала не мужу, вряд ли бы он услыхал ее голос, сама

с собой говорила мать, меньше всего думая об утках, а больше о детях.

Ветер усиливался.

Маклачиха дождалась сына и постояльца, оба были в спецовках и оба, разом спрыгнув с машин, направились к дому, о чем-то жарко разговаривая.

— Мама, ты что? — остановился у порога Алексей.

— Як Матвей Иванович сказал, буде зыб, Алеша?

— Приняли меры, мамо.

— Меры я бачу, шатает фелюгу, а як наши гуси? Загонять чи ни?

— Они сами придут, мамо, — Алексей подбодрил мать улыбкой. — Гуси как барометр, на «ясно» их с воды не выгонишь. — И, толкнув дверь носком резинового сапога, вошел в хату. — Анатолий, ты как хочешь, а я перехвачу и айда обратно! Боюсь за ставники.

— Боишься, иди, — ответил через закрытую дверь Анатолий. — А я остаюсь, баста!

Маклачиха присовестила сына:

— Дай им побыть вместе. Чего ты его тянешь за собою?

— Не тяну я его, мамо, — весело отозвался Алексей. — Дайте, мамо, вареников.

— Нема вареников, Алеша. Гусиная печенка, Алеша.

— Отлично, мамо! Вот так мамочка! Гусиная печенка, — он быстро умылся, вытерся свежим полотенцем, подвигал плечами, присев к столу, постучал ложкой, шутливо требуя пищу. Мать старалась ему угодить, суетилась, не скрывала радости, а когда сын принялся за еду, одобрительно кивала головой:

— Ешь, ешь, Алеша, смачна гусина печенка, дюже смачна.

После ужина Алексей покурил с Анатолием, поговорили о погоде и разошлись. Алексей уехал в бригаду, Анатолий решил остаться дома. Римма рано уложила Леночку, закрутила волосы на бигуди, покрылась платком. Накинув халат, присела у недавно истопленной печки. Анатолий лежал в пижамных брюках и в тельняшке, закинув руки за голову. Состояние покоя и семейного уюта охватило его. Если бы не стонущие порывы ветра и усиливающийся рокот волн, можно было полностью отдаться отдыху.

Маклачиха не выпустила корову на пастбище и готовила ей пойло. Запах заквашенных кипятком отрубей

стойко держался в хате. Потом она стала рубить тыкву. Растопила плиту бурьяном и обшивкой старого каюка. К запахам отрубей прибавились запахи вара. Из открытой на улицу двери врывался ветер, шевелил занавески, позванивал стеклами окошек.

Римма накрыла Леночку одеялом, прижала дверь.

Хозяйка без стука заглянула к молодым квартирантам, сказала:

— Дует.

— Слышу, — ответила Римма.

— Если пойдет велика зыб, — Маклачиха строго сжала губы, собрав у рта морщины, прислушалась.

— Ну и что зыбь? — спросила Римма.

— Если велика зыб... — хозяйка потерлась у двери, вышла.

— Накаркает еще, — вздохнула Римма, — ты уже спишь, Толя?

— Задремал. Намотался за день, будто всю кровь с меня выкачали, — он лениво поднялся, спустил ноги с койки. — Не зажигай свет. Давай-ка спать!

В комнате держался полумрак. Снаружи темнело от сгустившихся туч. Было слышно, как волны накатываются на берег, шуршат по ракушке, отступают, чтобы снова сделать набег.

— А мне что-то тревожно, Толя, — призналась Римма, — возможно, от перемены давления или оттого, что Леночка удивительно крепко и долго спит, хотя море волнуется.

Анатолий попытался рассеять тревогу жены. Поведение моря не беспокоило его. Ему не привыкать. Флотская служба и постоянное обитание близ моря выработали своеобразный иммунитет.

— Вообще, если говорить откровенно, Римма, не повредило бы выпить по склянке перцовки — и до третьих кочетов. А раз выпить нечего, давай раздевайся и ныряй к стенке...

Комната быстро выстывала. Прижавшись к стенке, Римма слушала завывание ветра. Ей казалось, что море придвинулось ближе и шлепало возле хаты. Она не заснула, а как бы забылась и не могла ответить, сколько прошло с того момента, когда муж крепко заснул. Осторожно, чтобы не разбудить, она перебралась через него, рассмотрела дочурку и снова прислушалась. Буря разыгрывалась как-то по-особенному, непривычно, то

схватится, то ослабнет. Ветер, казалось, опалял зудким свистом, приносил с моря плакучие брызги, омывавшие стекла. Ни грозы, ни молний, мрачно и черно бунтовала стихия.

Римма еще не представляла размеров опасности. Пройдет ночь, настанет утро, с рассветом страхи развеются. А если появятся люди, и совсем будет хорошо. Стараясь успокоить себя, она настраивалась на хорошие мысли и в такой момент невольно призывала в свидетели свою мать, больше того, старалась поступать так, как бы поступила та в данном случае. Когда Облучки засыпало пылью, ведь не растерялась Параскева Терентьевна, спасла детей, нашлись и силы и способности.

По всей вероятности, в таких размышлениях прошло какое-то время, возможно, она и забылась, хотя не сумела заснуть. Встав с кровати, подошла к окну и с ужасом увидела близко подступившую воду, пока еще спокойную, подбирающуюся к хате, можно было разобрать странный плеск, слишком тихий вопреки реву ветра. Ей показалось, что вода уже у окошка, что струйки просочились сквозь стену и заливают пол.

— Толя, Толя, проснись! — она растолкала мужа и, приподнявшись на локте, продолжала глядеть в окошко, ничего не видя в темноте, но обостренным слухом улавливая вместе с посвистом ветра близкий плеск воды.

Анатолий тут же вскочил, торопливо надел негнущиеся рыбацкие штаны, резиновые сапоги с высокими раструбными голенищами, потом, изогнувшись мускулистым телом, натянул тельняшку, плотно сковавшую его предплечья, поверх — свитер, связанный когда-то матерью и присланный ему на флот. Думая о матери, он пробормотал несколько беспокойных фраз, на этот раз правильно и без обиды понятых Риммой.

— Толя, что же это? — спросила она, тоже одеваясь, торопливо и испуганно.

— Наводнение. Ветром поднимает воду, — он объяснил спокойно, надевая зеленую непромокаемую куртку, такую же скользкую, негнущуюся, как и штаны.

Первый порыв Анатолия бежать к мастерским, то есть туда, где ему и положено быть по тревоге, улегся. Он увидел, как по стене, словно живое, расползается мокрое пятно, выдавливая на поверхность, покрытую мелом, белесые росинки влаги.

Он понял, что вода разрыхляла глинобитную турлуч-

ную стенку, проедала ее. Хата стояла на уровне моря, ничем не защищенная, кроме земляной завалинки.

— Почему так тихо? Вода ведь? — пораженная именно этим, Римма с ужасом глядела на стену, переводила взгляд на окно, вслушивалась. — Ветер свистит, вода молчит. — Последнее слово, произнесенное невпопад, остро вошло в сознание Анатолия.

— Нагон, — невнятно пояснил он.

— Нагон, — машинально повторила Римма, — нагон, нагон!

Проснулась Леночка. Она не могла еще сообразить, не успела испугаться, лежала тихо, закрытая одеялом по шею, и в полутьме блестели ее широко раскрытые глазенки.

Что-то приближалось неумолимо и страшно, немели руки и ноги, по спине полз знобкий холодок. Римма чувствовала, как у нее коченел язык и отвердевали скулы.

Хозяйка, простоволосая, с накинутым на плечи ватным одеялом, судорожно повторяла:

— Зыб идет, зыб, зыб!.. Алешенька! Где Алешенька? — старуха спрашивала прежде всего Анатолия и от него ждала ответа. Она сделала два-три шага в его сторону, загородив проем узкой двери. Ее рот растягивался, как при ленивой зевоте, плечи под одеялом мелко дрожали. — Алешенька мий!.. — Ее одолела единственная мысль, только это, только о сыне печалилась она, и в ее воспаленном мозгу не умещалось ничего больше. — Де Алешенька мий! Де, де, де? — зубы ее стучали как в лихорадке, в глазах возникла безумная требовательность, она ждала ответа от единственного человека, попавшего ей на глаза. — Треба ему быть дома... А вы, вы?..

Анатолий острым, пронзительным чувством понял, что ему делать, куда спешить. Ему надо быть там, возле родителей, возле матери. Если он успеет, сумеет перевести их сюда, здесь будет безопасней: вместе лучше, чем порознь. Не только мысли, но и движения его стали спокойней, ровнее, мышцы как бы окрепли.

— Мама, мама!.. — он как бы спрашивал разрешения.

— Иди, Толя. Мы подождем, беги! — Римма решительно подтолкнула его к двери. — Беги скорей!

— А вы? — он заколебался. Вода пропитывала стенку, но вода и там.

— Мы побудем одни.

— Не выходите! Я сейчас вернусь!

Он увидел дрожавшие губы жены, девочку с застывшей гримасой ужаса. Остаться с ними? Нет! Здесь все ясно, он успеет и сюда. А там? Он выскочил в горницу, поднял капюшон зюйдвестки. Все в комнате, казалось, плыло в зыбком тумане.

Тугая дверь, сшитая из каштановых досок, сразу не поддалась, вероятно, набухла от воды. Анатолий изо всех сил толкнул дверь, и она распахнулась. Бросившаяся ему под ноги собака проскочила под койку. Вода замыла пол. В последний раз он увидел поднятые руки хозяйки, Леночку. Она не обращалась к нему, не ждала от него ничего, а кричала от ужаса перед морем.

Крик ребенка как бы заглушил в его сознании приближающийся рокот трехметрового вала, катившегося на хижины рыбаков.

С порога он попал в холодную воду. Ветер хлестнул в лицо. Анатолий откашлялся и бросился со двора, чтобы побыстрее добраться до родительского дома. Кто-то пытался поставить перевернутый тяжелый каюк, ревел скот, кочет ошалело трубил необычную зарю. Ураган уплотнялся, креп, расшатывал деревья, ломал столбы и антенны.

Когда Анатолий бежал, ветер сбил его с ног. Анатолий упал вниз лицом, ударился грудью, мягко, не ощутив боли. Только поднявшись, почувствовал, как его движения стали неловки, тело плохо слушалось, и быстро захолонувшие ноги повиновались с трудом.

Надо было применить все усилия, выйти из оцепенения, отыскать запасы воли и снова бежать.

Дом родителей был повыше, на том небольшом пригорке, который больше других подвергался ветру, но куда позже достигнет вода. Эти мысли его несколько успокоили, но тут он увидел зловещий вал с пенным гребнем, который выплеснулся на берег с моря. Анатолий оглянулся и понял, что такого никогда не видел, и беспощадность этого вала была очевидна. Ноги будто приросли к земле, страх овладел им, и все же он побежал туда, где гнулись деревья, принимавшие удар ветра, куда неумолимо несся вал, там были его родители, его начало и конец.

Анатолий был молод, его возраст и сила помогли справиться с первым ударом воды, окатившей его. Хо-

лодная, стремительная, она подгонялась не только ураганом, но и какими-то другими невидимыми силами и ничего общего не имела с той спокойной, вялой водой Азовского моря. Позже ученые объяснили это истребительное явление природы. Образовавшийся у берегов Скандинавии мощный циклон углубился в Белоруссию, встретился в центре Азовского моря с другим, таким же по силе циклоном, вздыбил море и погнал его на юго-восточное побережье Сечевой степи. Свирепый ураган, возникший от встречи двух гигантов, взорвался над Краснодарским краем, произведя колоссальные опустошения в глубине моря, на суше и в прибрежных районах.

Сын бежал спасать родителей, бежал к их дому, к месту, где он родился.

В его мутной памяти мелькнуло воспоминание: Анатолий увидел себя у родительского дома, где приготовлен раствор цемента, насыпана гора камней. Он окантовывал домик снаружи, укреплял его и, невзирая на насмешки соседей, продолжал начатое дело. Может, сейчас это и спасет дом от разрушения.

Новая волна подхватила Анатолия, сняла, как шапку, крышу соседского домика и понесла ее на серой, взгорбленной спине. Анатолий поплыл, пытаясь догнать крышу.

После первого вала повторился второй. Он сшиб Анатолия с ног, отбросил к изогнутым, как удилища, деревьям. Его больно ударило, перевернуло на спину, на какой-то миг он остро почувствовал ранее абстрактно воспринимаемое понятие — смерть. Минута растерянности тут же прошла, надо было бороться, чтобы не поддаться слепой воле стихии. Он ухватился руками за изгородь. Это была колючая проволока, толстая, ржавая, трофейная проволока, оставшаяся от немецких береговых укреплений. Она обожгла руки, но он не чувствовал боли, хотя с ладоней сорвало кожу.

Холодный, гремящий вал снова обрушился на него, снова сшиб с ног, затем подбросил на седой гребень и потащил. Разжав руки от нестерпимой боли, захлебываясь, Анатолий какие-то несколько мгновений пытался сопротивляться, плыть. Его сил хватило ненадолго. Он увидел перевернутый каюк, вынырнувший возле него и тут же пропавший, снесенную полностью крышу и рухнувшую трубу; мужчину, будто прилипшего к тополю,

и женщину, повисшую на рогулине ветки с ребенком, прижатым к груди...

Волна донесла Анатолия до родного дома. Кровля была цела, труба нетронута, окна, закрытые ставнями, взятые изнутри на болты, были надежны, как на корабле.

Цель была рядом, и это прибавило ему сил, он прибился к дому, пытаясь ухватиться за стенку.

Окоченевшие руки не слушались, новый вал поднял его, перевернул, ударил головой о цементную защиту дома. Дальше все уже было безразлично для Анатолия. Волны били его мертвое тело, увлекая в водоворот, вспыхнувший в котловине ракушечного карьера.

* * *

После ухода мужа Римма с холодным ужасом поняла свою оплошность. Добрый порыв самопожертвования быстро прошел. На ее руках была дочь. Следовало бы ей, матери, прежде всего думать о ней. Но теперь было поздно. Анатолия не вернешь. Нельзя рассчитывать и на Алексея, хотя Маклачиха с обезумевшими глазами и заломленными в мольбе руками судорожно выкрикивала его имя. Пути к ерику были отрезаны. Они остались одни в хатенке. Как поступить? Вода будто стучала в окно, мрачно, неумолимо и алчно. Стена катастрофически промокала, и сквозь нее сочились прибеленные мелом струйки. Сомнений не оставалось: находиться в хатенке нельзя.

— Надо уходить! — крикнула Римма хозяйке. — Здесь опасно!

— Алешенька, Алешенька! — мать звала сына.

— Подождите, выйдем вместе!

Хозяйка обернулась на ее голос, остановилась, принялась натягивать шубейку, затягивать у горла концы теплого полушалка.

Римма не думала о себе, как она одета, в чем. В данный момент это не могло иметь значения. Прежде всего Леночка, прежде всего! Римма понимала, что ей придется бороться за жизнь, и потому требовалось освободить свои руки. Она инстинктивно, как поступило большинство матерей Лебедянки, привязала девочку к себе полотенцем. Поверх, для тепла, завязала шерстяной шарф. Леночка осипла от крика, потеряла голос. Она всхлипывала и, цепко охватив шею матери, не разжимала ручонок.

— Так будешь держаться, Леночка, так, — шептала Римма. — Ты хорошая, так, только не очень души мамочку...

Хозяйка послушно ждала ее. Чтобы открыть дверь, потребовались напряженные усилия обеих женщин. Опасность придавала им силы. Через открытую дверь хлынула вода. Женщины схватились друг за друга, устояли под напором и, вмиг промокшие до нитки, выбрались наружу. Вокруг клокотала, пузырилась, закручивалась водоворотами вода. Ветер разносил колючие, холодные брызги, стекал по лицу, вызывая смертельное чувство отчаяния.

Волна подхватила Маклачиху. Старая женщина, рыбачка, умела плавать, и потому в первый, самый опасный миг она, хотя была предоставлена самой себе, не осталась полностью беззащитной. Ее понесло правее, в направлении подворья инвалида Елфимова.

Римма закричала. Никто не мог ей помочь, хотя те, которым удалось спастись на деревьях, после уверяли, что они слыхали ее голос. Как происходило дальше, можно только догадываться. Маклачиха, чудом оставшаяся в живых, спасенная инвалидом Елфимовым (он вытащил ее полумертвую на крышу), могла рассказать о своей постоялке лишь до того момента, когда они покинули хату и выбрались наружу.

Другие успели заметить, что Римму «подкинул третий зыб», то есть третья волна, пришедшая из глубины моря после встречи циклонов.

Ее потащило в сторону Баклановской. Мертвое тело с привязанным ребенком обнаружили там, где проседал и сочился рыхлый грунт крутого обрыва великой черноземной равнины.

Глава шестнадцатая

Ураган как бы взорвался над краем. Первый секретарь крайкома партии находился на западе Украины, в Трускавце, знаменитом целебными источниками минеральной воды «Нафтуся». Его замещал второй секретарь Ручкин, живший невдалеке от здания крайкома, в одном из новых домов.

Ураган разбудил Ручкина раньше тревожного звонка дежурного. Во внутреннем дворе бешено крутилась пыль. Прижмурив глаза и стиснув зубы, Ручкин вышел на улицу. Упругий поток ветра атаковал его. Прижавшись к стене, он не мог удержаться, его потащило; хватаясь за кирпичную стенку, он больно жег ладони. С трудом перейдя через улицу, Ручкин добрался до сквера. Здесь было тише: деревья и декоративный кустарник защищали от ветра.

Снизу, по Красной улице, вращая фиолетовым колпаком, мчалась милицейская машина. Провыл гудок. Машина «Скорой помощи» круто завернула в сторону городского парка.

Лютый, обжигающий ветер вынес Ручкина к ступенчатому каскаду главного входа. Он почувствовал себя надежней только в вестибюле крайкома. Справа, в гардеробной, уже висело десятка два пальто. Молоденький высокого роста старшина милиции стоял у входа.

Передохнув, Ручкин поднялся на второй этаж, где были кабинеты секретарей.

Дежурный доложил сводки, поступившие с разных объектов.

Отдав аварийные распоряжения, Ручкин уселся в своем кабинете и взял аппараты на себя. На Азовском поднималась вода. Секретари прибрежных райкомов сообщали о принятых мерах и просили выслать «амфибии».

Два разноплеменных циклона, столкнувшись лоб в лоб, недолго дрались в поединке. Победил более мощный, из Скандинавии, как бы оснащенный дополнительными средствами штурма, набранными им в равнинных местах Европы.

Волна высотой в четыре с половиной метра хлынула на азовское побережье Кубани, на города и станицы, на поселки и станы и, свершив свое страшное дело, откатилась, будто испугавшись содеянного.

Женщина-синоптик, дежурившая в домике на берегу моря, первая определила возможность наводнения и предупредила главный пост в Керчи. Оттуда ответили, что причин для особого беспокойства нет, но просили докладывать обстановку.

Однако ураган не ждал, надвинулся быстрее, чем могли предположить опытные специалисты. Телефонная

связь была прервана. Телеграмма, предупреждающая об урагане, была дана в семь часов сорок пять вечера, а в девять пошла волна.

Синоптик была отрезана от берега волной. Вода прорвалась в домик. Пришлось спасаться на крыше, куда спешили местные жители. На крыше оказались даже спасательные пояса. Удар волны развалил домик. Всех смыло в море. Температура воды была двенадцать градусов. Мужчина, плывший рядом с женщиной-синоптиком, вначале перекликался с нею, потом темнота и волны разъединили их. Женщина погибла. Эти сведения поступили потом, а пока все силы были брошены на побережье. Военные спешно двинулись к месту по боевой тревоге.

«Амфибии» — плавающие бронетранспортеры, а позже и вертолеты ушли для героической, самоотверженной битвы за спасение людей, так как постройки и технику спасти уже было невозможно.

Ручкин известил Харламова о беде. Его подняли с са-



наторной постели. Харламов тут же собрался и выехал во Львов, откуда вылетел в край самолетом.

Звонил Председатель Совета Министров СССР:

— Расскажите, товарищ Ручкин, что у вас произошло?

Выслушав, спросил:

— Как Сочи?

— Посрывало кое-где крыши. Корпуса зданий целы.

— Окружите вниманием семьи погибших, окажите всестороннюю помощь.

Звонил Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии. Ручкин доложил ему о размерах бедствия, о мерах помощи, предпринятых на местах, и о самоотверженной работе военных.

— Просим представить особо отличившихся к награждению орденами и медалями. Государство сделает все, чтобы помочь. К вам вылетает председатель правительственной комиссии. Вместе с ним выезжайте в район бедствия и оттуда доложите обстановку. Передайте нашу глубокую скорбь семьям пострадавших. Скажите людям, что Советское государство не оставит их в беде...

Так складывалась трагическая ночь двадцать девятого октября.

Тридцатого октября к одиннадцати часам на месте бедствий были Ручкин и председатель правительственной комиссии. Харламов, сменивший самолет на автомашину, и Мигунов выехали вслед за ними.

— Была паника? — еле раздвигая отвердевшие губы, спросил Харламов Мигунова.

— Не было.

— Что сообщил Ручкин? Как там?

— Ни у кого не сорвалось ни одного слова упрека. Ручкин передал слова сочувствия правительства и то, что государство сделает все, чтобы помочь...

— Что его поразило? — спросил Харламов, наблюдая в запотевшее стекло сопутствующие им картины разрушений, изломанные деревья, расщепленные столбы телефонно-телеграфной сети и сохранившиеся у лесопосадок остробрюхие намывы мелкозема, которые не успели убрать еще с чернобурья.

— Ручкина поразила толпа у площадки, куда подходили вертолеты со спасенными, — Мигунов замялся, веки его дрогнули и щеки тоже. — Не только спасенные... Сняли мертвую женщину и ребенка. Мать прикрутила ребенка к себе.

Мигунов что-то еще говорил о принятых мерах, о посылке на побережье в крутой ураган советского и партийного актива. Харламов, прикоснувшись к его руке, тихо сказал:

— А теперь давайте помолчим.

Рваные облака устало волочились по измученному небу. Рокоча горизонтальным винтом, низко прошел вертолет. На грунтовых шляхах, между кулисных пшениц, рубчато уходили в сторону моря следы бронетранспортеров. Кое-где начали появляться маяки — военные регулировщики.

Кроме военных, в районы бедствия шли машины глубоких равнинных колхозов. Они везли людей, лодки, крюки, провиант, доски, рулоны толя, палатки.

Не прошло и суток, а по всей Кубани уже возникла стихийная кампания по сбору средств пострадавшим. Отовсюду летели звонки о собранных деньгах, теплых вещах, продовольствии. Вопрос один — куда направлять?

Первый звонок в краевой комитет партии был из Армавира. В крайкоме ответили, что государство берет на себя помощь, а деньги, если они уже собраны, надо перечислить в кассы исполкомов по целевому назначению.

Глава семнадцатая

После Октябрьских праздников в Лебедянку во второй раз приехали Иван Терентьевич и Тимофей.

Первый, траурный выезд они совершили сразу же после получения черной вести о разгроме Лебедянки. Тогда приезжали всей семьей, на двух машинах.

Они видели своими глазами выброшенные суда, вырванные с корнями деревья, берег, забросанный обломками хат, скарбом, вздыбленное шоссе, паутину закисших в грязи проводов. Видели прибитых к обрывам диких уток, нутрий и даже несколько истерзанных лебедей. Можно было примириться с гибелью вещей материального мира, хотя стучала кровь в висках и не хватало дыхания. Но трудно было примириться с гибелью

людей. Они лежали рядами. Их доставляли вертолетами. Кое-где отыскивали в камышах и ериках то труп матери с грудным ребенком, то детскую коляску, стонали оставшиеся в живых, рассказывая с безумными глазами почти одно и то же.

— ...Несло ее пять километров зыбом. Привязала к себе двух детей и плыла, все сгинули... Петрова, у нее тоже двое, один маленький, другой в школу ходил, вон они рядом, захолонули.

— За столб хватился Мотька, ему тридцать пять, волна его била, мороз. Мотька тащил мертвяка, замерз, сняли его в катер, согрелся, закричал, воскрес. А жинка у него погибла.

— ...А Ковалиха мальчика держала на руках, а муж сидел на акации. Слышит: «Ой, боже, спаси...» — вздрогнул сынок и помер. Отец бросился с акации, не успел, еле сам жив остался...

Кто-то громко объяснял, указывая на трупы:

— Они свадьбу гуляли — жених и невеста — бросились в каюк с гармонистом. Перекинул зыб каюк, нема всех троих, а гармошка почти целая, скажи на милость!..

Наслушались Тарасенко на бугре всякого, стыла кровь в жилах.

На кладбище, когда заиграли три оркестра, было и того хуже. Люди падали, бились об землю, солдаты давали салют из автоматов и пулеметов. Были среди погибших матросы и старшины, находившиеся в отпуске, их тоже закопали на баклановском погосте.

На похоронах не удалось Ивану Терентьевичу поговорить с Матреной Свиридовной. Так и не выяснил он, кто ищет тело Анатолия и ищет ли кто. С такой тяжкой миссией выехал он с Тимофеем из Сечевой. Перекинутся словами — будто выдирают каждое клещами из глубины души — и опять молчат.

* * *

Матрена Свиридовна видела их мельком на похоронах и встретила без всякого интереса. Ее спрашивали, как было тогда, она отвечала с потухшим взглядом, опустив длинные руки. Голос ее был тихим, и надо было прислушиваться, чтобы понять ее нескладную речь.

— В хате нас трое было: старый, зараз он в Баклановке, в больнице, сынок младшенький, Сашок, вы, стало

быть, его знаете, — она искоса оглядела Тимофея. — Зараз Сашок тож в больнице, хворый, шукают, биркулез после воспаления легких. И я була в хате... Анатолий через три двора, у Маклаковых, — она махнула рукой на пустыри, — в плохой хате жил. Снесло ту хату... Маклачиха осталась, спас ее на крыше инвалид Елфимов, потому хату его, як и нашу, не взял зыб. Четыре рельса спасли, по углам було четыре рельса. Крыша раком стала, а не снесло... Маклачиху Елфимов спас и еще троих детишек чужих, не дал им захолонуть. — Обернулась к Тимофею, спросившему об Алексее Маклакове. — Алексея спас экскаватор. Принесло его зыбом, уцепился за стрелу, спасся... Потом сняли его арапланом. А Толечка погиб. Побег он нас спасать, схватил его зыб, куда пропал? Шукали по берегу, по морю — нема...

Она пошла к домику, поклонилась, как святыне, бетонной отмостке, перекрестилась.

Заходили желваки на скулах Ивана Терентьевича, задрожали пегие ресницы. Он ничего больше не спрашивал, предоставив это тяжкое дело Тимофею. За скупыми словами рассказчицы разворачивалось страшное горе, свиток трагедий, несравнимых даже с подсчетом потерь после кровавого боя. Там падали, сражаясь с огненной смертью, мужчины, здесь гибли, «холонули» женщины и дети.

— Кто же сказал, что Анатолий побежал сюда? — допытывался Тимофей, подрагивая подбородком и изредка приглядываясь к тестю. Боялся он за его сердце.

— Маклачиха, кто же еще?

— Где же она? — спросил Иван Терентьевич.

— В Баклановке. Квартиру дали им в станице.

— И вам дали?

— Дали всем, — Матрена Свиридовна обвела рукой печальное пепелище. — С Москвы приезжали, от товарища Косыгина, все дали... Дома великие. Дали квартиру, две комнаты, третья маненькая, нижний этаж, ход отдельный... А тут не кинешь сразу, птица пошла. Мастерские остались, их мало зыб тронула, кирпичные. Бригады остались, потому повыше и фундаменты. — Она снова пошла по отмостке, сделанной руками ее сына, приговаривая одно и то же, навязчивое, неотступное: — «Спасибо мне скажете, вспомните меня, мама, не раз!..»

Море горело сухим огнем. Солнце и мелкая волна создавали иллюзию такого пламени. Рычал, скрежетал экскаватор. Плотно осевший на ржавые гусеницы, грязный, с облупленной голубой краской, он опускал свой полуклюв, поджимался при помощи тросов, полз, подгрызая увал, и, набрав грунта, относил в сторону и вываливал как бы брезгливо, с отвращением.

— Простила ты нашу дочку или затаила? — спросил неожиданно Матрену Свиридовну Иван Терентьевич.

Она вздрогнула, как после удара.

— Она меня должна простить, мученица! Глухо у меня на душе.

— Не слышит душа? — уточнил Иван Терентьевич.

— Чует, не отвечает.

Тимофей, куривший в отдалении, подошел ближе и, отгоняя дым, чтобы не шел на женщину, спросил более настойчиво:

— Расскажите, как все было.

— Как все, не знаю. Свое знаю.

— Что знаете, — согласился Тимофей. — Не запамятовали?

— Запамятовать такое? — она отвернулась от солнца, лицом к своему домику, опустила глаза все к той же отмостке. — С вечера, со вторника на среду, так дуло, птице перо закругляло. Спали не спали, слухаем, идет нагон, было шесть, а може, семой час, возле того. Сашок вышел на двор, вернулся сумной: «Кажисть, нагон, мамо!» Ну, оделись мы на случай. Пошла зыб, круто, выбило шибку, слышим крик, а то бег к нам Фетисов с женой и дочкой, а за ним Скирда, старик. Закричал Сашок, выбег, притянул его в хату. Старый мой каже, треба лодкой, а куда там лодкой, унесло лодку. Что лодку, крыши несло!.. Второй зыб дал по хате, чи конец, чи ни, вынесла хата, шлакоблоки и то, шо Толечка оградил по фундаменту, — она не выдержала, заплакала в голос.

Солнце спряталось за облаками. Море перестало гореть, помрачнело, покрылось чешуей ряби. Иван Терентьевич не отпускал скорбных глаз от моря. Как ни пытался, не мог представить его беспощадным и грозным. Сколько прожил на свете, не слыхал о нем ничего дурного. Видел он свою дочку и внучку, приплюснутую к ее спине, «так захолонули, еле оторвали, не сгинались ручки».

Матрена Свиридовна продолжала:

— Корова, и та забралась в хату сама. Простояли мы в воде с вечера до часу ночи, нас трое и чужих четверо. Повылазили на лавки, на столы. С часу ночи потянуло воду назад, в море, и тут не семеро, а все тридцать приползли в хату. Був у нас уголь, керосин, виноградную беседку спалили, ломали и в печку. Оттирали нашатырем и компот давали горячий. Кто помер, кто остался. Счастье, ветер упал, вода ушла и нехмарно було. Кого в больницу, кого складывали над яром. — Она запричитала, раскачиваясь и поднося обе ладони к лицу, как бы омывая его: — Де ж мой Толечка? Море, забрало море!..

Мучительно слушал ее причитания Иван Терентьевич, мял пальцы, пробовал закурить — не удавалось, сломал несколько погасших спичек, отбросил сигарету. Экскаватор по-прежнему скрежетал, вздрагивали гусеницы, проседая на размягченной водой почве. От ерика подкатил самосвал. Шофер что-то покричал нелестное экскаваторщику и, пока тот наполнял кузов, принялся за раскопки. Вскоре обнаружил фарфоровую селедочницу, обрадовался находке, потом обнаружил колесо от мотоцикла и бросил его поверх ракушки на самосвал.

— Толин мотоцикл? — спросил Тимофей Ивана Терентьевича.

Тот только отмахнулся, перевел взгляд на старуху.

— Леночка вумная була девчинка, — вспоминала Матрена Свиридовна, догадавшись об интересе приехавших к ней людей. — Меня она чуралась, може, матерь доумила ее, а мого дида не чуралась. Бывалоча кажить: «Иди до мене, внучечка», поманит ее пальцем, присядет. Леночка пытает: «Зачем?» Он кажить: «Что-сь тоби дам». — «А что?» — пытает Леночка. «Иди, побачишь!» Вытягивает приманку, шеколадный батончик, и та к нему привыкала. А то петухов сладких пососать из станицы привезет. — Лицо ее потеплело, черты стали мягче.

— А как остальные дети? — спросил Тимофей.

— Чьи? Кого знаете?

— Кого? Сейчас вспомню, — Тимофей наморщил лоб. — Славик. У него еще сестренка семи лет. Хотел быть космонавтом Славик...

— Макеевы, — догадалась Матрена Свиридовна. — Захватило их в хате. Мать выскочила, жива осталась, а все другие погибли. Не буде такого космонавта.

— А Наташа, рыженькая?

— Наташа? Мабудь, вы кажете за Наташу Куцову. Мать ее держала за руку, зыб ударил, ее выбило, унес зыб. Муж корову спасал, не бачил, жену спас, а дочь утонула...

— Не надо больше, — с натугой остановил старую женщину Иван Терентьевич. — Не надо!..

Возвращались из Лебедянки молча. Иван Терентьевич надолго замкнулся, натянул теплую куртку, спрятал глаза. Сатанеевка и Хворостянка были разрушены меньше, чем Лебедянка, а вот никчемная Докука осталась почти цела. Однако и оттуда жителей переселяли в станицу, пока на уплотнение, а к весне обещали переселить в новые дома.

Что-то общее с поверженными Облучками находил Иван Терентьевич в раздавленных наводнением селах, острее бередил свое горе, глядя на свежие раны. В голове возникала путаница. Почему же так последовательно ополчилась на них природа? Чтобы испытать силы и нервы? Будет ли конец всему или пришла беда — настежь ворота?

Мысль о неизбежности новых несчастий не оставляла его, больше того, углубилась при посещении кладбища, где свежими рядами значились могилы октябрьской трагической ночи.

Римма и Леночка лежали под одним конусом. Как и другие, этот могильный конус сделали в Прилиманске, на заводе, где в период январской пыльной бури был Дикушин.

Тимофей вытащил из задка машины лопатку, и Иван Терентьевич оправил размытую последними дождями могилку, накопал дерна и обложил внимательно и строго, не обронив ни одной слезы.

Закончив, постоял, склонив обнаженную голову, вздохнул, предупредил Тимофея:

— Вернемся, матери много не рассказывай, особенно про погибших детей...

— Что же теперь, батя? Не вернешь, как ни тужи. Мне даже не верится. И особенно страшно, не нашли еще Анатолия...

— Море большое, — только и сказал Иван Терентьевич.

— Николай Иванович решил назвать новый комплекс именем Анатолия Кибрика, — сказал Тимофей.

— Слыхал. Как райком решит...

— Райком не будет возражать.

— Найти надо Анатолия поначалу, — глухо отозвался Иван Терентьевич.

Ехали по землям бригады Безмерного. Озимая шла плотно и сочно. Бороды кулис тянулись до посадок. Учел «Четвертый корпус» уроки жестокой природы.

Молчал Иван Терентьевич и ничем не проявил своего интереса к новой обработке земли.

Небо хмурилось. Словно прижимаясь к земле, шли низкие облака. Казалось, они цеплялись за верхушки курганов и оглаживали острые пики лесополос. Температура снижалась на минусы. Не было видно птицы, лишь воробьи жалко тянулись к теплу жилищ.

— Берегите Павлушку, — неожиданно сказал Иван Терентьевич.

Тимофей встрепенулся.

— Чего это вы вдруг, батя?

— Давеча простудили, вот чего. Приходят дяденьки, тетеньки, дружки и подружки, а вы каждому развертываете пацаненка, шлю-лю козлика показываете... Легко ему подхватить и студа и блуда.

— Какого это блуда?

— Микробов разных, — ответил Иван Терентьевич. — Одну не уберегли, над другим надо думать...

— Я и сам так думаю, — согласился Тимофей. — Надо прекратить демонстрацию наших достижений. Вот заимеем пятерых или того больше, тогда...

— И тогда без студу и блуду! — категорически отрезал Иван Терентьевич. — А то за трактор или за план мы головой отвечаем, а за детей, вроде частное, мол, дело. Мотор сгорит — затылок мылят, а дитя пропало — все без ответа. А что государство без детей?

Вернувшись домой, Тимофей застал поджидавшую его Параскеву Терентьевну. Она только-только помогла дочке искупать малыша. Павлушка — так привыкли звать ребенка — после купания проспал недолго, проснулся с тихим стоном.

— Ладно, не реви, — Зоя вынула его из кроватки, дала грудь.

— Ты вытащи ему ручонки, — советовала Параскева Терентьевна. — Раньше считали, что надо туго пеленать, чтобы стройными были дети, а теперь по-другому, по радио слушала, нельзя туго пеленать.

Тимофея приучили подходить к сыну не прямо с улицы. Обычно он умывался, переодевался в чистое и только тогда мог поулюлюкать возле сына, потетешкать его. И теперь он вошел в свежей рубахе, умытый и причесанный.

— А батю где дел? — спросила Параскева Терентьевна.

— Домой забросил, мама. Я не знал, что вы у нас.

— Пойду домой, до свидания, — мать заторопилась и ушла.

— Хорошо, а то не знаю, как бы ей все объяснить про Лебедянку.

— Не надо, она такая расстроенная. Никак не может успокоиться. — Зоя говорила вскользь, она думала о своем — о своем ребенке, своем доме, своем счастье.

Утром Тимофей уехал пораньше на работу и, распорядившись, направился к бригадиру. Вот тут-то ему пришлось отчитываться подробно. Повалий близко к сердцу принимал трагедию Лебедянки.

— Рассказывай, рассказывай еще, — требовал Николай Иванович, меряя крупными шагами свою небольшую комнату.

Тимофей передавал подробности разговора с матерью Анатолия, ее повесть о жертвах зыба.

— Что же, их всех переселили?

— Всех и очень быстро... Разве вам не сообщали?

— Сообщали. Но одно дело сообщение, другое — очное рассмотрение, — он потер виски, присел к столу, задумался, охватив голову руками.

Тимофей сидел поодаль, нога за ногу, рассматривал запачканный навозом носок своего сапога. Когда Николай Иванович поднял влажные ресницы, сказал:

— Нельзя так близко к сердцу.

— А если оно близко. Ты солдат, знаешь, ему-то не прикажешь.

— Что верно, то верно, Николай Иванович. Прикажешь — не послушает.

— А приютили их сердечно?

— Не знаю. Даже не интересовался. Наверное, ходили

по семьям, не без этого, утешали. Помощь дали, кроме квартир.

— Кибрик в больнице, говоришь?

— Да, ревматизм скрючил. Мальчонку проверяют на тэбэце.

— Что, что?

— На туберкулез.

— Даже?! — Повалий наморщил лоб, пожевал губами. — А пенсия у них какая?

— Пенсией Иван Терентьевич интересовался.

— Хорошо, я сам проверю. Мне, как депутату, положено... Когда я ездил туда, на свежее место катастрофы, с Харламовым и Мигуновым, скажу тебе, не мог, не мог... на трупы не мог смотреть. Летит вертолет, воют бабы, ждут, кого еще... — дернулись щеки у Повалия, отвернулся, успокоился, сказал заключительно: — Назначим старым Кибрикам дополнительную пенсию, проведем на правлении. Сашка вылечим и пошлем учиться, куда он захочет, после десятого класса... Новый комплекс будет назван именем Анатолия Кибрика. Мало служил артели, но честно. От земли ушел, море его убило, а мы его земле вернем, Тимофей.

Глава восемнадцатая

Кибрики — отец и сын — лежали в больнице «Четвертого корпуса» в разных палатах. У отца был ревматизм и сердечные приступы. Сашок — в туберкулезном отделении.

Больница была выстроена недавно и оборудована по первому классу. Врачебный персонал укомплектовали просто — дали всем квартиры. Рыболовецкая артель тоже вложила свою долю в больницу.

Будник считал святым долгом навещать своих больных, успокаивал их как мог, утешал. Тяжело досталось его сердобольному сердцу при посещении Опанаса Кибрика. Матвей Иванович старого рыбака знал давно, видел его крепким, сноровистым, двужильным. Теперь измождился рыбак, обвисли усы, пожелтела и высохла кожа, поблекли глаза. А тут еще костыли у койки. Расстроенным ушел от него председатель артели. Слишком

большим испытаниям было подвергнуто за короткое время сердце Матвея Ивановича.

Будник завернул к Кучеренко, поплакался, как говорится, в жилетку, получил нагоняй за слюнтяйство и вышел от председателя «Четвертого корпуса» еще более одиноким в своей печали.

— Иди продолжай, — посоветовал ему Кучеренко. — К людям иди. А иначе получится у тебя чепуховина. Государство для вас то и се, а вы что для государства? Охи да ахи?

Матвей Иванович направился на берег тотчас после посещения раздраженного Кучеренко. Правда, винить его особенно нельзя. Волна ударила не только по рыбакам, в поселках жили и его люди, да и побережье вплоть до лиманов было врезано в его колхозный юрт.

Но не об этих территориальных вопросах думал Матвей Иванович, спускаясь к разгромленным владениям. Чтобы разобраться в своих мыслях, он не поехал, а пошел, нарочито не торопясь, выстраивая все «за» и «против», продумывая дальнейшее поведение и задачи насущного дня, которые придется обсуждать на заседании правления артели.

Будник помахал кепкой, охладил лицо. Не помогало. Его томил внутренний жар. И потому, что никто не призывал его к ответу, ему казалось, будто все отстранились, не желая делить с ним кошмара, списали беду на злую силу и успокоились.

Кто виноват?

Если восстановить события, то ведь он предвидел беду, приказал оттянуть каюки, закрепить клетки судов, отвести плавсредства на рейд. Правда, это не помогло, Зыбь сорвала якоря и разбросала суда. Агенты госстраха только покачивали головами, вписывая в акты раздавленную снасть рыболовства. Деньги придут в кассу, суда можно отремонтировать... Можно послать в Ростов за делью, окунуть в смолку, и готово. А вот люди?

Матвей Иванович встряхнулся, вытирая лицо изнанкой кепки. Серый ракушечник уже просох и поблескивал матово, кое-где застыли потеки ила. Здесь и там вкипели в землю столбы, а вон прикисла рваная сеть. Открылись гусиные и утиные тропы. Их следы будто иероглифы на древней планете.

Грузовики ползали у Сатанеевки и Хворостянки. Лебедянки не было видно, да и что там увидишь после та-

кого разгрома; остался как перст домик Кибриков и провисшая на железных столбах крыша елфимовской хаты, ставшая уже притчей во языцех.

С горки Матвей Иванович зашагал быстрее. Внизу, где битая тропа обрывалась у колеистой дороги на Баклановскую косу, навстречу ему вырвался мотоциклист. Остановившись, чтобы пропустить лихача, Будник узнал своего бригадира Маклакова, чудом спасшегося в трагедийную октябрьскую ночь.

Маклаков резко затормозил. Переднее колесо мотоцикла вильнуло и глубоко вошло в сырой мякиш почвы.

— Чего ты, Алексей? — спросил Будник подходившего к нему бригадира. — Чего так опасно налег на тормоза, что я тебе, черная кошка? Куда спешишь?

— Спешил на вас поглядеть, Матвей Иванович.

— Чего на меня глядеть? Не усох и не посвежел.

— Хотел предупредить как коммунист коммуниста, надо нам не поддаваться... Беда ушла, а мы-то остались...

— Как не поддаваться? — с оттенком удивления спросил Будник.

— Не пошатываться, пришивать подошвы к палубе, как при штормяге, глядеть на гюйс и не забывать — матросы держатся не за землю, а друг за друга...

— Что рекомендуешь? — потупившись, спросил Будник.

— Люди шатаются! Кто чемодан, кто вещмешок, пути-дороги разные! Пало много наших. Размякли не только бугры! — он указал сильной рукой на крутые яры, обрезавшие мощным плугом вековечных прибоев приазовскую степь. — Сердца размякли, Матвей Иванович. Степка Печеный погиб, и то... Я как бы виноват, а про детей и не пытайте!

— Ясно!.. — Будник не требовал завершения речи — понял, зашатались даже те, кто держался стойко, без упреков и жалоб. — Разброда не допустим!

— Только без мер, — Маклаков вспыхнул. — Без административных. Дисциплину можно укрепить примером, а не гауптвахтой.

— Где они собрались?

— Я же вам ничего не говорил.

— По приметам догадался, Алексей. Во-первых, один человек не мог тебя так разогреть. Во-вторых, против одного ты бы и сам отыскал и слова и дела. В-третьих,

такие решения принимаются коллективно, народом принимаются. Где они сгужевались?

— В мастерских, крыша в дырах, мозги на сквозняке, — Маклаков угрюмо усмехнулся, кивнул на мотоцикл. — Поехали, председатель?

— Доберемся? — усаживаясь, спросил Будник.

— Где на колесах, где на своих двоих, еще не всю раскислину вытянул морозец и ветер, — Маклаков вытер пучком бурьяна забрызганные части мотоцикла, шмыгнул посиневшим носом. — Простыл тогда на кране, глотаю и аспирин и еще что-то, никак не выгоню.

— Да, у тебя была Голгофа, Алексей-мученик. Рассказывал Лихопят. Ведь он тебя снимал с крана?

— Он. Спасибо подошел на моторке, взял меня сам, спирту внутрь и наружу...

Мотоцикл выпустил вместе с оглушительным треском струю дыма и вприпрыжку, как на мотогонках, пошел по пересеченной местности.

Будник размышлял, прикидывая, как себя вести, что скажет людям. Перегрели Маклакова здорово, значит, взять фронтальным напором нельзя: примут в штыки. Пугать, угрожать ни в коем случае. Надо встать вровень с их думками, разъяснить, кто они для страны, если страна все для них. Если сам Генеральный секретарь и сам Председатель Совета Министров беспокоятся о них, значит, нужны они государству не в качестве вояжеров с чемоданчиками, а на своем месте, при береге, при рыбе, при том самом море, которое карает и милует, отбирает и награждает.

Подпрыгивая на утлом мотоцикле, Будник приводил в порядок прежде всего свои чувства. Чтобы заразить других энтузиазмом, нужно быть самому воспламененным, иначе провал, неверие, разброд.

Последние двести метров пришлось вести мотоцикл за рогульки по залужинам и грязи. Кирпичные стены мастерских уцелели. Станки не сшибло с фундаментов, но горн в кузнице развалился, мехи унесло, а кувалды и запас сортового железа на месте.

Люди сидели на бревнах, на каюках, курили, черпали воду из ведра, когда подсыхали глотки. Появление Будника встретили молчанием и на первое «здорово, хлопцы» ответили вразнобой. Пришлось вожаку достигать общности интересов речью, где имелись элементы и лукавинки и пытливости, а больше всего откровенности.

— ...Не могу вам приказывать, не имею морального права наказывать, — закончил он. — Вы меня выбрали, а не подобрали. Я не приблудный, как скажете, так и будет. Обязан блюсти не только ваш интерес, но уважать и вашу волю. Бузотеров вопреки прогнозам не вижу, демагогов тем более. Есть расшатанность нервов, неустойчивость сцеплений. Что ж, мы, рабочие в основе своей профессии, привыкли крепить шаткое, умеем, где надо, подвинчивать, не сразу ставим на киль, не пустяк из ничего сделать что-то... Слыхал, кое-кто хочет уйти, возможно, слухи подтвердятся из нашей открытой беседы, но голосовать будем прямым поднятием рук, не будем накатывать тайно шары, поглядим друг другу в глаза и увидим, за кого можно держаться, а кто вильнет от локтя. Давайте по одному, не все сразу!

Возникший было гвалт, как следствие предыдущих неорганизованных прений, пока не появился Будник, прекратился. Желающих выступать с речами не нашлось, и не из-за трусости, а просто потому, что как-то по-другому повернул дело Будник.

— Будем решать оперативно, Матвей Иванович, — сказал судовой механик, отец погибшего Юрка. — Расскажи, что будем делать, а как, мы знаем... Разве я посмею уйти отсюда? — он огладил седую голову, а было ему тридцать от силы. — Тут Юрко мой захолонул. Где же я его отогрею, если не отогрею машины, свой колхоз не отогрею?..

— Все, — остановил его Будник, подошел ближе, провел рукой по небритой щеке. — Ты явно высказался за! Будет кто против? Никого! Значит, пойдем по линии практической. Давайте свои предложения. В каждом деле есть начало, есть середина и есть конец. С чего начинать будем? Протокола вести не станем, запомним все пункты коллективно и исполнять будем артельно. Артелью клеилось любое дело в России.

Глава девятнадцатая

Григорий Васильевич Харченко начал новый земледельческий год.

— Пустой был шестьдесят девятый. Ой, какой пу-

стой! — бедовал председатель артели имени Жлобы Шакунов, заворачивая на огонек к соседу.

— Почему пустой? — недовольно спрашивал Харченко.

Шакунов тер пальцами пролысины, разминал мешки под глазами, уныло вглядываясь в свою физиономию перед зеркалом.

— Не на элеватор везли, а с элеватора. Стыдно было шоферне. Очи прятали... Так было при наших отступлениях в первый период войны. Боялись — бабы рогачами побьют.

— Отступали под натиском, а потом наступали же?

— Потом да, — соглашался Шакунов.

— А кабы вас бабы рогачами побили, кто бы потом наступал?

— К чему ты? — осторожно выпытывал Шакунов, рассматривая свои шрамы на голове, как бы подчеркивая и нынешнее их значение.

— К тому, что, отступая, вы накапливали ярость и мужество, приглядывались к врагу и к своим товарищам. Если анализировать прошлый год, Шакунов, то скажу тебе, никогда мы так не проверили людей, как в буре. Поняли, что каждый весит в отдельности. Не на сабантуях познается дружба, Шакунов! Вот и Заремба скажет, — он объяснил вошедшему секретарю парткома, о чем речь, и тот, понятливо кивнув головой, расчесался и присел у левого торца председательского стола со своими выкладками мероприятий по весеннему сезону.

— Если сказать просто, проверен был дух советских крестьян...

— Громко заявлено, — Шакунов поморщился. — Выспренне, Заремба!

— Скажу еще громче, не страшась высоких слов. Если философски обобщить битву с бурей, мы проверили не только дух, а всю систему социалистического земледелия, больше того, — он сжал смуглые пальцы до хруста, — проверили единство крестьянина с рабочими, с партией, государством. Большая проверка...

— Дуло, как из трубы, из армавирского коридора, — согласился Шакунов, прислушиваясь к словам Зарембы.

— Конструкцию самолета проверяют в аэродинамической трубе, Шакунов. — Заремба подвинул Харченко какие-то расчеты, и тот взял их в руки, надел очки. —

Это утвержденные мероприятия. Погляди, на бюро доложу.

— Мы строим все проще, без философии, — наконец вымолвил Шакунов. — Кукурузу окалибровали, на каждый гектар под свеклу имеем по семи центнеров туков, вывезли органических по тридцать пять. Слыхали, вы чуть ли не по пятьдесят забузовали, да у вас и скота больше... Самолеты никак не выпросим. Вы лапу наложили, на вас будет работать авиация...

— Ну а вы что? — спросил Заремба. — Разве мало самолетов?

— Так и край великий. Шутка сказать, сколько нужно «отбомбить» площадей, больше, чем на Курской дуге, дорогие товарищи... На колени становиться не буду. Верю, не откажете, как только у вас авиация отработает, перекинем ее к нам.

— Затем небось и приехал? — уязвил его Харченко.

— А зачем же еще? У меня времени нет философией заниматься. Знаете, як кажуть за философов? Философ — така людина, котора николы ничего не робыть, а тилько думае, думае, думае и думае не так як потрибно, а приблизно, — он самодовольно улыбнулся, натянул кубанку до седых бровей, отчего стал моложе, прикрыв лысину и морщины на лбу. — Поеду до своей хаты, хлопцы! Повалию привет. А то обидится, бо чуткий он стал к обиде.

В кабинет Харченко набился народ. Торжественно появился главный механик, сидевший, как говорят, лучше всех на коне механизации. Пополненный государством тракторный парк позволил ему полностью обеспечить вспашку и подкормку, посев и подсев. Все было отремонтировано, и у него не было нужды в запчастях, так как из-за поступления новой техники удалось добиться от председателя разрешения на «раскулачивание» отплясавших свое комбайнов. Вслед за ним протиснулся главный бухгалтер. У него имелись возражения против председательских щедрот и документ пущенных в оборот банковских кредитов. Чего-чего, а кредитов не любил мудрый финансист артели: хорошо, если их спишут под шумок очередной помощи, а если придется возвращать с процентами?

— Вы почему ополчаетесь на кредиты, наш друг и учитель? — Харченко подрезал твердым ногтем пару строк докладной записки.

— Кредит портит отношения, Григорий Васильевич, — уклончиво отговорился главбух, ожидая, пока уйдет замешкавшийся Шакунов, чтобы при нем не выдавать финансовых тайн передовой артели. Когда Шакунов ушел и появились еще люди, в том числе и радушно приветствуемая Анна Сергеевна, главбух изложил свою точку зрения на кредит.

— Не советую рубль ставить на ребро, — заключил он назидательно. — Швидкий, собака, укатится. А укатится — не поймаешь, хвоста у него нет.

— Бухгалтерии выгодней мыслить математическими формулами, а не афоризмами, — сказал Харченко без укора, а лишь для того, чтобы не притупить заостренный с его ведома вопрос, так как кадры, увидев щедрость государства, слишком возликовали и упустили наиболее важное в современной динамике земледелия — контроль рублем.

— Приступим к самому важному, — неосторожно вымолвил главный механик. — Прошу разрешения доложить на оперативке свои соображения.

— Потом, — сказал Харченко. — Раньше батьки не суйся в пекло. Главным закоперщиком оперативки будет финансовый бог. Собрались, чтобы оценить все операции, найти наиболее выгодный вариант. — И он кивнул финбогу, удовлетворенному такой преамбулой.

Главный бухгалтер откашлялся, поправил очки на переносице и начал неожиданно для председателя с критики строительства животноводческого комплекса. Харченко постучал карандашом по столу, извинился и тоном, не терпящим возражений, предупредил докладчика:

— Может быть, комплекс обсудим после, чтобы не переместить центр тяжести всего целого на детали?

— А почему его относить на третье? Это не компот, Григорий Васильевич. Комплекс — самая тяжелая гиря на наших весах. — Главбух заупрямился. — Я не ретроград, как однажды заявил уважаемый Николай Иванович, но вкладывать столько средств в капстроительство после прошедшего бедствия...

Харченко остановил замешкавшегося главбуха и счел нужным заявить:

— Прежде всего бедствия не было. Мы выдержали сражение с превосходящими силами противника, как абсолютно точно однажды сформулировал Заремба, наш фронтовик, — кивнул в его сторону, и тот согласно отве-

тил таким же утвердительным кивком. — Сражение закончилось нашей победой, следы ее еще будут значительней в недалеком будущем.

— Это эмоции, Григорий Васильевич, а у меня... — главбух потряс алой папкой.

— Не согласен, эмоции тоже служат социализму, но мы опираемся на разум, — Харченко сам усмехнулся ненужной закрученности речи и продолжил более деловито: — Повалий форсирует комплекс. Пора переходить животноводству на промышленную основу. Он будет откармливать скот, говядину будет делать, не рога и хвосты, а вкусное мясо... Деньги он сам выбил, ему вы не препятствовали, и колхоз согласился. Оставлять дело или замораживать стройку нельзя, — он поймал пару хрипловатых реплик бухгалтера и ответил на них: — Размах сохраним! Не набережную «николаевскую» он задумал, а окультуривание берега Облучков, создание зоны отдыха. И это мы утвердили. Пора не бояться затрат... — Предвидя дальнейшие возражения, добавил: — Повалий обещает дать на массиве в тысячу га по шестьдесят центнеров сильной пшеницы. Излишки продадим с надбавкой в пятьдесят процентов, — он защелкал на счетах, и голос его приобрел медь: — Вот вам неодушевленные костяшки, а как они брызнули эмоциями. — Харченко ласково подмигнул главбуху, извинился за вторжение в его «аргументированный доклад» и, понимая, что финансовый план практически «утрясли», внимательно слушал знакомые цифры, рисуя на листочке твердой бумаги каких-то жар-птиц.

* * *

Озимые после первого теплого дождя пошли в рост. Даже прихваченные морозами рыжинки зазеленели, и радовалось сердце щетинистой зелени пшеницы.

За зиму в колхозе «Четвертый корпус» обучили на курсах механизаторов около ста пятидесяти человек, больше девушек. Машин хватало на всех. Молодежь влилась в артель сильным отрядом трактористов, комбайнеров и шоферов.

Это был естественный процесс закрепления кадров, процесс современный, здоровый, вызывающий даже романтические представления о земледельческой профессии.

Когда Караман телефонным звонком вызвал Анну Сергеевну в райком, она предположила, что вызывают именно по этому поводу, по проблеме, обеспечивающей правильное развитие комплексного, многоотраслевого хозяйства. После беседы с Караманом она, как всегда, спросила:

— Я вам больше не нужна, Олег Христофорович?

— Анна Сергеевна, располагайте собой, — Караман попрощался. — Вы, кажется, собрались к Повалию?

— Да, собралась.

— Уточнить план полевых работ? У него вышло много падалицы по зяби.

— Ничего, не смертельно. Обработаем боронами.

Анна Сергеевна ехала к Николаю Ивановичу не только на правах главного агронома, а и на правах «мамочки». Жена Повалия была обеспокоена встречами своего сына с Маринкой.

В чем выражалась ее обеспокоенность, супруга Повалия не скрывала. Она боялась раннего увлечения. К тому же Маринка еще несовершеннолетняя. Ей надо закончить школу. Естественно, ее потянет в институт. Петя провалился в прошлом году, ему надо заниматься, а он забросил книги и конспекты, категорически отказался от репетиторов. Отец посадил его за руль трактора, позволил овладеть комбайном, включил в звено Ивана Терентьевича Тарасенко. Пока Пете дали отсрочку от призыва в армию из-за сломанной ноги, но так ли тверда отсрочка?

Анна Сергеевна привыкла выслушивать самые разные печали. Будучи депутатом крайсовета и райсовета, она привыкла отличать важное от второстепенного, хотя хорошо знала: второстепенное иногда может стать самым важным.

Маринку Анна Сергеевна любила: ценила за искренность. После гибели Риммы Анна Сергеевна часто бывала в семье Тарасенко, делила с ними горе, утешала Параскеву Терентьевну, по-бабьи утешала и не стеснялась всплакнуть вместе с нею, ведь и слезы помогают бороться с горем.

Размышляя над опасениями матери, она принимала сторону молодых. Понятно, мать боится так называемых последствий. Но не могло у них зайти так далеко. А от поцелуев дети не рождаются. Вспоминала свои семнадцать, сладко и горько зашлось сердце: тот же ветряк для свиданий, тогда он еще крутился, и не всегда можно бы-

ло взобраться на площадку по лестнице, миловаться до ранней зари, внимать поющей ночной степи, чувствовать запахи полынка; тогда было сиво от него, и чабрец был, и мята, и кузнечики-пильщики, и стрепеты иногда падали камнями в высокую траву, отряхивая желтые цветы донника и ломая высокий борщевик.

Да, давно это было, страшно давно, хотя и так близко!

Анна Сергеевна сидела за рулем своего «Москвича» с той уверенностью, которая дается годами вождения. Погода испортилась еще с ночи. Все потонуло в сером, мглистом тумане: небо и горизонт.

Глава двадцатая

Под бременем обычных забот не забывала Анна Сергеевна и о добровольно возложенной на себя задаче — о «формировании и укреплении личности нового человека», как тезисно отозвался Григорий Васильевич Харченко о внештатной деятельности главного агронома.

Сам бывший партийный работник, председатель не шутил. Он соглашался со старой коммунисткой в том, что можно построить комплексы, завалить страну мясом и хлебом, а человека обеднить. Ненадоедливо, исподволь занимались они воспитанием молодежи.

Бригадный стан Повалия, примыкавший к молочнотоварной ферме Чубова, в эту мерзковатую погоду выглядел неуютно. Знаменитая ива космато поникла тонкими голыми ветвями. «Как печальная дева, склонилась она над ручьем», — припомнилось Анне Сергеевне.

В коридоре, завешанном платками, Анна Сергеевна натолкнулась на Маринку. Приветливо поздоровавшись, Маринка уступила дорогу. Анна Сергеевна задержала ее крепкую руку в своей, приветливо посмотрела в лицо девушки, показывая всем своим видом, что люба ей Маринка.

— Помнишь, жаловалась на свои руки, Маринка?

— Помню. Чего в них хорошего? Раздавлены работой...

— Не раздавлены, а овеяны, — тихо произнесла Анна Сергеевна. — Такие руки держат знамена трудовой славы. Не обижай их презрением, — она притянула ее к себе, вздохнула и, подтолкнув, сказала: — Веди к бригадиру, там он?

— Там, — Маринка охотно провела ее в комнату Повалия, хотела уйти, но Анна Сергеевна задержала ее, спросила стоявшего в почтительной позе бригадира: — На пальцах у Маринки чернила, Николай Иванович. Не в канцелярию ли хочешь запрятать?

— Не пойдет в канцелярию, помогает мне по депутатским делам. Расшила все мои узлы, Анна Сергеевна. Больше того, — его взгляд стал отечески мягок, — научила меня душевности в ответах избирателям.

— Да, депутатство — дело душевное, — согласилась Анна Сергеевна. — Не приветишь душу, ночью горячей подушка становится. — Обратилась к Маринке: — Ты куда-то спешила?

— Спасибо, — Маринка весело сверкнула глазами и, круто повернувшись, скрылась за дверью.

— К дойке пошла готовиться.

— А школа?

— Сегодня же воскресенье, Анна Сергеевна. Кончает в этом году Маринка десятый.

— Куда тянет? В артистки?

— В агрономы.

— Похвально, не каждая так... Жизнь изобилует шикарными примерами: поют за рубежом — лауреаты, внутри конкурсы — лауреаты, госпремии дают, по телевизору... Может закружиться головушка.

Пока Анна Сергеевна знакомилась с материалами, мысли Николая Ивановича вернулись к Маринке. Не только его супруга обеспокоилась, ему тоже пришлось взвешивать «за» и «против». Вначале отцовский непреклонный характер заговорил в нем с необычайной силой. Потом он сумел выйти из-под влияния жены и, вместо того чтобы крушить и топать сапогами, решил присмотреться.

Кто его разберет, он ли нашел в себе силы для объективных оценок или сказалось обаяние самой девушки, но подобрел к ней Повалий.

— Ой, Николай Иванович, сколько у вас писем! — воскликнула она. — Дайте, я вам помогу.

— Только напутаешь...

Он сам занимался бумагами, разворачивал горы чужих печалей, требований, крупных и мелких забот. Многое несли ему избиратели, и мало кто делился радостями.

Чего греха таить, некоторые просьбы раздражали его, вызывали протест, приходилось отчитывать излишне привередливых или кляузников. Маринка щебетала возле не-

го, перечитывала и письма и ответы. Письма Николай Иванович вначале заготавливал от руки, а потом отдавал на машинку нервной и вечно загруженной машинистке райисполкома, которой он выплачивал из депутатских денег дотацию.

— Николай Иванович, ну разве можно так отвечать? — Маринка пожимала плечами, морщила носик, протягивала ему бумажку.

— Как? — недовольно спрашивал он.

— Сухо, Николай Иванович.

— Размачивать нечем, Марина. Она требует улучшения жилья, а сама уже имеет две комнаты!

— Семья-то увеличилась. Были дети, стали женихи и невесты, куда им? А завод сдает новый многоквартирный дом. И у нее очередь подошла.

— Разве подошла очередь? — смущенно перечитал те строчки Повалий, которые подчеркнула будто невзначай Маринка.

— Ладно, придется переменить содержание.

Девчонка упрекала его в сухости и казенных оборотах речи, советовала если и отказать, то вежливо, достойно.

Маринка заставила его добыть пишущую машинку, быстро научилась печатать, и тяжкая монополия райисполкомовской машинистки была раз и навсегда отменена. Прежде Повалию самому приходилось четко переписывать черновик, заезжать, чтобы разъяснить неразборчивое слово, теперь дело наладилось как нельзя лучше. Маринка обнаружила талант сочинения писем, одно не походило на другое, иной раз диву давался умудренный опытом депутат, как же он был раньше мелок и как со стороны смотрели на него люди, доверившие ему право быть их глашатаем, ходатаем и посредником.

Вспоминая, Повалий не мог обойти урока, преподанного ему девушкой. Наряду со всеми другими делами ему приходилось заниматься вопросами помилования осужденных за разные дела и на разные сроки. Обычно это были молодые ребята, за них просили отчаявшиеся родители: преступления и проступки совершались в пьяном виде.

Раньше Николай Иванович сердобольно поддерживал ходатайства почти в любых случаях, и ему было стыдновато, когда Президиум Верховного Совета отклонял некоторые его просьбы. Именно Маринка своим непосредственным умом разрешила самые сложные вопросы.

— Николай Иванович, зачем вы просите за... — называлась фамилия.

— Зачем? Молодой, во-первых. В тюрьме и местах заключения его испортят, во-вторых; родители умоляют, в-третьих.

— Все правильно, Николай Иванович, а я бы не стала. Дала бы им почувствовать. Читайте постановление суда. Хулиганы, пьяные, оглушили кирпичом задремавшего на лавочке старика и отобрали у него два рубля двадцать четыре копейки и пачку «Прибоя». А потом железным прутом сшибли матроса. Я бы таких... вешала!

— Много бы тогда веревок потребовалось. Ну-ка дай сюда, погляжу еще раз. Пожалуй, за старика и матроса им маловато по три года.

Она приучила его:

— Отвечать надо без задержки. Ждут от вас письма с каждой почтой, а его нет и нет. Раз напишут, два напишут, а потом...

— Раз так, Марина, бери папки, помогай. Придет срок, отправим тебя на юридический. Прекрасный получится из тебя юрист, Маринка!

— А Петя куда пойдет?

— Не знаю... Если опять срежется, может пойти в армию.

— У него же травма!

— Тогда пусть крутит баранку.

— Вот хорошо!

Анна Сергеевна недолго занималась делами: у Повалия все были ярыми поборниками антиэрозионной обработки. Не задерживаясь на деталях и обсудив общее, Анна Сергеевна перешла к главной цели визита.

— Не они первые, не они последние, дорогая «мамочка», — грустно заявил Повалий, машинально пощелкивая костяшками счетов. — Даже те, кто в данный момент еще находится в эмбриональном состоянии, появившись на свет, созреют, возмужают, будут любить, обводить вокруг пальца родителей и поступать по-своему. Вот так, Анна Сергеевна, — он перестал мучить счеты, почмокал, ответил на телефонный звонок Кучеренко, почему-то предупреждавшего его против излишней доверчивости к беспокойству соседа — имелся в виду Безмерный.

— Я уловила краем уха. Почему?

— Якобы тот опутывает меня в кокон лести, ну вроде шелковичного червяка.

— Возможно, и так?

— Чепуховина, если выразиться словом самого Кучеренко, — сказал Повалий. — Он не может простить ему то ухажерство... Во-вторых, как мне известно, хотя свидетелем я не был, Безмерный отказался идти на лодке спасать людей... Не могу, мол, плавать, и я, мол, не Петр Великий.

— А почему именно Петр?

— Кажется, Петр спасал людей во время наводнения, простыл и оттого умер. Ведь он молодым умер, пятидесяти, что ли, — Повалий улыбнулся с грустью. — Раньше пятьдесят для меня была глубокая старость.

Анна Сергеевна спросила:

— Сколько Маринке? Не знаете?

— Как не знаю. Меня касается, да не знать, — вытащил записную книжку из стола, перелистал, — двадцать третьего февраля тысяча девятьсот пятьдесят третьего года рождения.

— Петя когда?

— Число не помню, — он сконфузился, потер лоб, — а год, конечно, помню — в пятьдесят втором. За год до смерти Сталина. Стало быть, еще сталинской эпохи.

— Уже взрослые.

— Взрослые. — Повалий попросил принести ранний обед, пирожки. — Моей поварихи нет, у нее выходной, но немудрящая штука — напекут пирожков. Абрикосовка есть.

— Нет, без абрикосовки, Николай Иванович.

— Печенка не позволяет или Заремба-трезвенник?

— И то и другое.

Анна Сергеевна поправила волосы перед круглым зеркальцем, зажатым в ладони. Зайчик пробежал по меловой стенке. Оба посмотрели на окна, откуда брызнул пучок света.

— Распогоживается, — сказал Повалий. — Начнем пораньше сеять. Тарасенко предполагает погоду на вторник. Во вторник и начнем.

— Сей в грязь — будешь князь?

— Вроде этого, — Повалий поторопил по телефону с пирожками. Ему отвечала молодая повариха, кокетливая дивчина, сумевшая обворожить «таборных» мужчин не так своими разносолами, как жгучими очами и крутой грудью.

— Повеселел, рассуждая с девицами, — сказала Анна Сергеевна. — Не остываешь, Николай Иванович?

— Куда нам, седым малярам, «мамочка»! — Повалий рассмеялся, подморгнул лукаво. — Забузует меня сынок в деды, тогда куплю палочку, буду ходить да ворчать.

— Рано тебе палочку. Ты с какого?

— Разве не знаешь, Анна Сергеевна? Чего спрашивать? С тридцатого.

— Мальчишка, мальчишка, а уже в дедушки записываешься.

— Не я записываюсь, меня записывают...

Анна Сергеевна насторожилась, потянула его на откровенность, и Повалий, понимая серьезность вопроса, твердо заявил:

— Дело Петра. Не буду вмешиваться, сломать можно жизнь. Попрошу его не торопиться, а если по мне, так лучшей нам в семью, как Марина, и не подберешь. Жинка зря паникует и втравливает боковые силы, хотя и понимаю ее беспокойство. Знаю одно: Маринка не потянет нашего птенца на асфальтовое гнездышко, задержит на живой земле. Здесь будет у них и сцена, и арена, и, как ее там, рампа. Только этот плацдарм. От начала до конца — з е м л я!

* * *

Используя воскресный день, Потапов объезжал поля и станы. Порядком намаявшись — выехал в шесть утра, — завернул к Повалию отвести душу, перекинуться словом, посмотреть, что у него делается.

Потапов попросил остановиться возле кирпичного блока санпропускника.

— Пока мы покалякаем в конторе, погляди, как у них с ремонтом техники, Филько.

Филько смахнул кепку с густоволосой головы, пожал крутыми плечами, удивился:

— Чего тут смотреть, Виктор Павлович? Ишь как выстроены сеялки, культиваторы, лущильники, плуги. Как на смотру. Даже краской отлакировали. Фазаны!

— Погляди, погляди! — Потапов остановил Филька, предпочитавшего при поездке перемигнуться со стряпухами или доярками, прихватить пирожков или жареного судака. — Мне надо знать, как используются механизаторы на ремработах. Отдельно побеседуй с Тарасенко, прочувствуй его настроение... — И позволил себе доба-

вить для расширения кругозора своего верного Санчо Пансы: — Когда Наполеон отправлял своих генералов в чужие города, он наказывал им не особенно скучать, может быть, придется еще брать эти города.

— Хотите списать с легковой на трактор? — по-своему поняв историческую аналогию, спросил Филько.

— А что, разве плохо?

— По заработкам, Виктор Павлович, почти вдвое больше. Зато трактористов много, а водитель секретаря райкома — один!

— Тщеславный ты человек, Филько. Подожди, переизберут меня, пойду в шоферы, а ты сядешь на мое место.

— Так не бывает, Виктор Павлович, — уклончиво заявил лукавый Филько, обратил внимание на «Кировца» и восседающего за рулем, как на капитанском мостике, самого Тимофея Аулова. — Вот тракторище! Колеса три с половиной метра, цена ему десять тысяч.

— Зато тащит он восьмикорпусный плуг и может вспахать за смену двадцать — двадцать пять гектаров. После кубанских «цоб-цобе» какая изумительная разница, Филипп. Вот какими категориями надо измерять развитие социализма!..

С возвышенными мыслями пришел секретарь райкома партии к одному из своих современников и, ни словом не обмолвившись о своих чувствах, занялся тем же, чем занимались до него в конторе, чем занимался он, также навсегда присватавшись к «земле-невестушке, верной женушке», как пелось в казачьей былине.

— Мы должны отыграть посевную, как сборная Советского Союза в хоккей, стремительно и победно.

Анна Сергеевна сказала:

— Так и отыграем.

— Механическая часть не подведет агрономическую?

— Не подведет, — ответил Повалий.

— Встретим весну во всеоружии? — лукаво спросил Потапов.

— Словесная наша нищета, — Повалий даже покряхтел от неудовольствия, — а за этим трафаретным всеоружием сколько трудов. Один капитальный ремонт чего стоит! Полная разборка машины, ремонт базисных деталей, замена или ремонт узлов и агрегатов, обкатка, испытание. И на стены, и в мастерские колхоза вышли ветераны, им бы рыбку ловить, а они спецовки натянули, седые усы покручивают, ворчат, а точат валики, винты,

нарезают втулки, гайки... Реконсервацию провели достойно, Виктор Павлович, техника в рабочем состоянии. Ты, Виктор Павлович, ездишь, проверяешь исподтишка, как следователь Порфирий Петрович у Достоевского, даже своего болтунишку Филиппа посылаешь собирать агентурные данные...

Потапов не выдержал, захохотал.

— Вот вы действительно агентура, даже про Филька знаете.

— Скрыть задумал, — Повалий тоже развеселился. — Филько сам ходит, подшептывает: не я сам, меня он послал.

— Ну и ну, значит, агентура не та... Провалился я, признаюсь, — Потапов вытер веселую слезу. — Поеду я дальше, Николай Иванович.

— Дальше без обеда не отпустим. Не так ли, Анна Сергеевна?

— Смотря по аппетиту, — ответила она. — Я тоже еще останусь. Чего-то мы не договорили, Николай Иванович.

— Раз так, остаюсь, — согласился Потапов. — Будете договаривать при мне, если не секреты.

— Не секрет, Виктор Павлович, — сказала Анна Сергеевна, — машины машинами, а люди людьми. Насчет семьи Тарасенко будем договаривать.

Потапов метнул пытливый взгляд на потупившегося Повалия.

— Надеюсь, без криминалов? Их нельзя травмировать даже в мелочах. Трудно затягивается рана, как мы говорили.

— Вот и поможем ее гранулировать, — серьезно сказала Анна Сергеевна. — Не растравливать и не добавлять, а гранулировать... — она повторила пришедшееся ей по вкусу слово и поднялась, строгая и твердая. — Пойдемте к твоим пирожкам, Николай Иванович. По русскому обычаю за столом и уточним все наши отношения.

Закончив с обедом и попрощавшись с хозяином, Потапов проводил глазами уходивших в контору Повалия и Анну Сергеевну, покурил с удовольствием, довольный кратким одиночеством.

Время было не такое уж позднее, но постепенно темнело. Сгущались и блекли краски, отчетливей выделялись звуки, и, если вслушаться повнимательней, звонкие удары

молотов у переносного горна на стройке выдавало прозрачное степное эхо.

Недолго длилось одиночество первого секретаря. Услышав за спиной осторожный шорох шагов, Потапов полуобернулся и увидел медленно подходивших к нему Филька в лихо сдвинутой на ухо кепке и механика Тимофея Аулова, шедшего в грубых сапогах, в засаленном ватнике. Поздоровавшись, Тимофей хотел закурить, одумался, посчитав неудобным, и, неловко смяв пачку, сунул сигареты в карман стеганых штанов.

— Вижу, приготовился к рапорту, — с улыбкой сказал Потапов. — Если Филипп надоумил, значит, превысил полномочия и будет наказан.

Филько понял шутку и подтолкнул Тимофея.

— Рапортуй.

— Угадал все же я, Филько?

— Да вы догадливый, Виктор Павлович.

— Какие задержки в ремонте комбайнов? — по-деловому спросил Потапов. — Мне докладывал товарищ Караман. Хотя жатва и далека, а не успеем оглянуться — запросится под ножик колосок.

— Зерновых комбайнов у нас прибавилось, Виктор Павлович, — сказал Тимофей. — Под бурю подкинули еще пять. Так что вместо девяти стало четырнадцать. Новые комбайны так же, как и часть старых, получили безразборную оценку после сезона, были поставлены на длительное хранение.

— Никаких не обнаружили неисправностей?

— По мелочи, не без них, Виктор Павлович. Устранили.

Потапов воспользовался паузой, похвалил Тимофея.

— Не все сделано, — признался Тимофей, выслушав секретаря с деловитой хмуринкой, как бы подчеркивая необязательность реверансов. — Два мотора маринуют в центральных мастерских. Закрепился там Тарасенко, жмет, а инженер не торопит: далеко, мол, до жатвы, куда спешить!..

— Скажите, товарищ Аулов, не рановато ли вы включаете в когорту ваших механизаторов Петю Повалия?

Тимофей, по-видимому, не ожидал такого вопроса.

— Я понимаю вас, товарищ Потапов, — сказал он. — Могу заверить твердо — Петр знает дело. Да ему уже все восемнадцать. К тому же, если говорить о когорте, мы не

назначаем его центурионом, а рядовые бойцы из молодежи ценились даже в легионах требовательного Помпея.

— Простите, — Потапов развел руками, — положили меня на лопатки. Вернусь домой, займусь Древним Римом...

— Это никогда не поздно, товарищ Потапов, — и в глазах Тимофея блеснули озорные огоньки.

Виктор Павлович пожал руку Тимофею, попросил Филька подогнать машину.

— Как у вас семейные дела?

— Я доволен, — ответил Тимофей, — живем хорошо.

— Болел сынок?

— Да, — он сдвинул брови. — Теперь все позади. Не по-божески было бы — на одну семью сразу четыре смерти...

Потапов понял, о чем речь, помрачнел и больше не проронил ни слова. В дороге он думал о своем посещении Облучков, о Римме и о ее дочке, и к светлым мыслям примешивалось жесткое чувство скорби.

Глава двадцать первая

Они подкатили к ветряку на велосипедах, привалили их на ломкий бурьян и, взявшись за руки, побежали наверх. Верхняя площадка еще не просохла от недавнего дождя. Петя положил кепку, сделал рыцарский жест: «Садись, Маринка!»

По небу двигались редкие облака. В бездонной глубине мироздания помаргивали звезды. Пусть где-то они были пылающими солнцами, центрами мощных галактик, а здесь их легко закрывала самая небольшая тучка.

Маринка сидела, прижавшись к плечу Пети. Он тепло дышал возле ее щеки. Она чувствовала прикосновение его волос, видела его мечтательно-задумчивые глаза, и этого было достаточно, чтобы ощущать невероятную близость.

— Ты останешься, Петя? — спросила вдруг Маринка. Он понял, о чем она спрашивала, и шепотом, будто боясь вспугнуть тишину ночи, ответил:

— Конечно!

Вдали горела электрическими огнями станица, справа —

птицеферма Антонца. Световыми пунктирами была расчерчена степь, ее дороги; куда-то бежали и бежали машины.

— Потом мы будем учиться вместе, — напомнила Маринка прежние замыслы. — Если поступим, то только в один институт. Мы будем агрономами, Петя. Ты — как твой отец, я — как Анна Сергеевна. Потом придет время, я побелею, повяжусь платочком, буду ходить не спеша. Меня будут слушать. Я буду «мамочкой»... Мы поцелуемся?

— Я только что хотел об этом спросить.

Они целовались неумело, толкаясь носами, и тихо смеялись.

Постепенно редели огоньки в степи, меньше пробегало машин, пряталась где-то за бугром луна.

— Ой, кинутся наши, что делать? — Маринка словно отряхнулась от блаженной дремы. — Намоталась за день, заснула, что ли? Такое у тебя теплое плечо, Петя.

* * *

— Пусть, Лида, любятся, — успокаивал Повалий жену, обеспокоенную долгим отсутствием сына. — Так было, так



будет. Молодое дерево гнется, но есть предел, если сверху надломить, от корня засохнет.

На первый взгляд Николай Иванович будто на самотек пустил судьбу первенца. На самом деле было не так. Кроме всех доводов и оценок, возникающих в отцовском сердце, существовало еще неуловимое, не поддающееся сухому анализу то пронзающее чувство возврата к собственной юности, которое заставляет и самого молодеть, благодарить тех, «кто не в плохой, а в хорошей обиде повторяет юность твою».

Николая Ивановича одолевала другая забота: а вдруг эта любовь закончится ничем, уйдет в сторону девушка с янтарными косами, потеряют они ее для своей семьи, где все налажено крепко и лишь не готово очередное звено поколения.

— Ты спешишь стать дедом? — вышептывала Лидия Сергеевна в момент умиротворения.

— Угадала. Но я не спешу отращивать бороду, наживать одышку, я не хочу брюзжать. Я хочу быть молодым, энергичным, джигитским дедом.

— Тебя отравил Кучеренко, — она ласкала его. — Разве главное в джигитстве? Разве человек создан для того, чтобы скакать и никого не видеть, проносясь мимо в седле? Размеренный, пеший шаг, он лучше, Коля. Медленней идешь, больше увидишь.

Лидия Сергеевна обладала чисто сибирской способностью практичного и стойкого освоения мира, и на Кубани никто еще не убедил ее в пользе джигитовки. Она терпеливо вела семью рядом со знаменитым мужем.

— Не берут тебя годы, — шептала она, чтобы польстить мужу, а сама видела его раннюю седину, морщины, понимая причину его нервных вспышек.

— Какие у нас годы? — Николай Иванович пристально, будто впервые, смотрел на нее. — У тебя такая свежая кожа, на лице ни одной морщинки, только не жмурься, прошу тебя. Женщины начинают стареть с шеи, так, кажется, если я не ошибаюсь. У тебя все по-прежнему, и, если ты даже похудеешь, чего я не хочу, все равно у тебя не будет морщин, не будет гусиных промятин, — он рассмеялся, и она щелкнула его по носу:

— Что за слово? Промятины, да еще гусиные?

— Пришло на ум, и брякнул.

— Ты что-то становишься специалистом не в той отрасли, Коля, смотри мне!

— А ты думаешь, я не смотрю? Иной раз глаза выкатываю. Проскользнет мимо какая-нибудь фея...

Она шутливо шлепала его по губам, ей хотелось забыться, отбросить все лишнее, найти способы доказать свою правоту и убедить его в том или ином, что все же беспокоило ее как мать.

ЭПИЛОГ

Мудрые люди говорят, что иногда и горе красит человека. Увы, в этом афоризме содержится лишь доля правды.

Гибель старшей дочери и внучки, гибель зятя обрушились прежде всего на отца и мать, и на первых порах у них не хватило власти над собой. Постепенно, путем взаимной поддержки, ощупью, будто медленно прозревающие слепые, выходили они из свалившегося на них несчастья. Они понимали, что нельзя опускать рук и прекратить движение, полностью отдаться горю. Несмотря ни на что, им надо было работать, чтобы существовать, и это спасало их, как ни парадоксален такой вывод.

Параскева Терентьевна, как и многие женщины, более сильная в трагической ситуации, сосредоточила свое внимание на муже. Она понимала, как в данный момент она ему необходима. Раньше она как-то забывала о нем, ухаживая за детьми. Лакомый кусочек выделялся детям, да он и не требовал ничего. Заставая мужа за стиркой своего белья, она проходила мимо, зная, что он по своей солдатской привычке справится не хуже ее. Теперь она старалась ненавязчиво угодить ему, где только можно, более внимательно вникала в его дела, мягко отстраняла от корыта: «Поди почитай газету, отдохни...»

Она замечала его надломленность по многим признакам: рассеянности, замкнутости... Даже ходить стал нетвердо, будто опасаясь споткнуться.

Возвращаясь домой, он занимался с детьми, проверял домашние задания, а когда они укладывались спать в отдельной комнате, прикрывал их одеялами, выходил на кухню, закуривал возле форточки и сидел по часу и больше в одном положении.

— С тебя прямо памятник можно отливать, Терентье-

вич, — осторожно подшучивала Параскева Терентьевна. — Спать ложись. Скоро первый кочет закукарекает.

— Ты ложись, ложись, — вяло говорил он.

— А ты?

— А я еще подумаю.

— Мы же все думки твои обговорили.

— Значит, не все.

Она пыталась отвести его мысли на домоустройство: в кухне пол остался некрашеным, надо сделать крышку в поддомовую кладовку, огорожа не доведена до конца, с двух сторон канава.

Слушал он невнимательно, как посторонний, оживлялся лишь при появлении Маринки, вносившей в дом свежесть, улыбку и ласку. У нее теперь была масса дел, прежде всего школа, потом бригада, не говоря уж о встречах с Петей.

— Завтра обещал заехать Николай Иванович.

— Зачем? — спросил отец.

— Проведать, — весело отвечала Маринка, расплетая косу. — Теперь он определил мне половину своих депутатских за секретарство, — она ждала эффекта от сообщения, но новость не произвела впечатления.

Только мать, готовя на стол, спросила мимоходом:

— Сколько же это?

— Пятьдесят, мамочка.

— Пятьдесят? — она задержалась, вгляделась в сияющее лицо дочки. — Целых пятьдесят!..

— Теперь, мама, я могу купить себе... — И она принялась перечислять, что купит на эту «колоссальную сумму».

Иногда забегал Петя, перешептывался с Маринкой, смущался, пытаясь побыстрее и незаметней улизнуть.

— Чего это он так воровато? — спрашивал отец.

— Мы дружим с ним, папа, — вызывающе отвечала Маринка.

— Дружба и воровство понятия разные.

— Он стесняется, папа.

— Дружба не стесняет, а радует, — вразумлял отец, отрицавший излишнюю опеку над детьми. — Затянулась его робость. Парень-то гляди какой выбухал. С него бы добрый получился комбайнер. — Иван Терентьевич всегда прицениваться к людям с позиций своей профессии.

— А ты возьми его, папа, на комбайн, — тут же предложила Маринка.

— Захочет?

— Захочет. Я скажу ему.

— Сумеет?

— Почему же не сумеет? Если он имеет права, чтобы управлять машиной и трактором, то почему он не сумеет водить комбайн?

— Разница есть, дочка.

— Вот и научи его, папа! На уборке можно заработать. А нам понадобятся деньги, — она осеклась, засмущалась.

— Вам? Деньги? — отец не дождался ответа, отмахнулся, не стоило задавать такого вопроса.

Иван Терентьевич не хотел плыть против течения жизни. Маринка передала ему согласие Пети, а поговорив с его отцом, Иван Терентьевич включил его в свое звено. Без особой придирчивости, но требовательно он постарался до горячих дней жатвы научить его вождению зернового самоходного комбайна, уходу за ним, приемам жатвы на свал и прямого комбайнирования, подбору и обмолоту валков.

Петя знал, как это делается, на практике же вроде бы нехитрая механика оказалась гораздо сложней, тем более что ему приходилось стать вровень с опытными механизаторами.

В свою очередь, Иван Терентьевич убедился в способностях Пети, не жалел потраченного на него времени и рядом с ним чувствовал себя лучше, привыкал к нему, извинял его юношескую браваду, обидчивость и заносчивость; по-отцовски, шаг за шагом, учил его тому, что хорошо знал сам, передавал ему не только книжные сведения, но и свои навыки, роднил его с живым организмом сложной машины, завершающей трудный цикл земледелия.

«Если человек пойдет по моему пути, будет поступать так, как поступал я, значит, я останусь в нем, буду частью его, и я не умру, существуя в нем...» — думал Иван Терентьевич, находясь рядом с Петей, проникаясь уважением и любовью к его способностям быстро воспринимать его советы, не капризничать и, хотя и скупо, выражать свою благодарность.

«Значит, он частица меня, — радовался Иван Терентьевич, — и я его частица, его мозг занят мной, а мой его личностью. И не просто строка в записной книжке, где меня легко зачеркнуть, я останусь в сердце его, в делах, в памяти, а он перенесет меня дальше, и я еще долго-долго буду существовать над этой степью, над травами и хлебами. Родственник может унаследовать глаза, подбо-

родок или брови, а здесь унаследуется дух труда...» — Иван Терентьевич не мог поделиться такими мыслями ни с кем, даже с женой, хотя и не сомневался в ее понимании, и все же, даже оставаясь один на один с такими рассуждениями, он не считал себя в одиночестве.

Этим чувством заполнялась глухая пустота после трагедии Лебедянки. Хотя цепь несчастий началась раньше. С потерей облучковского гнезда ушла их молодость. Дело не в самане или кирпиче, мертвые материалы не могут заменить им прошлое. Нет-нет и ныне он вдруг услышит гудение пчел, такое явственное, хоть иди и проверяй, не закучковался ли где-то в ветвях вылетевший из улья рой. А то почудится запах вощины и свежего меда и шелковистое движение камышовых метелок, так похожих по цвету на волосы Риммы...

Кажущееся равнодушие людей, занятых каждый своим делом, не вызывало у Ивана Терентьевича ни беспокойства, ни раздражения. «А как же иначе, — рассуждал он, — разве можно остановить бесконечное движение жизни, благодаря которому лучше зарубцовываются самые глубокие раны?» Не знал Иван Терентьевич о разговоре, который происходил в это время в райкоме партии.

Потапов мягко упрекал Карамана:

— Помните, Олег Христофорович, однажды вы говорили так жарко об отношении к человеку?

— Я помню наш разговор, Виктор Павлович.

— Вы докладываете о комбайнерах для будущей жатвы, упомянули звено Тарасенко, а вы побывали у него? Ведь у него большое несчастье. Знаете же?

Караман кивнул, его строгие глаза ожесточились, от смуглых ушей пополз темный румянец на худые, опавшие щеки.

— Зачем? — он погасил раздражение, но голос его выдавал.

— Узнать, как они, утешить...

— Я знаю о них. Но утешать не намерен, — сказал Караман.

— Почему?

— Почему? Нельзя расслаблять сильных людей жалостью. Утешают слабых. Сильные не нуждаются в костылях. — Он передохнул и, облизав пересохшие губы, продолжил в резком тоне: — Посторонние утешают обычно ради собственного любопытства и чтобы испытать удовлетворение. Я, мол, избавлен, у меня лучше, я могу уте-

шать. По-настоящему утешать могут только очень близкие люди. — Не глядя в пристально устремленные на него глаза Потапова, добавил с прежней отчуждающей твердостью: — Чтобы выплакать горе, необходимо, чтобы слезы смешивались... Достаточно?

— Вполне, Олег Христофорович. — Потапов подумал, что все же в жилах этого человека течет другая, далеко не жидкая кровь. — Вы хотели доложить о мерах по уборке урожая. Пожалуйста! Мы взяли крупные обязательства. Судя по всему, они реальны?

— Если ничто не помешает.

— Вы стали суеверны?

— Я всегда был суеверным. Если человек перестанет быть суеверным, он потеряет связь с природой... А ведь мы с нею связаны тесно, и рвать нам с нею нельзя, она мстительна, Виктор Павлович.

— Мы вступили с нею в борьбу.

— Знаю. Я принес план и подумал: а вдруг завтра начнется ветер, да с дождем, да перекрутит нам зерновые, выложит их пластом, расквасит почву?

— Чур вам, Караман! — Потапов замахал на него обеими руками.

— Вот и вы доказали свое суеверие. Кому чур? Бесам природы? — Караман придвинулся, развернул бумаги, исписанные каллиграфическим почерком, без единой помарки. Они одним своим видом внушали веру в себя, рука не налегала наспех испортить хотя бы одну строку или перечеркнуть цифру.

Предвиделся урожай, который иначе нельзя было назвать как баснословным. Выборочные обмолоты выявили цифры, прямо-таки выходившие за пределы реальности. В четыре раза выше того, что намечалось получить в конце пятилетки в среднем по всей стране. И это при сокрушительном налете стихии.

В чем причины? Дожди? И раньше были своевременные дожди. К тому же два соседствующих поля, принадлежавшие разным хозяевам, давали разный сбор. Потому следовало отбросить ссылки на слепой случай и постараться без гаданья на кофейной гуще трезво анализировать действительность.

Ученые и практики, агрономы и рядовые земледельцы, руководители и подчиненные, коим было вверено социалистическое земледелие, вдумчиво занимались работой по

наиболее плотному использованию каждого квадратного метра площади, на которой выращивались полезные злаки.

Устойчивости урожая достигали при неустойчивой обстановке, как говорится, на семи ветрах. Как в длительном бою необходимы резервы и подкрепления, так и в битве за землю помыслы земледельцев все более крепко приковывались к главному источнику плодородия — к воде. Дождь — дар природы, в зависимости от ее законов и капризов дождь можно предвидеть, предсказать. Организовать дождевую тучу и направить ее в необходимое место пока не в силах человека.

Остается один реальный путь подчинения воды — мелиорация.

Энергичные, дальновидные деятели познаются не по тому, что они могут в любой момент трясти доверенное им древо власти. Их энергия и дальновидность определяются не сокрушительными налетами необузданной фантазии или способностью легкомысленно вытряхивать из недр невосполнимые ее сокровища, а сохранением и умножением богатств, отпущенных природой для людей.

Но это более крупные масштабы. Сужая их до рамок одного края, надо отметить настойчивость местных руководителей в проведении и расширении мелиорации. И это не просто увлечение или конек того же Харламова, Мигунова и коллективов, ими возглавляемых, а осознанная задача. Ее задала сама жизнь.

По территории края протекает большая река, истоки ее — ледники Кавказа. По пути в нее впадают другие реки, образуя мощный поток пресной воды, сбрасываемой в Азовское море. При усиленном таянии горных снегов и льда Кубань не в состоянии вместить в своем ложе всю воду, и излишек ее вызывает наводнение. Еще до войны жители вручную создали два водохранилища — Тщикское и Шапсугское. Люди и раньше старались усмирить реку, не только огораживая ее дамбами, но и собирая и используя ее воду.

Появилась новая, весьма влаголюбивая культура —рис. Регулируемый сток позволил построить систему орошаемых полей — чеков, систему довольно сложную, требующую постоянного ухода и надзора. Рис разместился в районе диких тростниковых плавней. Искусственное орошение не ограничилось только лишь рисовыми чеками. Воду двинули к овощным и фруктовым плантациям, а

дождевальные установки позволили поливать даже пшеницу.

Чтобы обеспечить животных свежей травой, в последние годы расширили площадь орошаемых площадок при фермах с постоянным притоком пресной воды к искусственно созданным пастбищам.

Все эти меры, предпринятые земледельцами, были направлены к тому, чтобы как-то исправить природные условия края, снизить степень риска, постепенно достичь такого положения, которое позволило бы получать устойчивые урожаи и меньше зависеть от капризов и жестоких ударов стихии.

Постепенно задача расширялась.

Как уже говорилось, край живет на артезианской воде. Подземные источники не могли обеспечить полив растений. Поэтому выгодно и дальновидно было продолжить в более широких масштабах зарегулирование речного стока. Выход был один — создание рукотворных морей. Вполне объяснима увлеченность того же Харламова, не только доказавшего необходимость пресноводного моря, но и сумевшего вместе со своими товарищами по руководству отстоять эту идею, добиться того, чтобы она претворялась в жизнь.

Море предполагалось открыть в семьдесят третьем году. Планы были грандиозны, и лишь наша привычка ничему уже не удивляться заставляет пройти большинство сограждан мимо этого изумительного события.

Планы, связанные с развитием социализма в земледелии, были широки, многообещающи, и их выполняли те же люди в грубых сапогах и ватных телогрейках, будто бы и не замечавшие всей огромности свершения, те простые люди державы, неоднократно загонявшие в тупик блеклые мысли многих иностранных исследователей непостижимого для них советского духа.

* * *

Для Пети Повалия жатва не была в новинку. С самого раннего детства он жил интересами земли. В семье только о ней и говорили. В нее верили и ей доверяли. Земля питала их, одевала, обувала и давала кров. Самые глубокие потрясения, запомнившиеся ему с детства, — это неудачи земледельческого года: засухи, суховеи, вымерзание. Отец давно воевал с природой и выработал в себе качества, необходимые для бойца. В таком же духе, без

всяких назиданий, личным примером отец воспитывал своего старшего сына.

Нынешняя страда все же казалась Пете первой. Все предыдущие впечатления остались далеко позади, стоило ему выйти с его самоходом на загонку, чтобы пристроиться вслед идущему впереди звеньевому. Ему, Пете, доверили сложную машину в такое время, в ленинский юбилейный год. Было над чем поразмыслить, могла закружиться голова, хотя не так уж высока площадка управления и не столь велик ростом юный комбайнер.

Чтобы не подводить своего наставника, Петя изучил комбайн, напрактиковался в его вождении и получил отличную оценку Тимофея Аулова, с надоедливой настойчивостью проверявшего его знания. Тимофея теперь не узнать. Его адская требовательность заставляла вспоминать добром более покладистого Анатолия, хотя нельзя же винить и нового механика, слишком большие заботы сразу легли на его плечи.

Край пытался наверстать упущенное в прошедшем году, вернуть свой долг государству. Все районы, все хозяйства скашивали богатые нивы, вначале ячмень, затем пшеницу. Стройно поднималась кукуруза, наливались початки на сочных стеблях, еще не тронутых желтизной созревания.

Петя был одним из тех, от кого зависела судьба урожая.

— Вот что, Петр Николаевич, — говорил ему Иван Терентьевич, — одно дело водить вхолостую, другое — в жатву. Здесь не только надо управлять машиной и следить за давлением и температурой воды, нужно регулировать мотовило в зависимости от обстановки. Чем ты будешь обеспечивать заданную высоту среза?

— Копирующие башмаки автоматически обеспечивают, — без запинки отвечал Петя, губы его расширялись в улыбке.

— Не всегда. Иногда придется регулировать высоту среза от руки при помощи гидравлического устройства. — Иван Терентьевич, говоря бесстрастным языком как бы заученные фразы, продолжал думать и о своем горе, и о дальнейшей судьбе дочери. И думая о том и другом, он старался приблизить к себе Петю, не обижать его снисходительностью и не отпугивать грубостью.

— Копирующая жатка низко срезает стебли, — напомнил он. — И не исключено, что ножи зароются в землю. Наблюдай за внутренним делителем, он укажет тебе, как

вести, чтобы идти на всю ширину захвата. Хлеб ныне тучный и невысокий, я проверял массив, нет нигде ни полеглости, ни перепутанности, и потому не будем ставить специальные, торпедные делители. — И он из-под руки всмотрелся в тихо колеблемое западным ветерком бронзовое поле, в туго налитые колосья «Лукьяновки».

Тарасенко настоял на включении в его звено не только комсомольца, но и своего старого фронтового друга Ивана Муравья, с которым ему пришлось немало повозиться.

— Зачем мне эта самодеятельность? — упирался Муравей. — Комиссии, подкомиссии, переосвидетельствования, пересдачи, оставь меня в покое, Иван, отпусти меня!

— Засоришь себя, Муравей, — строго отчитывал его Иван Терентьевич. — Дурной пример подаешь. Разве тебе, смелому фронтовику, сидеть на бахче пугалом или лепить свои соты?

Слышал Петя эти разговоры, старался не принимать их всерьез, склонен был иногда и подшутить над друзьями, а когда увидел Ивана Муравья во фронтовой гимнастерке в первый день жатвы, да еще при трех орденах Славы и медалях, начищенных до ослепления, не мог сдержать юношеского волнения. Нет, не позволит он отпустить ни одной самой невинной колкости в его адрес, краской залились его щеки.

Состав звена был утвержден самим Повалием. Вначале затея Тарасенко показалась ему причудой, вывихом: стоило ли проводить эксперименты, когда каждый час нынешней страды требовал энергии, напряжения и нельзя было выходить в бой за великий урожай со слабыми силами.

Убедил его сын. Выслушал его горячие слова, сказанные в редкий миг откровенности, по-новому глянул на сына и понял его больше, чем сам ожидал.

Подумалось, что за будущего тестя просит мальчишка. Однако не испытал Николай Иванович ревнивого чувства. Придется сыну делить свою любовь на части, надо и к тому привыкать.

Первое задание по ячменю звено Тарасенко выполнило отлично. Видел сам бригадир, как умело ухаживали они за комбайном. С какой старательностью в конце смены очищали от пыли, грязи, соломы вал и привод мотовила, пальцы и сегменты, механизмы уравновешивания и подъема жатки, копирующее устройство. Все то, что требовало обязательного ухода.

Они сами переклепывали расшатавшиеся сегменты и работали, помогая друг другу. Один из поломанных пальцев вкладышей заменили и закрепили заклепками с потайной головкой.

И не только эти обычные вещи тронули Николая Ивановича. Он видел, как старались они, и прежде всего Муравей, которого даже терпеливый Заремба чуть не зачислил в разряд «эгоистов-полутунеядов».

Медалями наградили Ивана Терентьевича, Зою, Тимофея и его отца. Вспомнил Повалий, как прикатил к нему Безмерный на полевой стан, прикатил как к депутату. Оказывается, правление и партком «Четвертого корпуса» не представили к медали преуспевающего бригадира. Михаил Кузьмич разжалобил его, просил поднажать, и он внял его просьбе. Хорошо, что не сразу добился связи: Безмерный успел под руку ему наговорить таких гадостей о своем председателе, о секретаре парткома Максимове. Безмерный обвинил Кучеренко в зависти, в том, что он якобы мстит не только ему, но и «великому соседу» за его славу. Чтобы подобраться к своему шефу, Безмерный принялся хвалить его, превозносить, не жалея тех слов, которые опытный Повалий оценил как льстивые и гнилые. Другие нравы и иные отношения складывались между соседями, и трудно было разрушить годами сложившееся братство.

Сухо расстался Николай Иванович со своим подшефным. И как тот ни лебезил, отказал ему в ходатайстве. Безмерный уехал от него не только обиженным, но и обозленным.

— Игнат, был у меня Безмерный, — сообщил Повалий Кучеренко после того, как телефонистка наконец соединила его с Баклановской. — Не знаю, кто из нас, а может, мы сообща вырастили на нем такую собачью шерсть... — Выслушал рокоток Кучеренко, глубоко вздохнул. — Бывает так, цепляют нас, как дохлых судаков, на голый крючок и заставляют глотать жабрами горячий воздух. Поддакивал, поддерживал, похваливал... Согласен, Игнат. Его колотушкой не глушите, а шерсть состригите. Как у тебя с колосовыми, джигит? Спрашиваю не как соперник, а как депутат высшей власти. Если меня Леонид Ильич или наш депутат в Совете Национальностей Дмитрий Степанович спросят, только за одну бригаду, что ли, спросят?.. Так. Думаешь переиграть сечевиков? Ну, Гнат, бог на помощь, как выражались до первой мировой войны.

В сухую погоду быстро созревали хлеба.

Повалий всегда следил за оценкой качества зерна на корню и за приближением его поспевания. Первая оценка проводилась во время налива зерна по интенсивности окраски листьев. Зерно удавалось лучше там, где окраска листьев была темнее. Потом, незадолго перед уборкой, отбирали пробные снопы. Привлекались работники центральной лаборатории колхоза и представители элеватора, которые определяли также и качество клейковины в зерне, чтобы заранее знать, сколько можно взять в засыпку сильной пшеницы.

Кроме того, следовало правильно наметить сроки и способы уборки. Поступление пластических веществ в зерно обычно заканчивается к середине восковой спелости. Как правило, при раздельной уборке валить хлеб надо в середине-конце восковой спелости, а подборку и обмолот не позже, чем через два-три дня после косовицы. Затягивать нельзя. Затянешь, и не только дожди, а даже обильные росы обесцветят зерно, и оно потеряет свою стекловидность.

Иван Терентьевич работал упоенно, самозабвенно. Его можно было понять, хотя подчиненным ему людям такое напряжение давалось нелегко. А разве легко было звеньевому?

Комбайны СК-4 были оборудованы хорошим освещением. На них установлены три фары: на бункере, перилах площадки и стойке радиатора. Положение фар регулировалось кронштейнами, поэтому косить можно было и ночью, самой темной, безлунной.

* * *

«Безостую» валили всем звеном. Массив был плотный, густой, прямостебелистый. Погода уже третьи сутки позволяла работать круглосуточно.

Звено оказалось стойким, двужильным. Тарасенко вообще был будто откован из металла, воспрянул духом и Муравей.

— Спасибо тебе, Иван, возродил меня, — говорил он полушутливо. — Чувствую себя так, будто еще и не добрались до Вислы, будто обе клешни целы.

Ложились валки на стерню, приникали к воздушному степному потоку, хорошо доходило зерно, будто наливал его чародей.

В короткие минуты отдыха сильные лучи аккумуляторных фонарей скользили по подбрюшью машин, озаряли полосы щетинистого среза, латунная дорожка уходила к посадкам.

Сидел у комбайна Иван Терентьевич, отдыхал, покуривал осторожно, не разбрасывая даже пепла, отряхивая его на ладонь, глядел на густой небосвод, осыпанный звездами с невероятной щедростью юга. Густел набрякший звездным выменем Млечный Путь, ярко выделялась справа от «молочной реки» незапряженная бричка Большой Медведицы.

Думал, словно искал в этом мире блескучих и мутных звезд угасшие души.

Упала звезда, и покатилась слеза по щеке, израненной желобами морщин. Вытер кулаком скулы, ссутулился, как орел на кургане, прикрыл набрякшие веки.

Глухо тосковала душа. Стояли орудия жатвы, подняв хоботы, трепетал луч фонаря, будто растворяясь в золоте пажити. И снова нагнетались страшные мысли: недоласкал, недолюбил, конфеток внучке не покупал. И мимо дочки спешил, чтобы накормить хлебом семью и других, не знал никакого покоя ни ночью, ни тем более днем, вечно в работе. Не заметил, как ушла в город дочка, вернулась, опять ушла. Своя у нее жизнь, не вмешивался, не становился поперок, пускал, верил, и вот... Ударил зыб — и нет ее.

Казалось, зябла не только спина от внутренней дрожи, сердце зябло. Он заснул сидя, оставаясь в том же положении. Заметив его неподвижность и перепугавшись, Иван Муравей прихромал к нему, нагнулся, облегченно услыхал дыхание, будить не стал, а только осторожно прикрыл его плечи ватничком.

Утром, чуть тронулась кверху роса миражным туманцем, разбуженно загудела степь. Уступами двинулись комбайны, вымащивая бронзовые дорожки и вздымая за собой пыль и трепетные запахи злаков.

Загудели дороги от тяжелых машин — колхозных, совхозных, моряцких, подвезенных сюда из-за Полярного круга. Водители-североморцы быстро обжигали нетронутые загаром лица, превращались в таких же черномазых, только белели зубы и белки молодых глаз да, задорно привлекая девчат, трепетали ленточки на круглых бескозырках.

...Шла юбилейная пшеница ленинского года. Частица ее

вытекала как бы ручейком из рук фронтовика-землероба Тарасенко.

На четвертые сутки, в конце светового дня, к звену подъехали Харченко и Заремба. Чтобы не сбивать с темпа Тарасенко, притормозили близ массива, у посадки.

Световой день угасал в курчавой хмарности, плотно налегающей на западный горизонт в стороне моря. Из-за облаков, разрывая их стрелами, виднелось огромное и как бы размягченное солнце.

Не прошло и десяти минут после того, как, оставив машину, они направились по скошенному полю к комбайнам, а звено самоходных комбайнов уже добивало последний загон, выползая из солонцеватого блюдца на роскошный пригорок отличного лана, где лукьяновская «Аврора» стояла будто литая. Брали здесь по-хозяйски, свыше шестидесяти центнеров с гектара. Но не ради этих центнеров ехал сюда Григорий Васильевич. Порадоваться успеху, а тем более потрепать по плечу заслуженного комбайнера было кому и кроме председателя артели. От передовика требовали улыбку не только досужие репортеры. От него требовали государственную улыбку, а мало кто, возможно почти никто, кроме Параскевы Терентьевны, не замечал его тайной слезы. Не с кем было погоревать ему. Это отлично понимал якобы сухой и жестковатый председатель.

Не разделить горе ехал к нему Григорий Васильевич. Хотелось, чтобы от приятной вести оттаяла его душа. Потапов попросил наметить кандидатов на представление к званию Героя Социалистического Труда, чтобы потом обсудить на бюро и доложить в край.

Заремба сидел за рулем легковой автомашины легко и дерзко, как бывший танкист. Увлеченный большим урожаем, он дневал и ночевал на полях.

— Нельзя задерживаться при атаке возле сраженных и раненых, — объяснял он в ответ на недоумение Харченко. — Закон боя таков, Харченко. Не верь тем человеколюбам, которые отстают от друзей, идущих в атаку, ради друзей, сраженных в атаке. Советую твердо, не растравливай его сочувствием, — заявил Заремба.

— Побывал у Карамана?

— Побывал, а что?

— Его теория, — буркнул Харченко.

— Будешь плакать с ним вместе?

— Плакать не буду.

— Правильно. Не с пузырьком азотной кислоты идем к человеку. Он увлечен делом. Работа исцеляет его. Шестьдесят центнеров берет.

— Центнеры уйдут в закрома, а горе остается в душе. — Харченко замолк, опасаясь перейти на инструктаж, что в данном случае было бы кощунством.

— Привет витязю юбилейной страды! — Заремба пожал старому комбайнеру руку. — Накопилась пылюка, Терентьич.

— Пыльно. Пришлось держаться длинных дистанций, а то задним ничего не видно.

Тарасенко отряхнул кепку, вытащил из кармана пачку «Шипки» и предложил начальству закурить. Заремба взял. Харченко отказался.

— Отвыкаю. Решил набрать вес. Шакунов упрекает в недостатке солидности.

Тарасенко усмехнулся.

— У нас экстерьеры одинаковые. Кабы Повалий взвешивал бы нас вместо «Авроры», нечем было бы ему похвалиться.

— Крупно весит «Аврора» по широкому кругу, — сказал Заремба. — Не хотелось бы жонглировать цифрами, чтобы не сглазить, а все же сколько берете?

— Подождем до амбара, — предложил Тарасенко. — Потом гопнем.

Они поговорили об урожае, обменялись новостями. Везде шло большое зерно.

Потом сузили масштабы, обратились к бригаде. Тяжелые тракторы вышли на подъем полупара. Заремба нашел повод как бы закрепить оптимизм.

— Есть указание сверху наградить передовиков. Как бы ты, к примеру, восприңял, Иван Терентьевич, наше предложение помочь тебе провертеть на пиджаке еще одну дырочку?

Тарасенко удивленно поднял брови.

— Мы серьезно, — подтвердил Харченко.

— Награжден ленинской медалью, горжусь.

— А если золотую?

— Звезду? — Тарасенко поднял к небу глаза с воспаленными от переутомления ресницами. — Скоро объявится вечерняя. Потом еще и большие и малые.

— Золотая же! — воскликнул Заремба.

— Не затмишь, — Тарасенко поднялся, прищурившись, вгляделся в своих товарищей по звену, вероятно, он им

был необходим, о чем прямо не заявил, но дал понять, попросив извинения. — Проверить надо механизмы.

— А наши наметки? — спросил Заремба.

— Недостоин, — строго ответил Тарасенко. — Ищите кандидатов на такой знак среди молодежи. Им еще долго, долго косить и пахать... Недостоин!

— Как недостоин? — Заремба не мог сдержать себя, его непонимание зашло далеко, это чувствовал Харченко и потому молчал. А Заремба кипел: — Десятки лет на самом боевом участке! Без страха и упрека! Героически выдержал все испытания! Кого же нам еще отмечать высшей наградой? Молодежь подождет. Не будем ее портить. Герой ты, Терентьевич! Ведь я-то знаю. И ты знаешь. Зееловские высоты брали вместе...

Иван Терентьевич с невозмутимой покорностью слушал разгоряченного Зарембу, слушал стоя, чуточку изогнувшись, опустив узловатые руки, и ничем, кроме этой позы, пока не выражал своего отношения к словам секретаря. Возможно, он и искал ответ, но не в самом себе.

— Чего молчишь? — иссякшим голосом спросил Заремба. — Не свататься к тебе приехали, заручиться...

— Чем?

— Твоим согласием...

— Какой я герой! — Тарасенко сжал кулаки, качнулся. — Троих уложил в могилу. Не сберег! Полюшку тогда не сберег. Ферму сберег, машины сберег, кирпич сберег, а их нет! За это Звезду? Разве вы вольны дать то, что я хочу вернуть? — Он неожиданно для них, не окончив речи, быстро зашагал туда, к комбайнам, ни разу не оглянувшись.

— Догнать? — Заремба явно растерялся.

— Не надо. Не с тем пришли, не с тем догонять будем...

— Какой кремнюга! Суровый какой, — жилистые руки Зарембы тряслись, пальцы теребили пуговки у горла на сатиновой черной рубахе.

— Суровая ткань, крепкая ткань! — раздумчиво заметил Харченко.

— А мы? Мы кто, по-твоему, философ?

— Узорчики на этой ткани.

Проводив глазами ссутулившуюся фигуру старого комбайнера, дождавшись, пока тот скроется в густеющих сумерках, сменивших лиловатый послезакатный полумрак,

Харченко и Заремба медленно пошли к посадке, унося с собой неясное чувство своей вины.

Харченко забрался на заднее сиденье, приютился в уголке и опустил стекло. Снаружи ворвались звуки, скрипучие и трещащие.

Заремба убрал длинный свет и включил подфарники. В тот момент, когда Заремба хотел тронуться, морзяночно замигала аккумуляторная лампа. Заремба, напрягаясь мускулами лица, пытался прочитать слова.

— Упражняется Иван Муравей, — с досадой заметил Заремба. — Он одно время работал на связи.

— Что он передает? Поймешь?

— Постараюсь, — пробормотал Заремба. — С меня расшифровщик плохой. Когда-то умел. Сколько годков прошумело... Нет, не могу собрать в слова точки, тире! Убей, не могу! Поедем к ним!

— Не надо. Сейчас не надо. Пусть думают, что мы их поняли.

— А если наоборот?

— Ответь им как можешь, — посоветовал Харченко.

— Помигаю, — и все!

— Помигай, и поедем, — согласился Григорий Васильевич. — В конце концов, не первый и не последний раз пробегаем по массивам.

Заремба тронул с места и покатил вдоль посадки, выводя машину на грейдер. Хотя по правилам надо было в станицу, он свернул влево.

— Не заблудился? — спросил его Харченко.

— Дадим небольшой крючок, забежим к бригадиру.

— Забежим так забежим, — согласился Харченко.

Равнина ненадолго потеряла солнце. Засверкали огни ночной страды. После короткой передышки поползли комбайны, словно огромные насекомые, шевеля длинными светлыми усами. Снова покатились грузовики по шоссе. Зажглись корабельными огнями будто плывущие в тумане элеваторы.

Уже издали, словно оброненное на бархат ожерелье, показался значительно расширившийся в объеме некогда скромный полевой стан комплексной бригады. Не табор, а чуть ли не городок.

В бывших Облучках тоже кипела работа: срезали, ровняли берег, выводили бетонные скаты. Матово выпячивалась водная гладь, отражающая корпуса стройки упрямого Повалия. Он вел дело, невзирая ни на какие помехи,

на бухгалтерские стоны, на нудный полусаботаж маломасштабных людишек, всплескивающих вялыми руками.

Обелиск первых коммунаров подсвечивался прожекторной лампой, скрытой под длинными ветвями ивы. Он чем-то напоминал ракету, готовую вот-вот взвиться в просторы вселенной.

Повалий оказался на месте. Он с Тимофеем Ауловым и агрономом уточнял план уборочных работ на очередные сутки.

— Не помешаете, мы уже кончаем, — сказал Повалий. — Вот тут заграфуем еще одну смену — и точка с запятой...

— Значит, решили проверить без предупреждения, — мягко укорил Повалий, когда Аулов и агроном, попрощавшись, ушли. — Как это называется у вас при прорыве, Заремба? Внезапный артиллерийский налет с последующим введением бронемехчастей?

— Ладно, Николай Иванович, далекое вспоминаешь. Я и то забыл команды. — Заремба налил себе минеральной воды, полюбовался кипением пузырьков в стакане. — Хотели тебе рассказать о более близком. Были мы у Тарасенко. Ездили провентилировать вопрос... Сам знаешь какой.

— Ну? Слушаю. — Повалий кивнул, ломая непредвиденную паузу.

Выслушав обстоятельные объяснения Харченко, Повалий не сразу отреагировал, раздумывал, мурлыкая какой-то ходкий мотивчик.

— Ты чего? — лицо Зарембы помрачнело.

— Ничего, — Повалий встал, прошелся, заложив руки за широкий ремень. — Мой Петруха работает, как вам известно, в звене Тарасенко, делится своими впечатлениями, не фискалит, а делится. — Подчеркнув это, чтобы ответить на вторую улыбочку Зарембы, продолжил: — Высокого мнения Петька о своем старшом. Мы-то знаем его по работе несколько издали, а Петя вплотную. И вот как я могу оценить происшедшее с вами его поведение, его уход. Не хотел он вас обидеть, не от гордыни и даже не от горя своего, а оно пока неизбывно.

— Так отчего же? — Заремба не выдержал. — Не тяни, Николай Иванович!

— Если хочешь по доступной формуле, — Повалий задержался в центре комнатушки и твердо сказал: — Вы приехали к нему д а в а т ь, а ведь он сам д а е т. Взду-

мали наградить, не надо спрашивать. Только прохвост, вроде этого... — он кивнул глазами на стенку, где в красивой рамке были вывешены условия соревнования двух бригад — его и Безмерного, — заюлил бы перед вами, раскошелился на красивые слова, заранее отбил бы вам поклоны. Не морщись, Заремба! Ты человек крепкий, стойкий. Иногда рассуждаешь, исходя из своих личных предпосылок, а тебе надо применяться к разным характерам, ко всяким судьбам: в малой дозе мышьяк хорошо, а в большой — отрава.

Заремба, как ни крепился, не мог не возразить Повалию и, хотя почтительно, с оглядкой, все же подстегнул его за излишне морализованные поучения.

Выслушав его, Повалий не обиделся, будто других возражений и не ждал, и заключил коротко:

— Я думаю так: всем нам нужно научиться быть не только руководителями, а прежде всего душеводителями. Ты упомянул Зееловские высоты, а нам нужно брать теперь другие высоты. Высоты, которые доверили нам первые коммунары. У их подножия стоим и, надеюсь, не топчемся. Прошу прощения, высокий «штиль», но других слов не найду.

* * *

Когда машина скрылась и потерялся за бугром ее липкий свет, Иван Терентьевич опустился на стерню, подкинув под себя немного свежей хрумкой соломы.

Земля, казалось, дышала. Нет, нет, она не была для него неодушевленной материей, она чудилась ему живым организмом, со своим характером, причудами, капризами.

Земля кое-кому представлялась злодейкой. Разве она была виновата? Неужели ей предъявишь счет за неведомо откуда налетевший буран или бесшумный суховей, выпивающий, словно нетопырь, живые соки растений.

Земля была живым организмом в представлении Ивана Терентьевича еще потому, что она, как и человек, не могла жить без воды, без пищи, требовала ухода, ласки, тепла. И потому она дышала, разве нет? Стоит прислушаться, и безошибочно определишь ее равномерный пульс.

Земля приносила пищу, счастье, выращивала семьи, воспитывала детей, наполняя их сердца отвагой и радостью, заставляла мужать и наказывала за измену.

«Уйти от нее! Она проживет и сама. А пусть проживет без нее человек, какой бы он ни был ловкий и хит-

рый, как бы ни был обучен наукам и уменью варить асфальт и сталь, выпекать из глины кирпичи для жилья и, врываясь в ее недра, выбирать невосполнимые ее запасы».

Иван Терентьевич очнулся, когда кто-то нагнулся над ним, прислушался, а потом, успокоившись, накрыл его курткой.

Иван Терентьевич догадался, что над ним наклонялся Петя.

— Ты, Петя? — окликнул он.

— Я, Иван Терентьевич, — он тут же вернулся, присел на корточки. — Наверное, озябли. Упала роса...

— Упала? — он пощупал вокруг. — Тогда подождем. Хлеб еще терпит, нет перестоя... — И он долго еще говорил с Петей, лишь бы не отпускать его и не чувствовать своего одиночества.

* * *

Николай Иванович Повалий ехал в Москву на партийный съезд не из Краснодара, откуда отправлялись все делегаты, а поездом, через Кущевку, куда ему было ближе от Сечевой.

Машину вел Петя, рядом с ним Маринка, прелестно подобравшаяся под спелые восемнадцать девичьих лет.

Повалий ехал, не чувствуя тряски, по гладкому накату автострады, под шелест резины и птичий щебет детей.

Изредка в полудреме Николай Иванович приоткрывал отяжелевшие веки, прищуривался своими темно-серыми кошачьими глазами, так что сбегались лучики на запеченной коже, и отдыхал, глядя на пробегающие мимо акварельные поля, сбросившие снег, на озими, весело поднимающие свои стрельчатые любопытные стебли.

Повалия единогласно избрали на съезд на краевой партийной конференции. Высоко поднялся казачий край, не совестно ни за боевой фронтовой шестьдесят девятый год, ни тем более за ленинский, юбилейный...

Второй орден Ленина на знамени края. Самый высокий урожай в стране. Харламов осторожненько предупредил: «Николай Иванович, собирайтесь с мыслями, возможно, вам придется выступать!..»

Повалий вздыхает, думает, слушая щебет Петра и Маринки. Хорошо, хорошо, пусть, пусть!.. Ему самому чуточку за сорок, им вдвое меньше, а трудятся, пожалуй, с

ним наравне. Надежный вырастает подлесок. Может, и эта мысль пригодится, если позовут на высокую трибуну? Повалий вспомнил случайно подслушанный в поезде разговор.

— Слушай, не дурят нам голову братцы-кубанцы?

— Что имеешь в виду?

— Еду до самого Сочи, где ж черная буря? У них академия, а не земля. Почти сорок по краю только пшеницы... Ой, что-то не так.

— Чудак, прямо чудак. Люди здесь...

— А мы не люди?

— Тоже люди. Есть разные люди.

— Земля у них масло, воткни оглоблю...

— Брось чепуху! Не надо про тот тарантас, что вырастает из оглобли. Куцый юмор. Ты погляди, поучись, намотай на бритую губу. Государство им помогло? А кого оно оставляло в беде? Другому брось, не поднимет. А кубанцы! Ты погляди! Красотища! Неужто это и есть «Аврора»? Только что не стреляет, прямо-таки трехдюймовка...

Потом говорили о сортах, изображали, как кричит перепелка, узнавали, кто висит над курганом, коршун или подорлик. А он слушал и молчал, а что ему отвечать, за него отвечали поля и фермы, движение влажного ветра по спелым колосьям, подсолнухи, любопытно следившие за движением солнца, песня девчат и щит с надписью над простором некогда диких степей: «Хлебороб сеет жизнь».

Маринка целует в ухо его Петьку, поворачивается к Повалию:

— Николай Иванович, счастливый вы. В Москву едете! На съезде всех увидите!

Что-то сжимает его сердце, тесно в груди. Не от горя, от хорошего волнения.

«До чего же нервный стал, Николай Иванович, герой, депутат, делегат!

Нельзя так, что ты поддаешься? Тебе так нельзя, а может быть, можно?

Дурного тут нет ничего».

■



Владимир ЛАНГУЕВ

КОЖЕДУБ

Знаменитый ас, герой России —
Кожедуб приехал в нашу часть.
И горят его
три Золотые,
на защитном кителе лучась.
Вот сейчас достанет сигарету,
закурив, прищурится в дыму,
и пойдут ребята за советом,
как ко всемогущему —
к нему!
И тогда он громко скажет:
«Братцы
(чтоб вокруг услышать все смогли),
надо от земли не отрываться,
даже отрываясь от земли!»
Самый и заслуженный и старший
он у нас —
и дома и в гостях...
Вот летят над ним ребята наши,
крыльями на солнышке блестя!
И, суровым взглядом даль пронзая,
смотрит он, задумавшись, вперед,
и меня восторженная зависть
за душу нечаянно берет.

ВЕТЕРАНЫ

В День Победы они собираются вместе.
И начнет дядя Федор,
уставившись вниз,
как в степи
в сорок первом
преследовал «мессер»
его старый, набитый детишками ЗИС...
И, притихнув, задумаются ветераны
о далеком, но не позабытом былом...
И сойдутся со звоном печальным стаканы
над широким,
уставленным снедью столом...
Я с любовью смотрю
в эти строгие лица,
и такие мне мысли приходят порой,
что в России нельзя
не героем родиться,
у России моей
в каждом доме — герой!
В доме нашем ни вздоха,
ни лишнего звука —
ветераны о прошлой войне говорят.
Из-под челок
глаза любопытные внуков,
в ордена боевые нацелясь,
горят.





ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ТОВАРИЩ



РЕВОЛЮЦИОННЫМ МАНДАТОМ ЮНОГО ПРОЛЕТАРИЯ, КРЕСТЬЯНИНА, РАБФАКОВЦА БЫЛА В ЭТИ ГОДЫ КОМСОМОЛЬСКАЯ ПУТЕВКА НА НОВОСТРОЙКИ. ФРОНТОМ СТАЛИ РУБЕЖИ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК, ФРОНТОМ ТРУДА. БОЕВЫМ ПАРОЛЕМ ЗВУЧАЛИ: ДНЕПРОГЭС, ТУРКСИБ, МАГНИТКА, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛ ШЕФСТВОВАЛ НАД САМЫМИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ СТРОЙКАМИ, БЫЛ ТАМ, ГДЕ ВСЕГО ТРУДНЕЕ.

Л. И. БРЕЖНЕВ

ПЕРВЫЙ ГОД первой пятилетки ознаменовался зарождением могучего движения, захватившего миллионы и миллионы тружеников городов и сел.

20 января 1929 года «Правда» опубликовала статью В. И. Ленина «Как организовать соревнование?». Владимир Ильич открыл в социалистическом соревновании замечательную форму развития творческого почина и активности масс, могучее средство вовлечения трудящихся в хозяйственное и культурное строительство. «Социализм не только не угашает соревнования,— писал Ленин, — а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно ШИРОКО, действительно в МАССОВОМ размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатой родник и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами». И Ленин указывал: «Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, — организовать соревнование».

26 января «Комсомольская правда» обратилась ко всей советской молодежи с призывом начать Всесоюзное социалистическое соревнование.

«Всесоюзное соревнование комсомола должно повести массы рабочей молодежи В ДЛИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ против прогулов, брака, лодырничества, против хозяйственного расточительства, против всего, что служит барь-



ером, мешает снижению себестоимости...

Соревнование, построенное НА ОСНОВЕ РАЗВЕРНУТОГО ДОБРОВОЛЬНИЧЕСТВА, ИНИЦИАТИВЫ В МАССАХ, должно суммировать все производственные начинания молодежи. Оно должно сделать эти начинания достоянием каждой организации и, подчинив их задаче борьбы за снижение себестоимости и улучшение качества продукции, СПОСОБСТВОВАТЬ УСИЛЕНИЮ ТЕМПА ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЯЧЕЕК СОЮЗА».

IX съезд комсомола, проходивший в январе 1931 года, определил основные задачи комсомола на ближайшее время. В центре внимания комсомольских организаций ставилась борьба за выполнение пятилетки в четыре года, завершение построения фундамента социалистической экономики, за окончательное подавление классового врага.

«Ленинский комсомол, явившийся инициатором развития социалистического соревнования и ударничества, — говорилось в решениях съезда, — должен под руководством партии еще шире развертывать мощное орудие борьбы за пятилетку в четыре года — социалистическое соревнование и ударничество, поднимая их на качественно более высокую ступень, всемерно развивая такие их формы, как общественные буксиры, плановые группы, встречные промфинпланы, и направляя многомиллионное движение ударничества и соцсоревнования на решение таких повышенных задач третьего года, как планирование, рационализация, освоение новой техники и связанная с этим борьба за качественные показатели производства».

Съезд объявил весь комсомол ударной бригадой первой пятилетки.

Творческая инициатива молодежи, ее энтузиазм и пламенный патриотизм стали могучей силой, которая способствовала выполнению пятилетки в четыре года.

За проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивающих успешное решение задач пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР постановил наградить Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи орденом Трудового Красного Знамени.

Это был второй орден на знамени комсомола.

даешь!..

— КТО КАК — не знаю, а лично я верю в судьбу. Не в ту, что от бога. Мы такое на последней войне повидали (а Ростсельмаш, считай, в полном составе ее прошел от точки до точки), что по сравнению с этим всякая мистика — детский смех на берегу Дона. Судьба — это жизнь твоя, сделанная твоими же собственными руками. И самое поганое, когда жизнь эту и вспомнить нечем. Но в этом смысле, думаю, моя судьба удалась... Представь: голая степь за Нахичеванью. Белое солнце, ветер, и посреди степи домик-времянка, крыша под толем. Поселились в том домике десятники и техники-изыскатели. Были они, по тогдашнему моему пониманию, счастливчиками: степь еще не тронутая лежала, а они уже видели, где какие цеха будут стоять. От той времянки взяла начало и судьба Ростсельмаша, и моя собственная судьба, и судьба наша общая... А родился завод во исполнение декрета Совнаркома «О сельскохозяйственном машиностроении», подписанного Лениным в апреле двадцать первого года. Первым пунктом декрета предлагалось признать сельскохозяйственное машиностроение делом чрезвычайной государственной важности. Для успешного осуществления всех намеченных революционных перестроек в России — и главной из них, индустриализации, — нужен был хлеб. Производство его требовало перехода сельского хозяйства на государственную основу. Осуществить это без сельскохозяйственной техники было немыслимо. А ею мы как раз тогда и не располагали...

В августе тысяча девятьсот двадцать пятого года на заседании Главметалла ВСНХ рассматривался план развития сельскохозяйственного машиностроения на юго-востоке страны — юг и юго-восток были тогда основными производителями хлеба. В резолюции записали: «Признать, что Ростов-на-Дону в будущем должен стать одним из главных пунктов производства сельскохозяйственного инвентаря, как занимающий выгодное положение в смысле сбыта продукции и снабжения сырьем... и, кроме того, как крупный политический и промышленный центр. Проектирование завода начать немедленно...» Председателем ВСНХ был тогда Феликс Эдмундович Дзержинский. Вторым «крестным отцом» нашего Ростсельмаша, одного из первенцев первой пятилетки, мы считаем Анастаса Ивановича Микояна, в то время секретаря Северо-Кавказского краевого комитета партии. Много сил и здоровья он отдал Ростсельмашу.

Понятно, Запад смотрел на все это скептически. Представитель

американской фирмы «Джон-Дир» Хамосон — тот заявил прямо: «Попытка большевиков в пять лет создать сельскохозяйственное машиностроение — вещь хорошая, но несерьезная. Заводы могут быть построены, но комбайны, плуги и жатки будут по-прежнему идти к вам из Америки». Вот так, ни больше ни меньше. А в апреле двадцать шестого года на месте будущего Ростсельмаша появилась первая времянка. Этот дерзкий факт оказал огромное политическое и психологическое влияние на людей. Увидели: значит, крепка Советская власть, и стоять ей вечно, если полуголодные, с одними, по сути, лопатами в руках беремся поднять такую махину... Северо-Кавказский крайком комсомола объявил стройку комсомольской: «Мы строим сегодня, но жить Ростсельмашу в будущем, а оно принадлежит молодым». Получить комсомольскую путевку на Сельмашстрой — так это тогда называлось — было великим счастьем. Отбирали лучших из лучших — на открытых собраниях, по всей стране. И получал путевку далеко не каждый даже из тех, кто хотел к нам приехать. Наверное, потому отсев из числа присланных комсомолом составлял во все годы строительства ничтожный процент... Ехали на Сельмашстрой отовсюду — семьями, целыми деревнями. Здесь же открывалась такая перспектива получить специальность, грамоте научиться — надо помнить, что в те годы с грамотой было ох как не густо, и многие паровоз впервые увидели, когда двинулись на стройку! А потом не что-нибудь строили — Ростсельмаш, завод, равного которому не найдется даже в Америке! Слово «Ростсельмаш» стало паролем. «Даешь Ростсельмаш!»

Это «даешь!» прошумело над двадцатыми, над тридцатыми годами как знамя.

Нам, первым комсомольцам Ростсельмаша, было тогда по двадцать лет. В комсомольской ячейке, созданной коммунистами стройки, в день ее организации, 6 июня 1926 года, было пять человек. К октябрю следующего — семьдесят. В тридцатом году организация насчитывала уже две тысячи комсомольцев.

...Палатки, бараки, землянки, кухни походные дымят. А вокруг земля развороченная, кирпич, лес штабелями, щебенка. Продукты по карточкам, потому что их в обрез, а накормить надо всех. И всего на всех поровну: работы, усталости, нехваток, побед. Иначе не могли: одно дело делали, одной мечтой жили. Сошлись мы здесь — кто первые мозоли набивал на ладонях, у кого уже специальность,

нужная для завода, была. Но самого завода-то еще не было! А нам очень хотелось, чтобы он поскорей встал. Хотелось на дело своих рук посмотреть, а потом работать в цехах, которые поднимали, а потом увидеть, что же он, наш Сельмаш, может. Было, одним словом, постоянное движение вперед, а в основе его большая цель и хозяйское понимание того, что все вокруг наше и для нас. Без этого понимания немыслима настоящая работа. Короче, все будущие металлисты работали поначалу землекопами. Инструмент — лопата, лом, кайло, тачка, носилки, «коза» для переноски кирпичей на себе — ее теперь только в кино увидишь, — да еще грабарки скрипели колесами по всей стройке. Эта конная тяга была тогда для нас все: и транспорт, и связь... Как работали? А вот так. На месте нынешнего кузнечно-прессового цеха возвышался земляной холм. Проектировщики говорят: цех должен стоять именно здесь, и потому холм срыть, а поскольку время наступает на пятки — немедленно... Начальником строительства был у нас Николай Павлович Глебов-Авилов, он же потом и первый директор — старый партиец, политкаторжанин, в гражданскую — красный комиссар Черноморского флота, после войны — нарком почты и телеграфа. Немногословный, неторопливый, очки в стальной оправе, пальто драповое черное, палочка в руке. На стройке все и всех знал досконально. Утром, затемно еще, идем на свои участки, а он уж на стройплощадке маячит. Вечером, к полночи близко, домой тянемся, а он все еще о чем-то с инженерами толкует — сидят в сторонке на досках... Говорил мало, голоса как будто совсем и повышать не умел, но уж скажет — припечатает, попробуй не выполни. Так вот, с холмом этим. Надо его срочно убрать. А как? Экскаватор, если б он тогда хоть один у нас был, и тот бы упарился. И пришел начальник строительства к нам

П. И. Рябенко.



Б. М. Красник.



в комитет. «Ребята, — говорит, — вот такое дело. Каждый час простоя с закладкой цеха уйму народиых денег переводит. Есть у вас на этот счет какие-нибудь соображения?» А какие у нас, у комсомольцев, соображения, если и нам тот холмик бельмом в глазу? Мешает? Срыть его! Завтра выходной? Ладно, долой выходной, даешь субботник! Всех своих подняли, разобрали технику — ломы да лопаты — и вперед! ДАЕШЬ площадку под кузнечно-прессовый! Кто-то красиый флаг принес: та бригада, которая отличится, торжественно утвердит его на месте будущего цеха. Не помню уж, кто тогда флаг ставил, но, кажется, миссию эту мы поручили представителям всех бригад: ровио работали. А настроение было такое, что попадись тогда Эльбрус под горячую руку, и его бы взялись разворотить. Любую гору свернуть можно, когда сто рук — как одна рука, это уж верь на слово, знаю, что говорю...

...Тебе бы все «как» да «как». А разве расскажешь, как работали, если Ростсельмаш вместе с Магниткой, Днепрогэсом. Турксибом, Сталинградским тракторным составили в жизни страны целую эпоху?.. И все-таки несколько фактов назову. Они сами за себя скажут. Только за три года, с тысяча девятьсот двадцать седьмого по тридцатый стройматериалов ушло на нужды Ростсельмаша столько, что, если погрузить его в вагоны, состав протянется от Ростова до Курска. За эти же три года было построено 35 производственных корпусов, то есть к лету тридцатого года на Ростсельмаше работало уже 13 из 18 запланированных цехов и производств. Завод еще строился, а тем же летом по Красной площади перед делегатами XVI съезда партии прошла на прицепе у первого сталинградского трактора первая отечественная сеялка, изготовлеиная у нас на Ростсельмаше!.. Сам завод вступил в число полностью действующих предприятий

С. П. Новак.

М. К. Тучков.



1 января 1931 года — на 12 месяцев раньше всех самых жестких сроков. И Миша Тучков, секретарь комсомольской ячейки ремонтно-механического цеха, с гордостью доложил об этом 18 января 1931 года делегатам IX съезда комсомола. Не спорю, в сравнении с нынешними те наши темпы — шажки, не шаги, но сегодня ведь и возможности не те! Мы завод на своих спинах подняли, я это без кавычек говорю: весь кирпич на кладку заводских стен «козами» перетаскали... Действующие цехи давали свою продукцию — сеялки, жатки, и завод еще только готовился к полному пуску, когда мы получили новое правительственное задание: дать отечественный хлебоуборочный комбайн! Сроки сверхсжатые: первый комбайн — к концу того же 31-го года. А цеха комбайнов еще и в помине не было — только площадку под него подбирали. «Такие сверхамериканские темпы строительства мы не мыслим иначе, как в теснейшей связи с комсомолом, который поможет нам подготовить кадры рабочих нового завода, своими ударными бригадами ускорит темпы строительства», — говорил тогда помощник начальника Комбайнстроя Матвеев. Мы дали первый комбайн в срок. Больше того — к уборке урожая 1932 года на поля пошли уже 1700 наших комсомольских комбайнов. Я говорю «наших» с полным правом: было нас, молодых, на заводе более 8 тысяч человек, 2 тысячи комсомольцев, и мы составляли три четверти от общего числа рабочих. Так вот работали и вот так жили: утром — на смену, на свои основные участки, вечером — в учебный комбинат, заводские профессии осваивать. Сами учились, других учили. Я уже говорил: на Ростсельмаше был значительный процент малограмотных. Были и вовсе неграмотные. Ликвидацию неграмотности взял на себя комсомол. Были школы. Был и ликбез. Но учили еще и так: брали в обеденный перерыв лист фанеры и кусок кирпича, усаживали ученика — смотри, это «а», это «б». В день по букве... С неграмотностью покончили примерно за год.

...Мы строили завод. Завод из нас людей делал. И вместе мы строили новую жизнь на деревне. Она тогда была еще кулацкой, да середняцкой, да единоличной. Партия призвала к коллективизации. Много наших ребят уехало тогда с комсомольскими путевками коллективизацию проводить. Многие под кулацкими пулями полегли. Но 28 колхозов в своем подшефном Миллеровском районе организовали уже в первый год.

Какие мы были?.. Вот, смотри, идет по двору Саша Кудлаенко, Александр Антонович. Первый на Ростсельмаше автоматчик, тот, что американцам нос утер. Закупили мы у них автоматы четырехшпиндельные. Приехали их наладчики, их мастера. Устанавливать станки не спешили, потом не спешили налаживать, учить наших рабочих не спешили тоже: им же каждый день в карман чистая валюта шла! Ну а Сашка наш был парень настырный, напористый, его от станка, бывало, шеф гонит, а он обратно. Вопросами своими до тихого бешенства его доводил. А однажды и переплюнул «своего» американца по выработке. Потом других ребят учить взялся. Потом бригаду сколотил, и была она на заводе одной из первых комсомольско-молодежных бригад... Или Новак Сергей Павлович, который для меня навечно Серегой останется, хоть мы с ним деды давно. Его «мистер Ростсельмаш» за границей называли — это уж когда комбайны с нашего конвейера полным ходом шли и их покупать стали,

Окончание на стр. 172

ДВЕНАДЦАТЬ ЗАЛПОВ

5 июля 1943 года гитлеровцы, сосредоточив в районе Орла и Белгорода свои главные силы, предприняли наступление против советских войск. Фашисты пустили в ход последние достижения своей боевой техники — тяжелые танки «тигры» и самоходные пушки «фердинанд». Они уверили своих солдат в превосходстве и полной неуязвимости этих новых видов вооружения.

Советская Армия была готова не только отразить фашистское наступление, но и нанести врагу мощные контрудары. Измотав немцев и обескровив их отборные дивизии, наши войска уже к 23 июля полностью ликвидировали немецкое наступление.

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, советские войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала июльского наступления немцев, заняли Орел и Белгород.

За месяц боев враг понес огромные потери. Было убито 120 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 12 418 фашистов взято в плен. Наши артиллеристы, летчики, бронебойщики, танкисты, пехотинцы подбили и уничтожили 4605 фашистских танков, 1623 орудия. В воздушных боях и зенитной артиллерией было сбито 2492 фашистских стервятника.

Вместе с тысячами фашистских головорезов нашла свою смерть на полях Орловщины, в степях у Белгорода, превратилась в прах сочиненная самими гитлеровцами легенда о том, будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное наступление, будто бы летом армии вермахта всегда одерживали победу.

Уцелевший после Орла и Белгорода враг уже перестал тешить себя иллюзиями да сказками «о злой русской зиме и добром лете»... Он убедился и понял, что Советская Армия била и будет бить его и зимой, и летом!

5 августа 1943 года столица нашей Родины Москва салютовала доблестным войскам Брянского фронта, освободившим при содействии с флангов войск Западного и Центрального фронтов город Орел, и войскам Степного и Воронежского фронтов, освободившим город Белгород.

Ровно в 24 часа был дан первый залп из 120 орудий. За первым залпом — второй, потом третий, четвертый, пятый... Всего было дано двенадцать залпов, гремевших через каждые 30 секунд в течение шести минут.

Москва салютовала героям. И слышалось в этом первом военном салюте великое народное торжество, гордость за нашу армию-освободительницу.



ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ летним росным утром на восьмой день войны. В дремотную рассветную тишину вдруг ворвалось надсадное тяжелое гудение. К селу приближались вражеские самолеты. Их было девять. Не успел никто из сельчан и подумать о грозящей опасности, как навстречу фашистским стервятникам ринулись три краснозвездных «ястребка». Три и девять... Завязался бой. Свинцовые струи рассекли воздух. Загорелся один из «ястребков». Два других еще отчаяннее бросились в атаку. Рухнул вниз первый стервятник, за ним второй... Фашисты не выдержали атаки.

«Ястребок» упал за околицей. Люди бережно освободили пилота из кабины, положили на траву. Вместо лица — зияющая рана. Кто же он, этот человек?

Документы были целы. Кто-то из жителей раскрыл партийный билет.

— Номер 0466085. Фамилия...— проговорил он и растерянно напряженным взглядом обвел односельчан: —201 Семен Иванович.

Тишину утра прорезал вскрик:

— Сын!

...Сейчас в центре села Константиновка памятник. На обелиске короткие строчки:

«Старший лейтенант
Семен Иванович Хархалуп.
30.IX.1909 — 30.VI.1941».

В тот майский день, когда я сюда приехала, константиновские ребята пришли к обелиску принять пионерскую присягу.

«...был вой снарядов, визг свинца. Мы молча кланяемся вам, войной убитые сердца... Земля в садах, а не в золе.

Цветы приветствуют весну...» — читала девочка чистым и звонким голосом.

У обелиска негаснущим пламенем рдели цветы. И народу здесь было столько, сколько бывает в дни больших торжеств.

Здесь он жил и рос. По этой молдавской земле, к которой в последний миг своей приник грудью, бегал босоногим мальчишкой. Здесь влюбился в небо. Влюбился отчаянно... И куда бы жизнь ни кидала потом Семена — на лесоразработки или на стройки, на новые дорожные трассы или на большой в степи поднимающийся завод, в Крым иль на Кавказ, — он нигде ни на минуту не расставался со своей голубой мечтой. Он жил небом. И они породнились — Семен и небо. Он стал летчиком.

Ушел из села совсем мальчишкой. А возвратился в отпуск богатырем. Он любил небо. Но не меньше — землю. Когда брал в руки косу, отец, всю жизнь не расстававшийся с ней, едва поспевал за сыном. «Если б не небо, — думал он в такие минуты, — добрый бы из тебя, сын, был хлебороб».

Так начиналось каждое утро каждого отпуска. И в каждый из отпусков непременно было другое. Вечерами, теплыми и синими, под раскидистым крепышом орехом, до первых петухов он засиживался с друзьями. И мечтал в те ночные часы Семен вслух. Забыв о танцах, досадуя на разошедшегося соловья, внимали ему восторженно константиновские хлопцы и девчата. Виделись им, неудержимым мечтателям с мозолистыми руками, уже в те тридцатые годы нескончаемые ряды стальных красавцев тракторов. Машины. Машины. Машины. В садах. На полях. На фермах. И яркое зарево электрических огней. И дворец на центральной площади. Как он умел обо всем рассказывать!..

— Сень, почитай стихи, а? — просили его потом.

Он не заставлял себя упрашивать. И впаивались в тишину чеканные строки любимейшего из поэтов: «Я счастлив, что я этой силы частица...»

Были это годы первых пятилеток, когда вся наша страна двинулась в социалистическое наступление, и он, наш земляк Семен Пархалуп, и сверстники его в ту пору своего и страны мужания особенно остро почувствовали ни с чем не сравнимую радость сопричастности к общенародным делам. Только тот, кто болел общей болью, кто самозабвенно любил свободу и счастье свое не мыслил без счастья всех, мог насмерть за это стоять и сражаться.

Шел 1936 год. Пылала испанская земля. Пылали ненавистью к фашистам, топившим республику в крови, сыны и дочери Страны Советов. В тот год погиб друг Семена — командир боевого звена Шариф Юсупов. И Семен, прижав к груди двухлетнего сына Шарифа, поклялся стать отцом малышу. Жить и бороться теперь за двоих. И не дрогнуть, если придет и к нему такой час.

Клятве этой он остался верен.

Теперь отцовской дорогой идут сыновья. Разные у братьев фамилии: Фуат — Юсупов, Валерий — Пархалуп, разные в их паспортах национальности: один — татарин, молдаванин — другой. Но дети одного отца, воспитанные в его духе одной матерью, несут они дальше по жизни его голубую мечту. Инженеры-авиастроители, они так же, как и он, беззаветно любят



Окончание. Начало на стр. 164

так вот он за рубеж их возил, показывал, работать на них учил...

Какими мы были?.. Вот гремела у нас веселая агитбригада, «синеблузники». На их выступления кто с удовольствием, кто с опаской, а собирались все. Были ребята в курсе всех заводских дел и умели по-доброму хорошего человека перед всеми за труд поблагодарить, но могли и всыпать, кому полагалось. Самое высокое начальство «синеблузников» боялось... Для хорошей работы человеку что надо? Все время ясно видеть цель. Знать, что от тебя требуется, и знать, кто тебе рабочее настроение портит. «Синеблузники» с этим отлично справлялись. В шутку даже на заводе поговаривали, что половиной выполнения плана Ростсельмаш им обязан. А заправлял агитбригадой один наш фрезеровщик, худой, длинный, дотошный такой парень, вечно куда-то спешил, кого-то искал. А главное, был он постоянно «настроен» на стихи. Четыре его строчки мы на правах ростсельмашевского гимна считали:

Мы машинами степи накормим,
Будет день — этот день будет наш!
Мы заменим слово «Мак-Кормик»
Большевистским словом «Сельмаш»!

Звали фрезеровщика Анатолий Софронов. Сегодня его стихи, и пьесы, и журнал «Огонек», главным редактором которого он является, знает, наверное, каждый...

Э, разве расскажешь, как жили? Вот у нас, к примеру, первыми в стране родились сквозные бригады. В чем их суть? Допустим, сквозная бригада в цехе сеялок. Сюда, на окончательную сборку этой готовой продукции, стекается продукция всех работающих на сеялку цехов. Во всех этих цехах сквозная бригада держит свои комсомольские посты. И если сборка вдруг тормозится, быстро и точно узнаешь, по какой причине, и можешь срочно принять нужные меры. XVI съезд партии рекомендовал опыт работы наших сквозных бригад предприятиям всей страны. Теперь сквозные, к сожалению, забыты. Понятно, многое в их структуре, в характере работы отжило вместе со временем, но вряд ли стоило забывать их совсем... Мы, старики, часто думаем об этом, особенно теперь, когда Ростсель-

---

небо и так же самозабвенно преданы земле, за которую отдал жизнь отец. Они — его продолжение. Его у них целеустремленность. Его упорство. Его отношение к людям и делам.

Сыновья поют не допетые им песни. И даже поэтов чтут и любят тех же. «Стоит начать одному, — рассказывает мать, открыв светловский томик на любой странице: «Дал я людям клятву на верность...» — как тут же подхватывает другой, читая на память свои любимые строки: «Богат я своею страною. Она мои судьбы вершит...»

маш перешел на выпуск нового, самого совершенного в мире на сегодняшний день комбайна «Нива». На «Ниву» работают сотни предприятий в десятках городов. Вот, думаем, создать бы сквозную бригаду по «Ниве» в масштабе страны! Было бы дело! Да ведь опыт наших сквозных — его изучать надо, анализировать, а молодым все, гляжу, некогда, все спешат...

В двадцать девятом году приезжал на Ростсельмаш Алексей Максимович Горький. Ходил по цехам, житьем, работой нашей интересовался. Ну ребята, понятно, счастливые, просят: «Скажите нам что-нибудь!» — «Что вам сказать? Ваша жизнь интересная, неоценимая. Это вам есть что сказать». Случился тут один каменщик, пожал плечами: «Жизня наша простая: кладем кирпичи, землю роем...» Алексей Максимович решительно не согласился: «Не простая ваша жизнь. Перед всем миром встает русский народ, небывалые заводы строит. Вы кирпичи кладете, а в буржуазных газетах какой вой идет — про ваш завод пишут, удивляются, не верят. А нам доказать надо. Всему миру доказать, и я верю — вы докажете!»

Оглядываемся теперь мы, первостроители, на прошлое, с чистой совестью говорим себе: доказали. Мы начинали новый мир при лучине строить — сегодня наши луноходы Луну бороздят. А мы видим прямую связь между ними и теми первыми ростсельмашевскими сеялками, которые казались нам когда-то верхом совершенства... Эпоха прошла перед нашими глазами, мы были ее рабочими, время учило нас порой жестко, но мы принимали все его уроки. Мы строили, и защищали построенное, и жизненный опыт копили для вас, для нынешних. Он огромен, потому что вместил в себя — слушайте! — целую эпоху. Это серьезно. Выдюжите под такой ответственностью вы? Мы спрашиваем вас об этом, быть может, слишком сурово. Но это потому, что мы хотим, чтобы вы были лучше нас, чтобы вы сделали доброго на земле больше, чем мы.

Сегодня трижды орденоносный Ростсельмаш — снова ударная комсомольская стройка. Завод реконструируется — время, время! — а по сути, рядом с нашим поднимется еще один такой же Ростсельмаш. Опять едут к нам молодые со всех концов страны. Я смотрю на этих ребят и нахожу среди них похожих на вечно молодого для меня Сашу Кудлаенко, на Мишу Тучкова, Сережу Новака. На тех, кого уже нет в живых. И я думаю: нет старости, продолжается наша жизнь, братва! И верю, что и для них, только еще вступающих в жизнь, Ростсельмаш станет таким же счастливым началом судьбы, каким был он для нас...

Записал В. БОЛТРОМЕЮК

НА ПЛОЩАДИ стоит памятник. Не зарастают к нему тропинки. И если одна из них приведет в этот уголок Молдавии вас, остановитесь у обелиска, обнажите голову. Минутой молчания почтите светлую память героя. И обязательно спросите свое сердце: так ли преданно бьется оно, так ли, как его, готово на все ради торжества жизни, ради счастья людей.

Р. ПЕЛИНСКАЯ

ОДИН ДЕНЬ С МАРИ РЕЙТАЛУ

МАРИ ПРИМЧАЛАСЬ с участка на велосипеде, сняла полевую сумку, протянула мне руку:

— Мария.

Я сидела возле грядки, рассматривала неброские растения. О том, что здесь, на острове Сааремаа, растут ботанические редкости, некогда покрывавшие нашу землю и вымершие почти повсеместно много тысячелетий назад, я слышала давно. И вот сейчас, в ожидании Мари, я рассматривала блеклые травинки. На грядке пятнами лежало солнце, вокруг не было ни души, и стиснувший поляну лес наводил на размышления о вечности.

Мари посмеялась над моей неосведомленностью и потащила в дом.

— Там, на грядке, — говорила она, взбегая по ступенькам, — ботаники из Таллина ставят опыты. А наши редкости, наши реликтовые растут в районе ключевых болот. И наблюдаем мы их не на грядках, а в той среде, где они существуют, где борются за свою жизнь.

— Вы, конечно, — продолжала Мари, — слышали о книге Рашель Карсон «Молчаливая весна»? Весна без пенья птиц без насекомых? О вреде пестицидов... О том, как человек отравляет землю... Для Америки это очень актуально.

Я пробежала глазами по корешкам книг, что стояли на полках: на русском, эстонском, английском языках — ботаника мир растений. По комнате, по всем углам и полочкам, — коренья и камни причудливой формы — подарки, которые дарит ей лес.

— Для Америки это очень актуально, — Мари подыскивает русские слова, поглядывая иногда на закрытый словарь. — Но отсюда не следует, что нас эти процессы не касаются. Сейчас в мире нет частных проблем, особенно если речь идет о природе.

Сто лет назад в отсталой России горстка дерзких преобразователей из кружка Петрашевского мечтала повернуть земную ось. Чтобы солнце растопило лед на полюсах, чтоб на планете поселилась «вечная

весна». Тогда планы эти казались утопическими грезами. Сегодня растопить арктические льды уже не проблема. Подсчитано: плотина через Берингов пролив обойдется в двадцать миллиардов рублей — не так уж много для такой прекрасной цели. Но есть препятствие, с которым невозможно не считаться. Никто с достаточной научной точностью не может сегодня сказать, как отзовется на этот акт природа. Арктические льды растают. Но где гарантия, что это изменение не вызовет, например, потопа или нового оледенения планеты?

— Да, — говорит Мари, — чем сильней вооружены мы технически, тем осмотрительней должны быть наши шаги.

Мы стоим на самом краю обрыва. Пятьдесят шесть метров над уровнем моря, Вийдумяги, Вийдусская гора. Макушка острова, что много тысяч лет тому назад однажды показалась из вод Анциллового озера. Сейчас здесь лес. Внизу, под обрывом, вокруг, впереди и сзади нас, насколько может охватить глаз, — лес. А восемь тысяч лет назад здесь плескались волны неспокойного озера, ставшего потом Балтийским морем.

— Земля меняет свое лицо,— задумчиво говорит Мари, — мы должны схватить суть этих перемен во всех взаимосвязях и зависимостях. В Гренландии росли когда-то пальмы, и по деревьям носились обезьяны. Кто может достоверно сказать, что вызвало оледенение Гренландии? Какие катаклизмы разразились над землей? Какими были вызваны причинами? Пока только гипотезы...

Мы спускаемся с обрыва и сразу попадаем на ключевые болота. Это особенность Вийдумяги. Здесь рядом, в двух шагах, живут растения горной тундры, болот и степной полосы.

— Истоки ключей нам пока неизвестны, и потому запрещены какие бы то ни было преобразовательные работы не только на территории заповедника, но и в его окрестностях. Внизу, на нижнем уступе Вийдумяги, могли бы быть роскошные луга. Надо только осушить болота. Но не нарушится ли регуляция воды здесь, наверху, в ключах? Не погубит ли это реликтовые? Здесь действуют сложные взаимосвязи. И, прежде чем что-либо предпринять, мы должны точно знать, что от чего зависит.

Каждые пять дней измеряют уровень воды в ключах. Каждые пять дней измеряют уровень в верхних колодцах. Из года в год. В течение нескольких лет. Чтоб предупредить случайность.

— Вот, — говорит Мари и склоняется над какой-то травкой, — жирянка альпийская. В мае все болото покрывается мелкими белыми цветами.

Быть может, в мае эта жирянка и заметна, но сейчас, чтоб ее разглядеть, надо присесть на корточки. Мы склоняемся над розеткой из мелких аккуратных листочков. На внутренней их стороне — я трогаю рукой — клейкие железистые волоски. Ого, жирянка-то, оказывается, насекомоядное. Такая безобидная, незаметная хищница. Здесь, на внутренней стороне листка, прячется ее сложная кухня...

— А это ситник подузловатый. Эндемический вид.

Я вижу стрелку, пикой торчащую из болота. Вот никогда бы не обратила внимания. Ни листьев, ни лепестков. А тоже, оказывается, редкость. Растет в Эстонии, и более нигде.

Мы ходим по земле, не осо-

бенно присматриваясь, что там у нас под ногами. Но есть на той же земле места, где каждая травинка взята на учет. И есть на земле люди, которые по долгу службы обязаны уметь смотреть и видеть. И люди эти делают подчас открытия там, где все давно казалось ясным и завершенным.

Мы медленно идем по заповеднику.

— Вот из таких сосен островитяне делали мачты для парусников.

Да, сосны Вийдумяги повидали много стран. Островитяне были мореходами.

— А это рябина ария. Двадцать восемь экземпляров. В Советском Союзе больше нигде не растет.

Я срываю фиалку.

— У нас на острове ее зовут ночной скрипкой. Поэтесса Дебора Вааранди посвятила ей стихотворение.

Дебора тоже родилась на Сааремаа.

Мы идем по заповеднику и говорим о том, как сложна и причудлива окружающая нас природа. И что пока мы можем только удивляться, как такое загадочное явление, как растительный мир — это великое разнообразие форм, красок и ароматов, «собрано», в сущности, из трех десятков простейших химических элементов. Природа работает экономно. Человек еще так не умеет. Подсчитано, что на создание нескольких кучевых облаков человек должен бросить энергию всех гигантских электростанций «Большой Волги». Природа ту же работу выполняет незаметно, без напряжения. Мы должны обучиться у нее «организации» — этому волшебному свойству материи, законы которого еще не раскрыты. Вот почему так пристальио вглядывается сегодняшняя наука в процессы, происходящие в микромире. Мы должны благоустроить мир большой. Мы не сможем этого сделать, не познав всю совокупность явлений, происходящих в биологических механизмах.

Мы идем по заповеднику, по древней земле, сохранившей жизнь растениям ушедших климатических периодов. И Мари говорит о «погремке», том самом «погремке», который пришел сюда с Балкан, когда там наступило потепление, который вот уже много лет подряд пристально изучается геоботаниками. Как удалось ему уцелеть с ледниковых времен? Как он попал сюда, на остров? Быть может, его семена занесли сюда волны или принес ветер, а может, перелетные птицы, облюбовавшие для гнездования этот кусок земли?

Заповедник разбит на квадраты. Раз в десять лет фенолог обязан фиксировать все происшедшие в квадрате изменения. В заповеднике время идет не спеша. Но Мари живет напряженным ритмом. Вчера — певческий праздник в Кингисеппе. Сегодня — репетиция в Люмандае, Мари садится на велосипед. Семь километров туда, семь обратно. И уж где-то ночью раскроет она учебники. Она работает над диссертацией. А утром приедет Фред Юсси, орнитолог из Таллина, и надо будет заняться сценарием. Они готовят фильм о Вийдумяги.

МЕДЛЕННО КАТИТСЯ к закату солнце. Мне пора уезжать. Кончается день в Вийдумяги. День, в котором для меня сошлись столетия. Автобус мчится на большой скорости, и вот Вийдумяги позади.

Э. ДАНИЛОВА

НОВОЕ О СТАРОМ

По-видимому, одним из первых пассажиров лифта был римский император Нерон. Его доставляли на второй этаж дворца на пышно украшенной платформе с перилами. Поднимали ее на канатах двенадцать рабов под присмотром двух начальников. Следовательно, «возраст» лифта — более двух тысяч лет.

Французские ученые открыли в архивах интереснейшую страницу в истории математики.

Средневековый ученый Жербер Орийяк, совмещавший занятия науками с архиепископским саном, стал в конце жизни папой римским под именем Сильвестр II. Воспользовавшись властью, он стал внедрять в школах тогдашней Италии десятичную систему счисления. Именно за это церковники обвинили его в ереси и в союзе с дьяволом. Они истошно кричали, что папа стал «сарацином» — имелось в виду увлечение Сильвестра II работами арабских математиков. Не выдержав травли, он слег и вскоре скончался. Но не дали ему покоя и после смерти. Церковный суд потребовал наполнить его саркофаг серой, чтобы там не завелись черти...

Близ Ямайки водолазы подняли со дна моря испанскую пушку. Как оказалось, она была отлита в 1631 году в Центральной Америке. Анализ металла дал поразительный результат: бронза содержала легирующую (улучшающую качество) добавку — платину. Это единственный факт подобного рода, относящийся к XVII веку. Хорошо известно, что европейцы в то время не умели плавить платину. Предполагают, что испанцам помогали индейцы — местные мастера из покоренных ими стран. Они применяли способ легирования металлов при отливке изображений бога солнца.

Префект парижской полиции в конце прошлого года составлял сводку уличных происшествий. Ему пришло в голову сравнить полученные печальные цифры с далеким прошлым. Он попросил архивариуса откопать ему аналогичную сводку, относящуюся к началу века. Нашлась официальная справка за 1909 год, когда на улицах Парижа двигались в основном фиакры и кареты, а машины были крайней редкостью. Вот о чем поведала статистика. Сейчас автомобили в год сбивают примерно 12 тысяч пешеходов. А под колеса карет попадало около 19 тысяч парижан...

При строительстве подземного пешеходного перехода на одной из центральных улиц Софии рабочие натолкнулись на огромные плиты из светлого песчаника, затем были обнаружены гранитные блоки и кирпичная кладка. Приглашенные на место находки археологи и историки определили, что в этом месте около двух тысяч лет назад стояла военная крепость, построенная римскими легионерами. Она была разрушена во времена господства византийцев.

В настоящее время благодаря усилиям болгарских архитекторов остатки крепости органически вошли в конструкцию перехода. Пешеходы идут по камням фундамента крепости и видят остатки массивных крепостных стен.



Где следы инопланетян?

ЛЕТ ДВАДЦАТЬ назад на одном из симпозиумов в США осторожную постановку такого вопроса вполне респектабельные ученые встретили откровенным смешком. А вот в наши дни подобные проблемы спокойно обсуждаются на международных конгрессах... В связи с этим характерна эволюция взглядов одного из маститых астрофизиков Великобритании. В 1949 году он официально ответил журналистам, что заниматься вопросами внеземных цивилизаций и особенно контактов с ними губительно для его научной репутации. Через десять лет он сказал им с превеликой осторожностью, что относится к этой идее сочувственно. А еще через три года причислил ее к наиболее важным проблемам, стоящим перед современной мировой наукой...

Американский экзобиолог, уроженец Цейлона, Сирил Поннамперума высказался еще более решительно. Ученых, скептически относящихся к существованию разумной жизни на других планетах и к проблеме контактов, он поставил в один ряд с мракобесами Ватикана, приговорившими Джордано Бруно к сожжению на костре.

ИТАК, НЫНЕ ни один серьезный исследователь не называет эту проблему абсурдной. Нет сомнений в том, что человечество не единственная разумная цивилизация во Вселенной. Таков закономерный вывод из всех наших знаний в области астрономии, физики, математики, биологии и философии.

Один из астрономов подсчитал, что в нашей Галактике около 50 миллиардов планетных систем. По оценкам другого, сейчас может существовать до миллиона высокотехнических цивилизаций, способных к перемещениям из одной звездной системы в другую. Третий утверждает, что согласно математическим расчетам прилет инопланетных астронавтов на Землю мог произойти примерно 5500 лет назад.

Но если вероятность посещения Земли отлична от нуля, то где же искать «визитные карточки» инопланетян!

Некоторое время эти «карточки» искали лишь энтузиасты, от непомерного увлечения которых дипломированные специалисты болезненно морщились. Энтузиасты искали прежде всего космодромы инопланетян. Где они могли быть!

Перед второй мировой войной в перуанской пустыне Наска случайно обнаружили гигантские линии, квадраты, круги, спирали. Были расчищены от песка и параллельные канавки, тянувшиеся на полтора-два километра. Все линии были сделаны с большой точностью. Одни из них тянулись с севера на юг, другие указывали на точки восхода и захода солнца. Кто же оставил здесь эти таинственные знаки!

Почти в то же время среди этих линий археологи обнаружили изображения огромных птиц, животных, насекомых. Кому понадобилось изображать в пустыне паука длиною 120 метров или орла с таким же размахом крыльев!

Ответ на все вопросы пришел примерно 20 лет назад. Нет, это не были следы пришельцев из космоса. Со всей очевидностью удалось установить, что канавки на каменистом плато прорублены примитивным инструментом 1700 лет назад. Сказочные по размерам рисунки и фигуры — творения индейцев племени наска, представителей высокоразвитой доинкской цивилизации.

Диковинные изображения животных, различные группы линий и геометрические фигуры — все это относится к уникальному сельскохозяйственному календарю. Снимки, сделанные с самолета, и топографическая съемка на местности ясно показали, что древнейшие земледельцы Южной Америки создали своеобразный календарь — астрономический справочник, позволявший определять по солнцу и звездам любой день недели. Жрецы указывали крестьянам начало и конец полевых работ, время возможных засух или разливов рек.

Баальбекская терраса в Сирии — циклопическая постройка, состоящая из тысячетонных плит, которые были вырублены у подножия горы, а затем непонятным образом подняты наверх. Разве это не идеальная стартовая площадка для космического корабля! Выбрано глухое место и создано нечто вроде мраморного космодрома... Миф о «космическом» происхождении Баальбека держался долго. Всех удивлял громадный вес монолитных глыб и удивительная степень шлифовки их поверхности. Самые

По материалам зарубежной печати.

сенсационные статьи журналистов, сторонников идеи звездных пришельцев, относятся именно к этим загадочным камням в горах.

Во всем разобрались археологи, изучавшие технику обработки камня древними людьми. Микроскопы позволили им увидеть здесь явные следы ручного труда. Мозолистые руки рабов-каменщиков, а не инструменты астронавтов создали Баальбекское чудо. По приказу малоизвестного римского императора Антония Пия здесь в середине II века нашей эры предполагалось воздвигнуть храм Юпитеру. Терраса, очевидно, была задумана как фундамент всего сооружения...

Значительно сложнее было установить происхождение каменных шаров, обнаруженных в тропических лесах Гватемалы, Коста-Рики и Мексики. Все они оказались исключительно правильной формы. Не служили ли они посадочными знаками и не оставлены ли астронавтами до следующего прилета?

Года три назад в Коста-Рику и Мексику отправилась большая экспедиция. Она нашла не два-три и не сотню, а десятки тысяч шаров. «Какими же приборами и станками пользовались древние мастера, и где их мастерская?» — задавали себе вопрос ученые. После полугодовой работы выяснилось: во-первых, расположение в лесах и долинах этих «каменных ребусов» носило случайный, хаотический характер; во-вторых, «мастерской» оказался... вулкан третичного периода в Западной Мексике. Сферообразные глыбы диаметром от 30 до 300 сантиметров образовались около 40 миллионов лет назад, когда в Центральной Америке вдруг проснулись горы. В долины хлынули потоки лавы и тучи пыли. При высокой температуре в пепле происходила кристаллизация отдельных стекловидных частиц. Круглое ядро выделяло газы равномерно во все стороны, формировалась точная сфера. Последующие смены климатов и эрозия вытолкнули шары на поверхность...

ИТАК, реальных следов пребывания звездных пришельцев на Земле пока не найдено. Но стоит ли отказываться от самой идеи поисков? Конечно, нет. Ведь преодоление гравитационных оков, выход за пределы своей планеты и поиск средств для прямых контактов — неизбежный этап в развитии любой цивилизации.

По-видимому, «визитные карточки» инопланетян стоит искать не на самой Земле, а в ее ближайших окрестностях. Если астронавты посещали нас в прошлом и надеялись на последующие контакты, они должны были выбрать способ, соответствующий их уровню. Оставлять что-либо на Земле — весьма ненадежно, так как планета наша подвержена воздействию атмосферных условий, в ее недрах не прекращается вулканическая деятельность и т. д.

На Луне тоже есть свои загадочные линии. Речь идет о светлых лучах, веером расходящихся от лунного кратера Тихо. Они заставили многих астрономов годами проводить бессонные ночи у телескопов. Какова природа этих лучей? Они пролегли через лунные моря, горные цепи, трещины и днища других кратеров, образовав прямые и непрерывные полосы на сотни километров. Ни одно препятствие не меня-

ет их точного направления и равномерности в окраске. Можно подумать, что нанесены они какой-то фантастической краской. По характеру отражения света этими полосами астрономы определили, что они не могут состоять из пепла или другого мелко раздробленного материапа. Края лучей не отбрасывают теней, следовательно, они не могут быть и потоками лавы или насыпями. Линии совершенно плоские.

А может быть, это результат сознательного замысла инопланетян, сделавших кратер Тихо центром сходящихся лучей, чтобы привлечь наше внимание к этому участку лунной поверхности! Ведь оставить определенную информацию на Луне было бы с их стороны делом более целесообразным, чем на Земле, где она не может храниться тысячелетия.

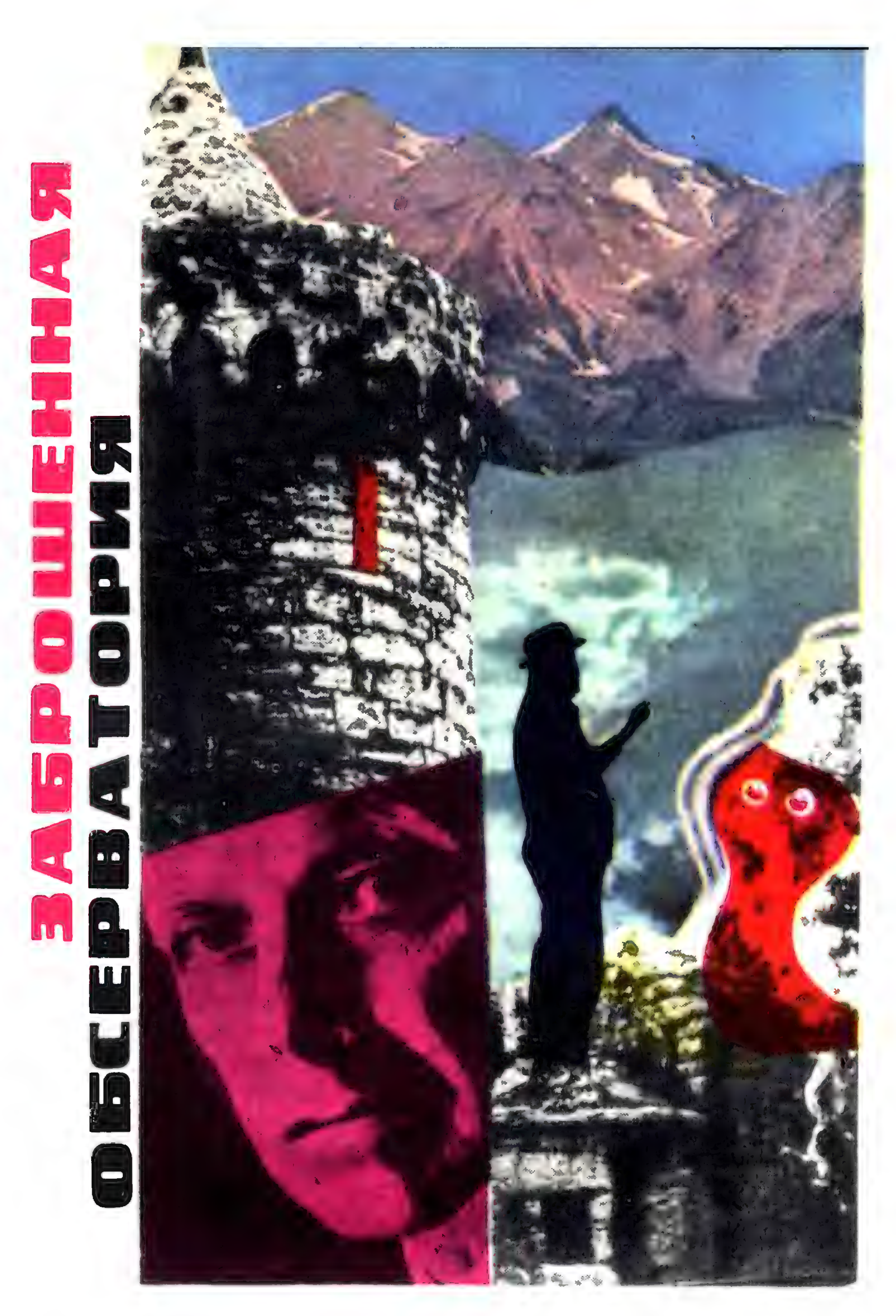
На краю видимого лунного диска имеется еще более непонятный объект — гора Варгентин. В отличие от других она расположена выше среднего уровня лунной поверхности. Некоторые астрономы утверждают, что гора похожа на обычный лунный кратер, заполненный до краев каким-то плотным веществом. Верхняя площадка горы удивительно ровная, без единого следа от ударов метеоритов. Что же это за вещество! Больше нигде на поверхности нашего спутника нет подобного странного образования. Заманчиво предположить, что внутри Варгентина под его сверхпрочной крышкой находится склад с удивительными вещами, когда-то законсервированными разумными инопланетянами...

Пришельцы из других миров могли оставить нам специальные капсулы с информацией и на некоторых астероидах, орбиты которых вытянуты и пересекают орбиты нескольких планет, в том числе и нашей. Вспомним еще и о кольцах Сатурна. Каково их происхождение! Существует много гипотез, однако ученые вынуждены признать, что только космонавты, посланные с Земли для непосредственных исследований загадочных колец, смогут установить их состав и происхождение. Если же предположить, что кольца созданы искусственно, скажем, с помощью взрыва одного из спутников Сатурна, то почему не допустить, что вместе с космической пылью и метеоритами в плоском слое крайнего к нам кольца вращаются подарки инопланетян — запаянные металлические шары или цилиндры...

Астрономы считают, что инопланетяне, если они побывали «в наших краях», могли оставить о себе память в особых точках космического пространства, называемых точками либрации. В этих «узловых станциях» взаимно уравновешиваются силы, действующие на движущееся тело. Посторонние возмущения могут вырвать тело из этого места, но оно обязательно вернется в точку либрации. Капсула, доставленная в точку устойчивого равновесия, попадет в вечную кладовую. Подходящие точки либрации, по мнению астрономов, есть в системе Земля — Луна и особенно — в системе Солнце — Юпитер.

Вопросы и задачи, относящиеся к проблеме «визитных карточек» инопланетян, ученые только начали ставить. Перспективы дальнейших поисков и находок необъятны и захватывающи.

Г. МАЛИНИЧЕВ



ЗАБРОШЕННАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

Джин РЭЙ

Рассказ

— Я ПОРЯДОЧНЫЙ человек и поэтому хочу вас предостеречь, — ворчливо начал проводник, горец Эстебан. — Полтора года назад я сопровождал господина Грондара. Шесть месяцев спустя, когда дорога вновь установилась, мы пришли за его останками. Три года назад по этой тропинке я шел с профессором Майером, а потом с другими людьми сносил его тело в долину. Честно говоря, я не понимаю, почему вы не опасаетесь за свою жизнь и рискуете остаться на этой проклятой обсерватории...

Старый горец с завистью оглядел крепкую фигуру

спутника. Действительно, это был отличный парень, широкоплечий, с торсом атлета. Внимательно взглянув на проводника, он неожиданно улыбнулся.

— Я ведь англичанин, Эстебан, и так просто от страха не умру.

— Вы считаете, — возмутился горец, — что господин Грондар боялся? Для мечтателя, который всю жизнь разглядывал звезды, у него были слишком крепкие кулаки, да и страха он испытывал ничуть не больше, чем вы.

— Возможно, — согласился англичанин. Ему не хотелось продолжать дискуссию. — Мне кажется, мы наконец приближаемся. Н-да... Пейзаж как на Луне.

Трудно было представить себе что-либо более дикое и фантастическое, чем этот пиренейский пейзаж. Перед ними громоздились гранитные и базальтовые скалы. Зазубренные гребни вершин сменялись острыми краями пропастей. Англичанин указал на одинокую площадку, вырубленную в скале, коническая вершина которой была устремлена в небо. Там виднелось необычное строение.

— Это и есть обсерватория... — сказал проводник. — Четверо ваших предшественников погибли там при невыясненных обстоятельствах. Если бы вам довелось увидеть их лица. На них застыло выражение неописуемого страха... Взглянув на них, вы, пожалуй, ни за что не остались бы в этой скалистой пустыне, где нет ни души. Жить в одиночестве, питаться консервами и разглядывать звезды, на которые можно смотреть и в другом месте!..

Подход к обсерватории был труден и опасен, астроном несколько раз оступился и поранился до крови, что вызвало новые замечания проводника.

— Клянусь, это предостережение. Не пройдет и нескольких дней, как Конь-привидение появится в этом проклятом месте!

— Конь-привидение?

— Вы не слышали о нем? Он охотится на смельчаков, забредших сюда, в его королевство, и уносит их души в ад.

— Эстебан, дорогой, достаточно. Сними-ка тюки с мулов. Вот твои деньги. Дни еще достаточно долгие, ты успеешь спуститься в долину до наступления сумерек. Счастливого пути и доброй ночи.

Ученое собрание, отправившее молодого человека на ночные бдения в этот забытый богом уголок Пиренеев, не отличалось, по-видимому, умением подбирать людей. Это был настоящий лентяй, во всяком случае, так можно было подумать, понаблюдав за его действиями. В первый день он еще поболтался возле телескопа, закручивая и откручивая винты до тех пор, пока чего-то там не испортил. После этого медная труба стала упорно целиться в долину, вместо того чтобы смотреть в простор неба. Затем астроном набил табачной смесью свою громадную трубку и принялся знакомиться с Диккенсом, полное собрание сочинений которого он прихватил с собой.

На седьмые сутки, когда была перевериута последняя страница «Записок Пикквикского клуба», он вышел подышать вечерним воздухом. В лунном свете горы казались бледно-серыми. Где-то далеко слышались раскаты грома; полет ночных птиц придавал этому грозному окружению таинственность...

«Что за странная ночь... Пожалуй, становится страшновато, — думал астроном. — Еще немного — и я начну боксировать с какимнибудь чудищем...»

Он начал тихо пробираться вниз, держась в тени и словно опа-

Знакомьтесь: Владимир Чернышев

Владимир Чернышев, студент 4-го курса Московского авиационного института — участник Универсиады-73. Это не первое участие Владимира в соревнованиях подобного рода. Воспитанник «Буревестника», он в составе сборной СССР по волейболу защищал спортивную честь нашей страны три года назад, на Универсиаде в Турине.



Несмотря на свою молодость, Владимир уже ветеран волейбола, его спортивный стаж — одиннадцать лет. Играя в составе юношеских команд, он дважды становился чемпионом среди юниоров. В 1972 году команда «Буревестника», за которую он выступал, завоевала кубок СССР.

Влюбленный в авиацию, Владимир Чернышев считает, что в его будущей специальности спорт отнюдь не помеха, а стимул в плодотворной научной работе.

саясь, что во мраке на него могут напасть бесчисленные враги. Вдруг он закричал... Ниже, где тень была гуще, в ста шагах от него что-то пошевелилось, а потом тишину нарушили странные звуки. Казалось, невидимая рука потрясла огромным скелетом. Молодой человек прижался к скале. Это что-то приближалось скачками, белея странными формами на черном фоне неба...

— Конь! Конь-привидение! — закричал англичанин и бросился назад, к обсерватории.

Привидение с грацией удалилось в сторону долины.

Ученый зажег керосиновую лампу. И вдруг застыл. Еще горящая спичка выпала из пальцев. Он с трудом глотнул воздух и, как мертвый, повалился на пол.

Около телескопа сидел монстр, воплощение чудовищности: громадное бело-серое туловище, горящие зрачки, клыки, козьи рога и лапищи — огромные, черные, когтистые...

И тогда страшилище захохотало.

В этом было все дело. Сердечный приступ или шок — на выбор.

В центре ядерных исследований в Гренобле (Франция) успешно проведен эксперимент, цель которого — сохранить ценные произведения искусства. Древнеегипетская деревянная кукла, изготовленная несколько веков до нашей эры, была пропитана смолой и подвергнута затем облучению. Радиацией, полученной от кобальта-60, на поверхности куклы удалось полимезировать тонкий слой акриловой пластмассы, устойчивой к атмосферным и биологическим воздействиям. Опыт открывает интересные перспективы и в решении проблем защиты архитектурных памятников от вредных газов в городах.

Все чаще нефть добывают со дна морей и океанов. Это требует сооружения специальных конструкций, способных выдерживать штормовой напор волн. В Норвегии строится большой искусственный остров из бетона, который будет представлять собой хранилище добытой в море нефти. Резервуар рассчитан на 140 тысяч тонн «черного золота». Устойчивость сооружения обеспечивается специальной конструкцией высотой с 30-этажный дом со множеством «окон» — отверстий, через которые будут переливаться морские волны. Для постройки острова-нефтехранилища понадобится более 215 тысяч тонн бетона.

Копаясь в старых манускриптах, житель Генуи Р. Босколо нашел труд, помеченный 1561 годом, в одном из разделов которого средневековый астролог Нострадамус прорицал, что 17 ноября 1972 года для всего лигурийского побережья наступит «конец света».

Босколо переиздал этот раздел с предсказаниями астролога, снабдив брошюрку своими комментариями, из которых следовало, будто Нострадамус обладал «знаниями, до которых еще не поднялась современная наука». «Конец света» он предлагал понимать как катастрофическое землетрясение, сопровождаемое цунами. Делался вывод, что Генуя неминуемо превратится в развалины, по

Восемь дней пребывания на такой высоте ослабляют сердце, а потом — сильный страх, и все в порядке.

Вдруг страшилище подскочило. Астроном, улыбаясь, стоял на ногах. В руках его поблескивало по револьверу.

— Эстебан, дорогой, я разрешаю тебе снять только маску. И ничего более... Клянусь, я никогда не промахиваюсь. Представляю, как сильно астрономы мешали контрабандистам. Ты ведь у них важная персона... Неплохо было задумано, а? Ставка на чувство страха!

— Что ты болтаешь, проклятый звездочет?

— Между прочим, я даже не знаю точно, каково расстояние от Земли до Луны. Кстати, можешь называть меня мсье Лемпарье. А теперь бери мои чемоданы — и пойдем. Через два часа мы будем на посту жандармерии. Там уже ждут тебя с понятным нетерпением... Позволь мне еще добавить: ты имеешь право на мою признательность, ведь благодаря тебе я познакомился с Диккенсом поближе. Это действительно отличный писатель!

Перевел с английского Н. Пащенко

которым будут гулять гигантские волны...

Обыватели поверили в грозное предсказание. В тот день не работали кинотеатры, рестораны и даже некоторые учреждения. Многие паникеры постарались убраться в глубь страны. А типографии выпускали газеты, в которых говорилось, что на следующий день вся Италия будет смеяться над Босколо, Нострадамусом и суеверными генуэзцами. Это предсказание и сбылось.

Недавно для знаменитого испанского тореадора Хосе Луиса Монсанареса наступил черный день. На арене в Бильбао он неожиданно оказался перед... протестующим быком. «Отбросив» вековые правила игры и решительно отказываясь убивать или быть убитым, «интеллигентное» животное превратило корриду в цирковой фарс. Ошеломив Монсанареса серией фальшивых ударов, бык начал швырять его во всех направлениях, словно мальчишку. Тореадору не посчастливилось даже быть раненым. Публика наградила умное животное бурей аплодисментов...

В пригороде Нью-Йорка некий Элиас Фергюсон выстроил себе дом... из бумаги. Он собрал 100 тысяч старых газет, аккуратно сложил их и склеил. Так возникли стены домика... Мебель была изготовлена из подобного же материала. «Бумажную виллу» посещает множество любопытных, с которых предприимчивый владелец взимает плату за осмотр. Фергюсон надеется, что в скором времени сможет приобрести обычный дом.

Неприятный сюрприз ожидал на суде жителя Лондона Роя Митчелла, подавшего жалобу на своего соседа за нарушение ночной тишины. Сосед объяснил суду, что он попросту с соответствующей громкостью прокрутил магнитофонную ленту с записью шума попойки, который доносился предыдущей ночью из квартиры... обвинителя (истца).

Группа психологов из штата Флорида, занявшись статистическими подсчетами за несколько лет, выяснила такой интересный факт: период массовых прогулов у студентов начинается примерно за двоетрое суток до ураганов или тайфунов. При этом отмечена специфическая деталь: студенты жалуются на угнетенное состояние, при котором «противно даже смотреть на книги или выслушивать что-либо умное».

Не могут ли ученые использовать такой фактор для точного прогнозирования стихийных бедствий? Ведь болят же кости у старушек перед ненастьем...

Старинная профессия гейш в современной Японии вымирает.

В городе Кобе приверженцы традиций устроили весьма необыкновенные торжества. В праздничной обстановке проводили на пенсию старейшую гейшу страны — 88-летнюю Киокому Ханукама. 71 год прослужила она в чайном домике, встречая и провожая по всем правилам гостей. Устроители этого спектакля привлекли для рекламы радио и телевидение, пригласили с десяток фоторепортеров и более ста почетных гостей. Но вряд ли все это поможет сохранить древний обычай...

Шведский врач Нильс Олаф Якобсон издал в Англии и ФРГ свою книгу «Жизнь после смерти». О научной ценности этого «труда» могут свидетельствовать хотя бы два параграфа. В первом из них утверждается, что после клинической смерти наступает здоровый спокойный сон. Жизнь человека продолжается, ибо душа его не может замечать разницу между реальной жизнью и сном. Во втором повествуется об эксперименте, в результате которого была измерена масса человеческой души. Якобсон поместил умирающего пациента на медицинские весы и дождался момента, когда тот «испустил дух». По утверждениям врача, весы показали уменьшение массы ровно на 21 грамм. «Мне первому довелось узнать вес бессмертной души человека!» — восклицает автор.

«Кто он? — спрашивают газеты. — Великий ученый или шарлатан?»

Выбрать одно из этих определений нетрудно...

Леонард ВАЛЛИХТ

ПЕПСИ...ПИПСИ

Рассказ

Это была не то глина, не то желатин — что-то вроде ваты или зубной пасты. Главный химик положил ЭТО на стол директора.

— Пожалуйста, взгляните Проба именно ЭТОГО.

Директор с интересом посмотрел на вещество.

— И неизвестно, что это такое?

— Нет.

— Хм, блестит.

— Днем. Ночью фосфоресцирует.

— Не тонет?

— Не тонет.

— Сжимается?

— Не установлено.

— Так это, наверное, тексипексит.

— Не думаю. Тексипексит горит бездымно, а этот страшно чадит.

— А как ведет себя при низких температурах?

— Трещит.

— Тогда это пиксификсон.

— Если бы это был пиксификсон, мы давно взлетели бы на воздух.

— А в спирте растворяется?

— Растворяется.

— И как?

— Никак. Пить можно.

— Неужели это фиксотоксон?

— Мы тоже сначала так думали. Только у фиксотоксона запах сильнее.

— Что же это такое, черт возьми? Крысы едят?

— Едят. И дохнут.

— А мухи?

— Мухам хоть бы что.

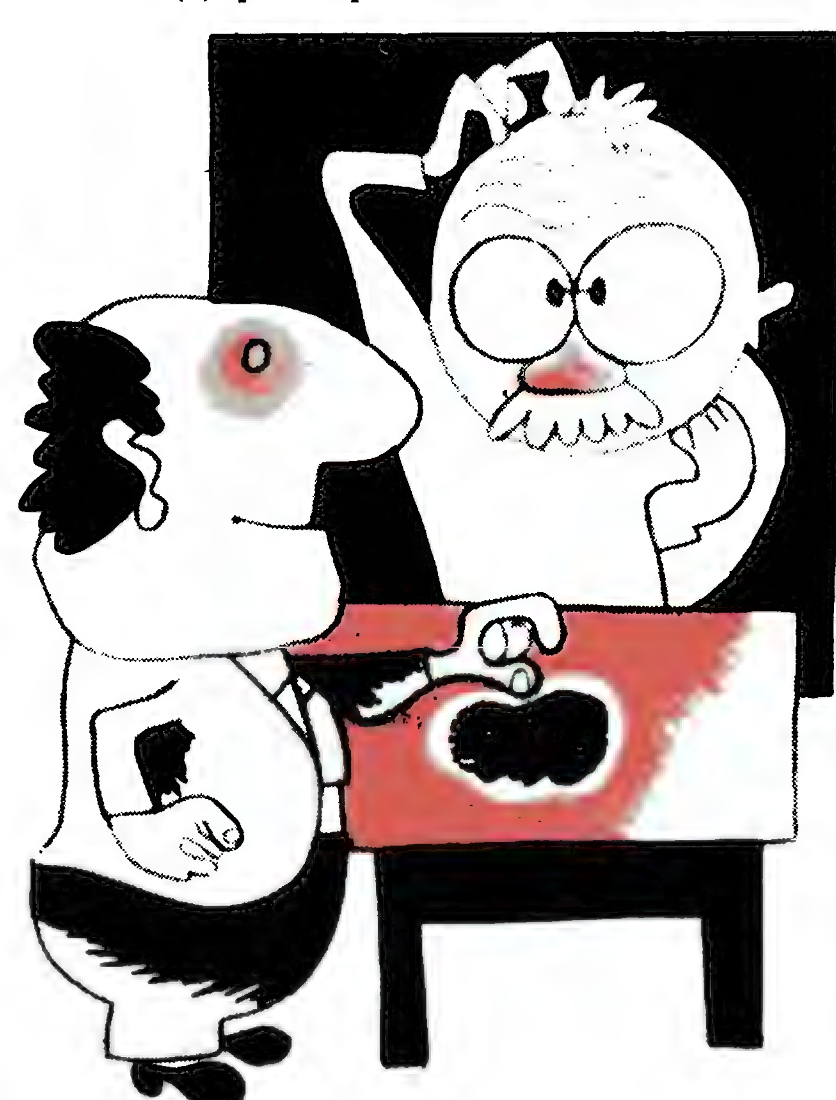
— Тогда это клексилаксон доплекс.

— Скорее уж лаксиклаксон трыплекс. Клексилаксон пенится.

— А лаксиклаксон испаряется.

— А может, это клексипиксон?

Директор встал из-за стола



— А может, антиматерия? Нет, коллега. Поэкспериментировали с новым ассортиментом, и хватит. С завтрашнего дня снова переходим на замазку!

Перевела с польского
С. РОДЗЕНЬ

ДЖИГИТ —

это настоящий мужчина

Ипподром скандировал: «Зе-ка-шев! Зе-ка-шев!» А жокей в голубом камзоле еще, казалось, не пришел в себя после трудной скачки, после нелегкой победы. Впрочем, для тренера-жокея международной категории 94-го конного завода Кабардино-Балкарии Анвара Зекашева такие победы — дело привычное.

Не успел он выпрыгнуть из седла — сразу интервью.

— *Можете ли Вы выражение «в седле родился» принять на свой счет?*

— Родился, может, и не совсем в седле, но вот домой, к родителям, из детского сада, что в ногайском селении Канглы, верхом на коне убегал не раз: пользовался соседством колхозных табунов. Вероятно, сказалось влияние родного дяди — одного из лучших наших жокеев Чабана Тотаришева. С тех пор прошло двадцать три года, а я все в седле.

— *Куда же Вас за эти двадцать три года заносили быстрые ноги ваших скакунов?*

— В США, Францию, Австрию, ФРГ, ГДР, Чехословакию, Польшу и другие страны. В позапрошлом году в Праге на ипподроме «Великий Кухля» за один день выиграл все шесть скачек. Получил столько разных кубков и подарков, что еле унес. Потом местная газета писала, что за сто лет существования их ипподрома не было случая, чтобы один человек выиграл бы больше пяти раз. А для меня это был вовсе не рекорд. Когда-то в Алма-Ате из пятнадцати скачек победил в тринадцати... Тринадцать у меня вообще число счастливое: родился — 13-го, женился — 13-го, в Париже два раза побеждал под 13-м номером и уже два раза получал 13-ю зарплату.

— *Вся жизнь — соревнование. Наверное, Вы вообще азартный человек!*

— Да нет, не очень. В «Спортлото» не участвую,



лотерейных билетов не покупаю... Но зато ради победы приходится азартно жертвовать разными житейскими радостями. Мой вес — 63 килограмма, но по жокейским правилам я могу позволить себе лишь 53. Значит, любимое хинкали не поешь... А о коньяке, кахетинских винах, пиве и о других крепких напитках даже и не помышляю. Все это заменяет крепкий чай. Раньше поддерживать спортивную форму помогал велосипед: от дома до работы — 35 километров. Теперь обленился: предпочитаю электричку.

— Как Вы понимаете — кто такой джигит?

— Джигит — это настоящий мужчина. Чтобы быть джигитом, мало только отлично держаться в седле. Джигит честен, мужествен, благороден... Надеюсь, что все читатели «Молодой гвардии» — настоящие джигиты.

— Какое главное качество требуется от человека, чтобы стать жокеем?

— Терпение. Судите сами. Чтобы стать просто жокеем, надо выиграть в скачках сто раз. Чтобы стать жокеем первой категории — двести. Мастер-жокей — это уже триста побед. А жокей международной категории имеет за плечами не меньше пятнадцати высших призов на международных соревнованиях. У меня их пока тридцать четыре, и терпения пока тоже хватает.

— Есть ли среди Ваших скакунов особенно любимые?

— Каждый — особенно любимый. Для победы необходимо быть всегда уверенным в своем четвероногом партнере — и тогда он не подведет. Сегодня в первом заезде не подвел Рамис, в пятом — Дельфин, а в этом, последнем, — Репортер. Жаль, что он не говорит, а то бы сейчас состоялась забавная «беседа»: репортер интервьюирует Репортера...

— Какой вид транспорта предпочитаете в городе?

— Собственные «Жигули», в которых, кстати, силы тоже лошадиные. Шестьдесят — целый табун!

Лев СИДОРОВСКИЙ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Вернисажи в Центральном выставочном зале — всегда большое событие в культурной жизни страны.

Девизом выставки «На страже Родины», организованной Министерством культуры СССР, Союзом художников СССР и Главным политическим управлением Советской Армии и Военно-Морского Флота, стали слова Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева «ВСЕ, ЧТО СОЗДАНО НАРОДОМ, ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕНО», произнесенные им на XXIV съезде партии.

Представленная более чем полутора тысячами экспонатов — произведениями живописи, скульптуры, графики, — она наиболее полно показывает боевое прошлое и сегодняшние будни всех родов войск Советской Армии, весь боевой путь наших славных Вооруженных Сил. Неудивительно, что на выставке экспонируются картины, графические листы и скульптура мастеров всех поколений — от известных баталистов-грековцев до совсем молодых еще художников всех братских республик страны.

Мы публикуем на наших страницах репродукции четырех работ молодых художников — И. Базеляна, К. Шебеко, И. Бройдо и А. Атаяна.

И. Базелян. Всегда в нашей памяти ратные подвиги отцов.

К. Шебеко. На самой, самой северной заставе.



А. Атаян. Вечерняя бухта.

И. Бройдо. И днем и ночью (из триптиха «ПВО»).



молодая
зарубежная
поэзия

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

«Без песен пир — не пир», — говорят в монгольском народе. Поэзия, песня издревле живут на монгольской земле. Народная песня всегда вбирала в себя радость и горе, глубокую и искреннюю любовь к родине, к широкой степи, к горячему коню, нежную почтительную любовь к матери. Песня возвестила и о рождении новой монгольской литературы в первые дни народной революции 1921 года. С тех пор монгольская поэзия равняет свой шаг с жизнью страны, народа.

За полвека народной власти в литературу пришло несколько поколений писателей. Каждое новое поколение продолжает нести эстафету высокой гражданственности, патриотизма, проникновенной любви к родной земле. Именно этими чертами отличается и творчество молодых монгольских поэтов, выступающих на страницах журнала «Молодая гвардия».

Ш. СУРЭНЖАВ

СОЛДАТЫ ПОЮТ

Что думается нынче молодым?
Поют, поют вполголоса солдаты.
И вновь сердца их тянутся к родным,
О самых близких думают ребята.
Они опять свои приветы шлют
Отцам и матерям светло и нежно
Отсюда, где палаточный уют
Сроднился с дисциплиною железной.
Что думается нынче молодым?
Их песня широко и звонко льется,

Она сквозь горы, через реки рвется
К подругам
и мечты уносит к ним.
Она о расставаньях речь ведет,
О снах, в которых губы милой рядом,
Такая песня за душу берет
И дымкой грусти чуть туманит взгляды.
Что думается нынче молодым?
О юности и о счастливой встрече,
Когда растает ночи синий дым
И ласково заря падет на плечи.
Что думается нынче тем, кто юн?
Хранить им свято родичей могилы
И мирный свет своих родных аилов,
И очагов тепло, и пенье струн.
Что думается нынче тем, кто смел?
Они поют о верности присяге,
О том, что строй борцов не поредел,
Что кровь отцов струится в красном флаге
И что сыны, позора не приемля,
Сумеют отстоять родную землю.

РУССКИЙ ЛЕС

Лес — ряды серебристых и светлых берез,
Что в шелках, как невесты погожие, встали.
Рядом сосны и кедры с ветвями вразброс —
Будто юные витязи кубки подняли.
Сколько здесь над тобою сменилось времен,
Иссеченных металлом, затянутых дымом!
Ты в огне мировом двух суровейших войн
Непреклонным остался и непобедимым.
Здесь по болдинским просекам
Пушкин бродил,
И темнели волос непокорные кольца.
Тучу мрачную взглядом он в путь проводил
И сказал непогоде: «Довольно, сокройся!»
Здесь нашел юный Лермонтов строки «Сосны».
И взрастил «Русский лес» свой могучий
Леонов.
И Есенину были просторы тесны,
Если он не дышал звонким шумом зеленым.

Русский лес!
Крепко в землю корнями ты врос,
Не согнули печали тебя и ни беды.
И в спокойные воды, взойдя на откос,
Ты глядишься и слушаешь голос планеты.
Как солдаты на марше —
деревья твои,
Что готовы принять на себя все невзгоды...
Тихий шелест ветвей —
слозно шепот любви,
В твоем облике все совершенство природы.
Ты единым оркестром над миром звучишь
И звенишь соловьями о солнечном чуде.
Даже небо ветвями задеть норовишь...
Русский лес, ты прекрасен,
как русские люди!

Д. ЭЛЬБРУС

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Длинный поток, как Волга-река,
Течет к Ильичу, течет.
Из близких краев и издалека
Сквозь время — к нему, вперед.
И в каждом сердце раскрытом — он.
Сквозь свет и седую тьму
Идем мы к Ленину на поклон.
Все дороги ведут к нему.

Т. ОЧИРХУУ

ОТЕЦ ВЕДЕТ МЕНЯ

Худонский * мальчик — в звоне колокольцев **
Я за отцом иду,
ему подстать.
Бежит дорога, заплетаясь в кольца.

* Худонский — деревенский.
** У монголов принято привязывать детям на одежду и обувь колокольца, чтобы слышать, где они гуляют.

Мне от отца
никак нельзя отстать.
Стремленье это через годы детства
Влекло меня без устали вперед.
За стойбищами где-то по соседству
Осталось детство. Юности — черед.
Но и сейчас я за отцом шагаю,
Он год за годом перебрал свой век *.
За ним я краски жизни постигаю,
Ума вершины, где белеет снег.
К каким высотам
он душой поднялся?
И я твержу себе:
«Дойду туда».
Он с горем и со счастьем побратался.
Тяжелым грузом на плечи — года.
И седина блестит, как серебро.
Платить добром мне вечно
за добро.
Иду. Дороге не видать конца.
Мне только не отстать бы
от отца.

Д. НЯМАА

ТАГАН В ТРИ КАМНЯ

Возле степной дороги
Древний таган в три камня
С горсткой седого пепла...
Чьими он сложен руками?
Стоит он под жарким солнцем
И под ветром косым.
Связаны этим камни
Как мать, и отец,
и сын.
И мне почему-то верится,
Что в зябких степных ночах
Втроем хранят они бережно
Свой семейный очаг.

Перевел с монгольского Г. Серебряков

---

* По монгольскому и тибетскому календарю век — шестьдесят лет.

Б. НАВРОЦКАЯ, Р. ДОНЬСКИЙ



Рис. Ю. КИСЕЛЕВА

ГЛАВА 4

Анджей пообедал в ресторане «Под канделябрами». Наевшись досыта, он вышел на улицу и увидел очереди у газетных киосков. Довольство и благодушие сразу оставили его.

«Скорей за «Экспрессом», — мелькнуло в голове. На подгибающихся ногах он двинулся к киоску, положил пятьдесят грошей на прилавок и взял газету. Отойдя на несколько шагов, почти спокойно прочел сообщение, которого ожидал еще вчера.

«Убил... — подумал он равнодушно. — По описанию это я. Но это вчерашний я, мои дорогие. По-

---

Продолжение. Начало в № 7.

пробуйте-ка поймать меня сегодняшнего. Высоких брюнетов на свете много».

Он сложил «Экспресс» и взглянул на людей в очереди. Все покупали газеты и сигареты. До него никому не было дела.

«А у меня земля горит под ногами, — подумал Анджей. — Кузнечик и Зигмунд, наверное, уже держат этот «Экспресс» в руках. Интересно, могут ли они меня засыпать? Они знают слишком много обо мне. Знают и этот ювелирный магазин. Правда, они не предполагали, что я пойду один, но знали, что у меня есть оружие. Если бы я не убил милиционера, они наверняка бы держали язык за зубами. Это ясно. Они могут сопоставить факты. Тем более что один раз уже струсили. Это из-за них на моем пути оказался труп. А вообще кто их знает? Может быть, они будут молчать. Но так или иначе домой мне путь заказан. Жаль, что я слишком много рассказал. Надо было раскрыть им план за час до ограбления. Тогда бы они были у меня в руках. А сейчас все зависит от них...»

Он хотел сразу уехать, но очень боялся приблизиться к какому-нибудь вокзалу. Неизвестность того, как поступят сообщники, связывала ему руки. Разгоряченное воображение рисовало друзей, которые уже идут в милицию и дают показания. Кто из них предал его? Зигмунд? Кузнечик? Он вспоминал их лица, сомнения.

Анджея мучила жажда. Он поискал мелочь и увидел, что денег осталось совсем немного.

«Больше ждать нельзя, — подумал он. — А то у меня не хватит денег на билет. В Варшаве ничего нельзя продавать. Здесь больше нельзя оставлять никаких следов».

Он пошел в парк и решил переночевать в кустах.

ГЛАВА 5

Его разбудил птичий щебет. Сквозь зеленую листву ярко светилась голубизна неба. Солнце уже взошло. Было тихо.

«Это листья, — подумал он. — Листья... Я спал довольно долго».

Он попробовал вытянуть затекшие ноги, сел и задрожал от холода. Дотронулся рукой до земли — она была влажной, как после дождя.

«Лето еще не настало, я промерз до костей», — подумал он машинально. Ныла спина. Он вынул из кармана зеркальце и расческу, привел в порядок волосы. У него был помятый вид усталого, неумытого человека. Наконец он вытащил бумажник и пересчитал деньги. 380 злотых...

«Что бы ни произошло, на бритье у меня всегда должны быть деньги. Всегда. Даже если не будет оставаться на еду».

Анджей вынужден был сидеть в кустах до девяти. Если он выйдет раньше, то может наткнуться на сторожа или уборщицу и возбудить подозрения. Солнце поднималось слишком медленно, утренняя прохлада пропитала Анджея насквозь. Он притаился в кустах и бессильно клял положение, в котором ока-

зался. Вдруг сообразил, что сегодня воскресенье. Вчера он об этом не думал. Он потерял целый день. В воскресенье выкопать спрятанное в садике Зденека невозможно. Его ожидала еще одна ночь в кустах привокзального парка.

«Черт возьми, — подумал Анджей. — Снова промах. Еще один день в Варшаве. Страх парализовал меня и отнял всякую способность к действию. Если бы я помнил, что сегодня воскресенье, то еще вчера бы съездил во Влохи. Билет на экспресс купил бы еще в три часа дня, значит, до пяти успел бы выкопать. А может, и лучше, что я не поехал? Нельзя ведь копаться в чужом саду с мыслями о том, что за спиной может появиться кто-нибудь из родственников Зденека. Да и сам Зденек мог в субботу нагрянуть пораньше... Так или иначе, а воскресенье в моей ситуации может оказаться тем самым фатальным обстоятельством, после которого меня не станет как самостоятельной единицы, а останется только заключенный под стражу... — Он невесело усмехнулся. — В таких ситуациях, как моя, нужно обдумать каждую мелочь, каждую деталь. И помнить календарные числа... Ничего. Это будет уроком на будущее...»

В девять часов он выбрался из кустов, помедлив на всякий случай. Потом уселся на ступеньках перед старинным дворцом, огляделся. Было безлюдно. Он вымыл лицо водой из пруда и вытерся носовым платком. Вода освежила его, остатки сна улетучились. Все воскресенье он бродил по парку, немного посидел в кафе. Время тянулось бесконечно. Ни разу в жизни ему не приходилось с таким трудом ожидать, когда же минует время. Оно словно двинулось вспять. В период экзаменов время неслось с немыслимой быстротой. В учебном году не выпадало ни одной свободной минуты — лекции, домашние занятия, уроки. Он бегал по всему городу из конца в конец, и в итоге все же всегда не хватало четверти часа. А сейчас вот он не знал, куда девать время...

Вечером он снова спрятался в кустах. На том же месте, что и в прошлую ночь. Когда устраивался на еще не остывшей от дневного тепла земле, перед глазами возникло неподвижное лицо Катарины. Но и душа его и тело, уже начавшее чувствовать вечернюю прохладу, остались безразличными к видению. Он сам удивился, что образ девушки, который еще вчера приводил в трепет его мысли и нервы, не вызывает в нем никаких эмоций. Ее прекрасное лицо отныне осталось для него лишь красивой фотографией, не имеющей никакого отношения к жизни, фотографией, отпечатанной на клише его памяти.

«Слишком многое произошло за последние дни, — подумал он. — Я убил человека. После такого разлюбишь и самого себя, не только девушку».

Страсть к Катарине вытекла из него одновременно с кровью милиционера, оставленного на мостовой Хожей улицы. Она улетучивалась из души Анджея в то время, когда он стрелял, убегал, ехал во Влохи, заметал следы, прятался ночью в Лазенках. Страсть к жизни, желание сохранить ее, защитить, спасти от справедливого возмездия — все это уничтожило в нем страсть менее постоянную — страсть к женщине.

Он опасался, что не вспомнит место, где зарыл ценности. Или, что еще страшнее, разроет землю, а ямки окажутся пустыми. Он очень волновался. Один раз ему вполне явственно показалось, что шевельнулась занавеска в окне. Потом почудилось, будто за спиной скрипнула калитка. Он в сердцах обругал собаку, которая испуганно шарахнулась от него. Лопата легко входила в рыхлую землю, влажную, не успевшую затвердеть после весенних дождей. Через несколько секунд сверток с драгоценностями был откопан. Но Анджей нервничал. Все его пугало — светлый день, тихие окрестности пригорода, тень от деревьев. Все было другим, когда он появился здесь впервые, — мирным и спокойным. Сейчас везде таилась тревога, все угрожало ему, даже природа.

«Мой страх растет», — отметил он, высыпая ценности на газету. Затем укрылся в деревянной пристройке и переложил золото в карманы. На обратном пути ему никто не встретился.

В Варшаве он переехал на левый берег и остановился в районе Праги. Он не мог находиться на правом берегу Вислы. Ему казалось, что милиция уже давно напала на след и вот-вот арестует его. Не зная, чем заняться, он купил билеты на ближайший киносеанс, но не мог сосредоточиться на фильме — даже названия не запомнил. И вот он снова на улице. Он избегал пражских ресторанов, перекусил в баре на Аллеях и трамваем поехал к вокзалу. Путь к билетной кассе показался ему длинным, словно дорога через заминированное поле. Преследовала мысль, что сейчас на плечо опустится тяжелая и уверенная рука.

— Второй класс до Гдыни, — сказал он кассирше. Нервы его были так напряжены, что если бы в эту минуту кто-нибудь случайно прикоснулся к нему сзади, то он закричал бы от страха как сумасшедший.

Он взял в окошечке выданный ему билет и медленно-медленно обернулся. Он был почти уверен, что за спиной кто-то стоит. Кто-то должен стоять. Тот, кто опустит тяжелую руку на его плечо. Анджей невероятно удивился, когда стоявший за ним в очереди человек попросил билет до Познани. Тогда Анджей отошел от кассы и внимательно оглядел зал ожидания, все углы и переходы. Посредине зала прохаживался милиционер. Анджей не спеша прошел мимо, стараясь держаться к постовому спиной. Потом вышел на перрон и забился в угол вагона. Он не посмел сесть у окна, хотя тогда бы он смог наблюдать за перроном. Он полностью отдался на волю случая — будь что будет!

«Если уеду, значит, уеду, — решил он в отчаянии. — Тут уж ничего не поделаешь. Погоня в идущем поезде всегда кончается одинаково. Мне нечем защищаться. Ноги могут спасти карманников. Я этому не обучен. Или парни меня не выдали, или же никакая сила меня не спасет».

Анджей прислонился головой к стенке вагона, прикрыл глаза, отдавая таким образом себя в руки судьбы.

Очнулся он, когда вагон уже тихо покачивало. Значит, поезд в пути. Ведь Анджей не спал, а вот не почувствовал, когда поезд тронулся. Он находился в состоянии оцепенения, в ка-

кой-то летаргии, но при сохранившемся сознании. Поэтому не испытал ни капли облегчения, которое, казалось ему, должно было бы принести движение поезда. Он стал отрешенным от внешних событий комком нервов. Единственное было теперь ясно: ехать куда-то еще ничего не значило. По дороге они минуют десятки станций, и будет еще вокзал в Гдыне, из здания которого надо выйти. Поэтому Анджей не мог ни на минуту освободиться от мыслей о преследовании. И каждая минута была для него кошмаром. Каждая минута казалась ему последней перед арестом. Его ожидала ужасная ночь. Пугали фонарики кондукторов, стук колес на стыках рельсов, треск хлопающих дверей купе, проверки билетов на каждой большой станции. Всякий раз, когда свет заливал его лицо, ему начинало казаться, что пришли за ним. Он не мог спрятать лица и не мог избавиться от страха. Но кондуктор щелкал компостером и выключал фонарь. И Анджей снова оказывался в темноте. Это повторялось много раз с одинаковой казенной бесцеремонностью и было похоже на китайскую пытку. Он словно впал в небытие — рождался и умирал десятки раз на 350-километровом пути.

«Это слишком много для одного человека, — думал он. — Человек один раз рождается и один раз умирает... За исключением времен войны и жизненных поражений, которые учат, когда удается остаться в живых, что умирать и рождаться можно многократно...»

И вот наконец поезд остановился в Гдыне. Анджей держался из последних сил, однако прошел по перрону и вышел в город так же свободно, как в Варшаве: никто не пытался задержать его, никто на него даже не глянул. Анджей оказался на привокзальной площади. Тут силы оставили его. Он прислонился спиной к зданию вокзала и почувствовал, как медленно распускается в его душе клубок страха, как возвращается способность мыслить. Он снова стал видеть, слышать, осязать.

«Наверно, я сошел с ума, — мелькнуло у него в голове. — Зигмунд и Кузнечик молчат. И будут молчать, черт возьми! Ведь друзья, вместе учились. Если бы они раскололись, то я бы никуда не выехал... Успокойся, иначе тебе не выбраться из ловушки. Ты бы никуда не выехал... Даже во Влохи за драгоценностями. Успокойся, дурачок. Никто тебя не знает. Никто не имеет понятия, что ты и тот бандит — одно и то же лицо. Ни комиссар милиции, ни следователь, ни кто другой».

Он глубоко вздохнул и оторвался от стены. К нему вернулась энергия. В ногах снова появилась упругость. Он, Анджей Лехонь, спланировал и совершил ограбление, чтобы добиться девушки. Остальное дописала жизнь. Он не мог предвидеть, что подсунет жизнь человеку, хотя бы однажды нарушившему закон. У него не хватало воображения. А может быть, он нарочно подавлял воображение, потому что оно могло стать преградой на пути к его цели?

ГЛАВА 7

Капитан Корта бросил взгляд на экран телевизора. Он не слишком увлекался бесконечным кино на дому. Приобретение телевизора — уступка жене, не более. Он частенько уезжал

в командировки и очень редко проводил вечера в семье. Если же бывал дома, то его донимали телефонные звонки, а когда телефон молчал, Корта читал статьи по криминалистике, научные работы, мемуары известных судей, прокуроров и адвокатов. Он любил классиков криминальной и сенсационной литературы, крупных писателей, которые интересовались психологией преступлений, аномалиями человеческой натуры. Из практики он знал, что между преступлением и патологией такая тонкая граница, что нахождение ее доставляет большие трудности врачам и психологам, обязанным раскрыть преступление. Особенно это верно в том случае, когда речь идет о малолетних или очень молодых преступниках.

Часто он начинал сомневаться в выводах психиатра, когда допрашивал сидящего напротив такого вот молокососа, быстровозбудимого, с противостоящим всему миру тупым взглядом. Этот тип преступника особенно занимал его воображение. Это были преимущественно молодые люди с агрессивным отношением к миру. В одном человеке открывались даже при беглом следствии две противоположные личности. Под вызывающим видом часто скрывалась робость труса, прячущего свои комплексы под показной отвагой, так недостающей в жизни.

«Да, — подумал Корта, стараясь не слушать монотонное бормотание телевизора, — жизнь в обществе значительно сложнее, чем вне его. Вопреки внешней логике. Например, привить себе определенные этические нормы труднее, чем просто обойтись без них. Организм общества надо трактовать в целом так же, как и каждую человеческую индивидуальность. И в обоих случаях привить внутреннюю дисциплину одинаково трудно».

Он вздохнул и закрыл дверь комнаты, в которой сидел. Продукция голубого экрана определенно мешала ему думать.

«Ты не самый лучший муж в мире, — пришел он к выводу. — Тебя никогда не бывает дома, а если ты приходишь домой, то тебе не до личной жизни. Знаю, знаю, — сказал он себе, — поэтому ты и купил семье телевизор. У тебя редко находится время сходить в кино. И поэтому ты организовал семье кино дома...»

Жена часто говорила:

— Когда-нибудь один из бандитов всадит тебе пулю в спину. И будет еще хорошо, если он сделает это с честью, так, чтобы ты мог увидеть его в лицо. Но обычно они делают это подло, из-за угла. Когда-нибудь они это сделают. Или они сами, или их дружки, оставшиеся на свободе.

Корта в таких случаях всегда усмехался про себя, потому что никогда не позволял явно игнорировать ее беспокойство. У капитана была хорошая жена, вырастившая двух сыновей. Он старался не волновать ее и рассеять все опасения. В действительности он просто не верил в смерть от пули какого-нибудь преступника. Объяснить свою убежденность достаточно логично он не мог. Подобная опасность всегда существует, и такой профессиональный риск всегда есть в его работе, но Корта не принимал их во внимание. Он всегда старался понять человека, которого преследовал именем закона. И ему не раз казалось, что сидящий перед ним подследственный знает про это не хуже его самого и понимает ту неизбежность, которая столкнула их. Корта старался не устраивать очных ставок без

крайней необходимости. Особенно, если дело оказывалось сложным с психологической точки зрения и могло лечь тяжким грузом на совесть одного из допрашиваемых. Буква закона сама по себе достаточно сурова, а рука справедливости достаточно тяжела. Капитан собирал следственный материал, являющийся основанием для приговора. Собирал фактический материал, чтобы мог вступить в силу закон. Корта был косвенной причиной вынесения нескольких смертных приговоров и носил в себе их тяжесть так же, как судья и прокурор, но никогда, даже в таких тяжелых делах, старался не причинять преступнику дополнительных моральных страданий, если в этом не было крайней необходимости. Поэтому он не боялся пули. Он знал, что преступник отличает справедливого следователя от несправедливого, так как с момента совершения преступления он считается с карой и против справедливого наказания не протестует.

Как-то один из них сказал ему в последний день следствия:

— Это правильно. Смерть за смерть, иначе и быть не может.

Корта снова вздохнул. По телевизору кто-то вопил «йе-йе-йе!» и безжалостно рвал струны электрогитары.

«Твоя уверенность, старик, пожалуй, преувеличена, — подумал капитан. — Справедливость... Ведь ты знаешь и таких бандитов, у которых ничего нет в душе, кроме инстинкта убийства. Да, но в подобных случаях ты сталкиваешься с патологией и попадаешь в другие сети. Какая же профессия, связанная с человеком, и только с человеком, не расставляет сетей? Не достаточно тебе моральных дилемм? Ты вдоволь поговорил с врачами. Как-то в следствии участвовал даже священник».

С тех пор как в прессе появилось сообщение об убийстве участкового на Хожей, жена капитана Корты не могла успокоиться. Он избегал разговоров о смертных случаях в аппарате милиции. Поэтому, отступая от правил, сказал ей, что сообщение — это хитрость, ловушка для преступника. Он просто не мог вынести ее грустного преследующего взгляда. Его это и смешило, и угнетало одновременно.

— Живой, живой! — рассердилась она неожиданно для него. — Какая разница? Четыре раны! Он наверняка не выживет!

«Никогда не угодишь людям, которые любят», — подумал Корта философски. Все же он надеялся, что милиционер выживет. О допросе его еще не могло быть и речи, но состояние раненого заметно улучшилось. Утром Корте сообщили по телефону о краже пистолета типа «ТТ», калибр 7,62. Из такого же оружия стреляли в милиционера на Хожей. Пуля, вынутая из тела раненого, лежала в отделе криминалистики. Оружие украли за день до нападения на ювелирный магазин. Какие-то нити наконец появились. Кражу оружия, нападение на магазин, попытку убийства совершил, по-видимому, один и тот же человек. Милиционеры четвертый день крутились среди перекупщиков, и поэтому те опасались покупать награбленные ценности.

«Мелкий перекупщик боится крови, мокрой работы, — подумал капитан. — Но даже и бывалый вор никогда не пойдет на сделку, если в игру входит убийство представителя власти».

Корта был уверен, что Хирург ничего не пытался продать в Варшаве. Воры дрожали за свои шкуры, сообщая больше, чем можно было из них вытянуть в обычное время. От своих людей они узнали, что перед ограблением магазина что-то планировалось, но впоследствии от такой идеи быстро отказались — слишком большой риск, — и все главари скрылись на «малине» где-то в районе Праги. Но и там среди воров царило полное недоумение. Они сами искали того мошенника, за которым охотилась милиция.

«Это не доказательство, — подумал Корта. — Они могут только сделать вид, что им ничего не известно. Именно такие «фрукты» могут дезинформировать милицию и скрыть, что имеется кто-то сильный, решившийся на рискованное дело».

Однако подобное рассуждение не убедило его. Он хорошо знал преступный мир и знал, что хоть одно словечко обязательно прорвалось бы на допросах. Преступники — люди со всеми слабостями, присущими другим. Они любят блеск своей славы, женщин, развлечения. За рюмкой водки всегда могут что-нибудь сболтнуть, хоть словечко. Очень трудно промолчать о таком деле и не сказать ни слова.

Надо подождать этого слова. Событие произошло совсем недавно. Оно должно поостыть.

Капитан направил нового агента на рынок Ружицкого — хорошо законспирированную женщину. Та поселилась на Брудне у сестры. У них там был участок, с которого они продавали овощи. Все можно будет проверить. Женщина вне подозрений. Только что отстроенный дом, первый год заложенный огород. Две сестры в доме. Одна замужем. Другая живет у нее. Муж работает. Дом строили на глазах соседей. Участок достался им после смерти отца. Замужняя сестра занималась хозяйством и детьми, а другая — огородом и продажей овощей на рынке. А вечером снова работала на огороде, и обычно ей помогал муж сестры.

Девушка эта была офицером милиции. Она училась в Щецине. Оттуда писала сестре, что работает продавщицей, снимает угол, у нее есть парень, с которым они решили пожениться. Потом она написала, что парень ее бросил и она близка к самоубийству. Сестра посоветовала ей приехать и не думать о глупостях. Они как раз заканчивали строительство дома и могли приютить разочаровавшуюся в любви девушку. Она им будет помогать по хозяйству. Девушка приехала.

«Чиста, как кристалл, — подумал Корта. — Хорошая работа».

Он перекрутил кольцо на пальце. Телевизор все еще шумел. Уже час назад капитан знал, что уйдет, хотя обещал жене провести вечер дома.

«Ну если бы я и остался... — подумал Корта. — Жена с детьми торчит у телевизора, потом пойдет готовить ужин. А к ужину я вернусь».

— Ты уходишь? — донесся голос жены из соседней комнаты. — И снова пропадешь на всю ночь.

Корта знал, что это скорее констатация факта, чем упрек.

Он пошел прямо в магазин, на который было совершено нападение.

«Сержант Кирилко уже там с пятницы, — подумал он. —

Если сержант узнает, то обидится. Но хочется взглянуть на магазин».

Его люди проверили биографии и счета в банках всех работников магазина. Старшая продавщица имела очень хорошие характеристики со всех предыдущих мест работы. Младшая еще ничего не значила. У нее не было никакой биографии, она пока просто чистый лист бумаги.

«Директора обвиняли когда-то в торговле золотом, — подумал Корта. — Но обвинение оказалось фальшивым. Это случилось сразу же после войны. Тогда все было иначе. Люди хватались за все, чтобы выжить».

Капитан Корта встал перед витриной. Магазин снова открыли, но товаров в нем было пока мало. В витринах лежали только часы. Часы Корту не интересовали — на его руке тикали очень хорошие, швейцарской фирмы. Окна витрины высоки и прозрачны. Он ясно видел все, что происходило в магазине.

«Странно, — подумал он. — Преступник во время грабежа должен был себя чувствовать как на горячей сковороде, а с улицы его никто не заметил. Люди все-таки очень ненаблюдательны. Да, люди ненаблюдательны. Каждый думает о своем. Твое же дело думать о странных случаях жизни, и поэтому ты подсознательно интересуешься каждой ситуацией, которая выходит из рамок обычного поведения, отклоняется от естественного. Для обычного прохожего человек в магазине — всегда покупатель. Прохожему нужно увидеть наведенный пистолет, чтобы удивиться присутствию человека в магазине или заподозрить неладное».

Младшая продавщица испугалась, увидев вошедшего в двери капитана.

— Чего вы боитесь? — добродушно спросил Корта.

Та сразу успокоилась и рассмеялась. Это была красивая девушка. Из тех, что сами служат украшением магазина.

— Я уже больше не могу, — ответила младшая продавщица. — Каждую минуту кто-нибудь от вас приходит. А после закрытия магазина я боюсь одна возвращаться домой. Бегу, словно за мной кто-то гонится. Я никогда бы не поверила, что такое может случиться средь бела дня. Если бы знала, то не пошла бы ни за какие деньги работать в ювелирный магазин. Я теперь в сумке не ношу больше ста злотых.

Вошел посетитель и попросил зеленый ремешок для часов.

«Почему зеленый? — подумал капитан. Он наблюдал за девушкой. — А ведь ее такое желание не удивляет: зеленый — значит, зеленый».

Он прошел в подсобку. Это был тесный чуланчик, но там свободно могли уместиться два человека.

— Вы говорили, что преступник запер вас здесь? — обратился он к старшей продавщице. — Так ведь?

— Впихнул и запер, — ответила та. Было заметно, что злость на грабителя еще не остыла в ней.

«Видать, он с ними не церемонился», — сделал вывод Корта.

— Вы сразу оттуда вышли?

— Да, мы сразу же вышли. Вместе. Я об этом говорила.

У меня был запасной ключ в кармане халата. Правда, я вспомнила о нем только через несколько минут.

— Странно: два ключа от подсобки, — сказал капитан Корта, когда они снова оказались возле прилавка.

— Почему странно? — удивилась продавщица. — Так и должно быть. Если один потеряется, то можно открыть другим.

— Запасной ключ обычно где-нибудь прячут, — заметил Корта.

— У меня ничего не прячут! — рассердилась продавщица. — Когда директор опаздывает, за магазин я отвечаю. Он мог бы случайно забрать ключ с собой. Такое бывало. И мы тогда не можем вовремя начать работу. Мы здесь вешаем пальто и кладем личные вещи. У меня с собой всегда сумка для покупок на весь день. Да домой нужно кое-что принести из продуктов. Все покупки я делаю утром, когда иду на работу. Вечером в магазинах обычно толкотня. В подсобке у нас кипятильник, мы можем приготовить себе чай. В четверг я всегда проверяю, со мной ли ключ. Халат я вешаю на внутреннюю сторону двери.

— Почему вы проверяете именно в четверг?

— Потому что в пятницу директор обычно уезжает в управление и приходит на полчаса позже.

«Видно, преступник хорошо ознакомился с распорядком работы магазина. Перед нападением, должно быть, не один день следил, — подумал Корта. — Он не мог не следить за работниками магазина. Наверняка действовал по тщательно продуманному плану, а не наскоком».

— Вы не замечали, чтобы за вами кто-нибудь следил? За несколько дней до нападения? Может быть, даже за месяц?

Продавщица сморщила лоб.

— Нет, за мной никогда никто не следил. Я имею в виду, чтобы один и тот же человек...

— Ни разу?

— Нет. Чтобы так преследовал. Иногда на улице кто-нибудь обратится, но...

— Я не про то, — рассмеялся Корта.

Вышел к прилавку директор.

— Это компрометирует, — сказал он. — И... это подозрение...

— А за вами никто не следил?

Директор задумался.

— Кто мог за мной следить?

— В электричке никто за вами не ездил?

— Знаете, в электричке обычно ездят одни и те же. Если человек годами ездит, то он уже помнит всех, кто возвращается вместе с ним с работы. Но ведь есть и случайные пассажиры. Усталый человек иногда засыпает, если удается занять место. Или читает газету, если не очень устал. Обычно не присматриваешься к людям.

«Однако преступник должен был и за ним следить, — подумал Корта. — И делал это, видно, очень ловко. Скорей всего это грамотный и умный и, что самое существенное, не профессиональный бандит».

Он почувствовал удовлетворение.

— Почему вы пришли так поздно? — резко спросил капитан Корта.

— Потому что вчера проходил техосмотр, а сегодня пытался наверстать упущенное время. Хотел покрыть вынужденный простой. А когда человек просидит двенадцать часов за баранкой, ему ничего не хочется. Только поесть и рухнуть в кровать.

Водителю такси было около сорока. Массивный, усталый человек.

— У вас государственная машина?

— Нет, я частник.

— Когда вы прочитали сообщение милиции?

— Честно говоря, я вообще бы его не прочитал. Но жена складывает газеты, простите, в туалет. Человек в таком месте обязательно пробежит глазами газету. Это было вчера. Вечером.

— И вы не позвонили нам сразу же? — удивился Корта. — Ведь там же сообщен номер телефона.

Водитель задумался, сплел пальцы на колене. Было видно, что он из тех людей, которые никогда не принимают поспешных решений и предпочитают лучше опоздать, чем обременять себя ненужными дополнительными хлопотами.

— Была уже ночь, — недовольно буркнул он. — А я вовсе не уверен, тот ли это человек, о котором написано. Я, понятное дело, сомневался.

— А тот тип разрядил всю обойму в невинного человека. Как его назвать? — спросил Корта.

Водитель заерзал в кресле. Он помрачнел и, по-видимому, был уже не рад, что обратился в милицию. Корта глядел на него, как на препарат под микроскопом. В таких ситуациях люди ведут себя поразительно однообразно. А капитану было важно увидеть свидетеля во всех состояниях, даже вывести из себя, но только бы узнать необходимое для следствия.

— Я, товарищ капитан, ничего не могу взять на себя. Я не уверен. Совпадает только время. А это разве улика?

— Нужно считаться с каждым предположением. Такова наша работа, — сказал Корта. — Вы можете нам помочь. Больше, чем кто-либо другой.

На лице водителя отразилось нечто похожее на удовлетворение.

«Хорошо, — подумал Корта. — Люди не всегда охотно действуют сообща с властями. Они значительно охотнее прощают себе умолчание, чем помощь. Психологическая загадка, действующая до тех пор, пока в игру не вступает собственная персона. Что это? Отсутствие воображения? Слабое сознание обязанностей перед обществом? Старое, как мир, отвращение к доносчику, предателю, шпику? Если это, последнее, то оно производит обратное действие, когда речь идет об охране общественных интересов... Вот еще один сложный аспект нашей профессии».

— Меня удивило время и место, — уже оживленно сказал водитель. — Совсем рядом с Хожей. Это было в пятницу, около полудня. Этот тип мне показался немного странным. Но не

сразу. Когда я его вез, он ничем не вызывал подозрения. Лишь когда я прочитал в «Экспрессе» это сообщение... Меня как громом поразило! С Хожей легко перескочить на Волчью и выйти можно как раз возле Варимекса. Он, видать, бежал через развалины. А вы писали, что милиционера убили возле дома 49.

«Люди умеют сопоставлять, — подумал Корта, — только, вот беда, зачастую не желают этого делать».

— Он велел везти его во Влохи.

«Во Влохи? — удивился про себя Корта. — Но и директор живет во Влохах. Случайность ли это?»

— Как он был одет? — спокойно спросил капитан.

— Обыкновенно. В костюме. Как все. На голове у него была шляпа. Мягкая. И очки.

— Очки? Какие?

— Темные. От солнца.

— В пятницу шел дождь, — заметил Корта.

— Я не помню. Люди летом носят темные очки иногда просто для форсу.

— На нем не было накидки?

— Накидки? — удивился водитель. — Нет. Не было, — твердо ответил он.

— У него должна быть с собой накидка, нечто вроде дождевика, — настаивал Корта.

— Нет. Не было, — упорствовал водитель. — Может, он дождевик выбросил? Сейчас, одну минуту... — он задумался вспоминая. — У него был сверток в руках... цвета... ну, защитного, что ли? Это могла быть и накидка.

— Вы не заметили какие-нибудь особенности? Что-нибудь отличающее от других?

Водитель покачал головой.

— Если бы он чем-нибудь отличался от обыкновенных людей, то я бы не повез такого пассажира. Да еще за город. У него темная щетина и бородка. Высокий симпатичный молодой человек. Ему не больше двадцати двух — двадцати трех лет. Стольких пассажиров возишь каждый день, что уже не присматриваешься к людям. Если бы он не ехал во Влохи, я бы и к нему не присматривался. Зачем мне знать, как он выглядит? Длинные поездки я помню. Заработок.

— Куда он пошел во Влохах?

— Не знаю. Я развернулся и поехал назад. А он остался. Возле церквушки. Да я и не смотрел. Мне надо было искать пассажира до Варшавы. Обратно порожняком ехать невыгодно.

— Быть может, вы еще что-нибудь вспомните? — налегал Корта. — Что-нибудь такое, что натолкнуло бы нас на след. Как он выглядит, мы знаем. Его видело много людей. Мне нужно что-нибудь... Ну такое, характерное, что ли?

Водитель снова замотал головой. Он старался напрячь память. Корта знал это состояние ломки психологического барьера. Есть разные свидетели. Таких, которые заливают следователя потоками слов, не дожидаясь вопросов, которые говорят и говорят, обдавая целым каскадом собственных выводов и предположений, Корта не любил. Это обычно оказывались малообещающие свидетели. Из нескольких страниц стенограммы едва ли можно было выудить две-три фразы, важные для след-

ствия. Капитан предпочитал трудных свидетелей, из которых показания приходилось вытягивать клещами. С такими, правда, было много хлопот, но зато итоги всегда оказывались результативными.

— Вспомните, может быть, у него было какое-нибудь характерное движение... или пятно на костюме... или туфли какого-нибудь необычного фасона?.. — Корта намеренно задавал самые примитивные вопросы.

— Нет, — огорченно ответил водитель. — Правда, у него были очки странной формы, но это ведь неважно. Очки можно всегда снять.

— Напротив, это очень важно, — оживился Корта. — В следствии все важно.

— Очки были такие... темные, с тремя белыми стрелками по бокам. Я обратил внимание на эти стрелки, когда он расплачивался.

— Почему вас заинтересовали эти стрелки? — спросил капитан.

Таксист сразу как-то сник, он не знал, почему обратил внимание именно на фасон очков и эти белые стрелки.

— Раньше я не видел таких очков, — наконец сказал он. — Такие редко встретишь. Сейчас страшно много различных фасонов темных очков. Одни других лучше. Но подобных я не встречал.

«Ну вот, — подумал Корта, — всегда отыщется что-нибудь такое, чего другой и не заметит».

— У вас не сохранилась ли та сотня, которую он дал вам за проезд? — спросил он.

— Нет, я ее уже истратил. Сразу же купил бензин.

ГЛАВА 9

Показания офицера, у которого украли пистолет, ничего не прояснили в деле. В толпе он никого не заметил и даже не был уверен, совершилась ли кража в трамвае или во время посадки, на остановке. Пропажу он обнаружил лишь в министерстве, в гардеробе. Там он был через час после кражи.

«Нужно усилить патруль во Влохах, хотя вряд ли теперь это что-либо даст. Слишком поздно. Но ведь что-то там преступник хотел найти! И он наверняка должен знать ту местность. Исключено, чтобы он там проживал. Никто не возвратится к месту постоянного жительства в одежде, компрометирующей его. Скорее именно там он хотел избавиться от реквизита».

— Габлер, — позвал Корта. — Осмотрите внимательно территорию в районе улиц Храброго и Солипской во Влохах. Закоулки, магазины...

Отдав распоряжение, Корта поехал в отдел криминалистики. По дороге он пытался сделать выводы из показаний раненого милиционера, но, по сути дела, они были равны нулю. Госпиталь предписывал раненому полгода лежать в постели — пострадавший был очень слаб. Лечение затянется, даже если пойдет без осложнений. Участковый уже пришел в сознание, но ему предписали полный покой и неподвижность. Не могло

быть и речи об активном участии его в следствии. До того, как раздался первый выстрел, он мало что успел заметить. Был застигнут врасплох. Даже не успел достать оружие. Правда, он удержался на ногах после первого выстрела, но в тот миг, когда пытался разглядеть нападавшего, в него попала вторая пуля, и он потерял сознание.

— Я даже не успел испугаться. Только вышел из молочного магазина, как кто-то в меня выстрелил. Бандит был высокий, в шляпе, с бородкой. Ничего больше не могу о нем сказать. Я не помню его лица. Обидно, так глупо попался, — вот и все, что сообщил раненый...

— Здравствуйте, Лобода, — приветствовал Корта криминалиста.

Техник повернул голову от стола. В комнате стоял манекен. Корта задержался перед этой куклой.

«Странно, — думал он. — Я видел столько трупов, но преступление никогда не выглядит таким жестоким, реальным и отвратительным, как повторенное на этом манекене, словно мертвая тряпичная кукла выражает самую суть преступления... Да, так оно и есть...»

— Вы предпочитаете убитого, но человека, не так ли, капитан? — язвительно заметил Лобода, словно прочитав его мысли.

— Да, — буркнул Корта. — Как вы догадались? — поинтересовался он.

— Знаю вас, капитан, — пожал плечами Лобода.

— Я видел когда-то фильм, — сказал Корта неожиданно. — «Люди и манекены». Вы слышали о нем?

— Нет.

— Герой фильма совершает убийство манекена. Выкидывает из окна куклу, наряженную в свадебное платье. Откуда-то с высокого этажа. Никакое убийство в кино так меня не потрясло.

— В манекене есть что-то равнодушное, механическое, — согласился Лобода. — В мертвом человеке остается человек. Вы это имеете в виду?

— Возможно, — подтвердил Корта.

Манекен был пронзен стальным прутом, указывающим направление одной из пуль. В материале, из которого была сделана кукла, виднелись отверстия, окрашенные в красный цвет.

— Видите, с какой позиции он стрелял? — спросил Лобода. — С вытянутой руки.

— Расстояние? — осведомился Корта.

— Три-четыре метра, — ответил Лобода. — Они буквально столкнулись нос к носу. Участковый появился перед ним неожиданно. Рост преступника приблизительно 182—184 сантиметра.

— Что со словесным портретом?

— Уже сделали первую зарисовку. Хотите взглянуть?

— Пожалуй, нет, — заколебался Корта. — Подождем до завтра.

— Что-нибудь еще всплыло? — спросил техник.

— Может, еще кое-что появится. У меня есть одна идея. Вам бы облегчило задачу, если бы была известна ширина лица преступника, расстояние между глаз?

— Это имеет принципиальное значение. Подождем, — сказал техник.

На Хмельной улице Корта задерживался перед каждой витриной, в которой лежали очки.

«Где он их покупал? — думал он. — Водитель прав. Много разных очков, но с тремя стрелками нет».

— Мне, пожалуйста, темные очки, — спросил он в первом магазине.

Продавщица поставила перед ним коробку с очками. Корта надевал и снимал очки, но ни одни ему не подходили. Хозяйке магазина он уже успел надоесть. Примерил пять пар и ни одну не выбрал.

— Мне нужны очки с зелеными стеклами и тремя белыми стрелками на оправе, — наконец сказал он.

— У меня таких нет, — лаконично ответила женщина. — У меня товар заграничный.

Она вынула из коробки очки за 350 злотых.

— Видите? Вот эти очки! Легкие, элегантные...

— А у вас не было оправы со стрелками?

— У меня нет. Их делают частники-ремесленники. Я знаю, какие вы хотите. Они появлялись маленькими партиями, но не у меня.

— Где их искать?

Она пожала плечами. Такой товар ее совсем не интересовал. Да и покупатель тоже.

— В любом магазине, — сказала она. — Может, на Киевской улице. Есть пара оптиков в Праге.

В управлении Корта вызвал Габлера.

— Немедленно пошлите в город людей со списком магазинов оптики. Пусть поищут солнцезащитные очки с тремя белыми стрелками на оправе. И пусть узнают адрес изготовителя.

ГЛАВА 10

Он не мог остановиться ни в одном отеле. Уже третий день он слонялся по матросским кабачкам.

В «Альбатросе» ему удалось продать золотой портсигар. Тысячи злотых в бумажнике вернули ему самоуверенность. Если экономить, то можно ничего не продавать в течение нескольких месяцев. Но он-то не собирался задерживаться здесь так долго. Он не хотел оставлять следов.

«Таких портсигаров полным-полно, — решил он. — Кольца, бриллианты, — все это ручная работа, а значит, описано, взвешено. Можно установить откуда. Портсигар никому ничего не скажет».

Этого парня он поймал в гардеробе. Отвалил ему десять процентов комиссионных. Потом не пробыл в «Альбатросе» и тридцати минут. Он уже знал, что больше здесь никогда не появится.

«Никогда не ходить в одно место дважды, — решил он. — Полдела, ради которого я приехал в Гдыню, улажено. Но вторая половина труднее. Намного труднее».

Здесь у него нет знакомых. Нужно делать ставку на незнакомых людей, руководствуясь лишь предположениями о характере, образе мыслей, поведении и жизни этих незнакомцев. Последнее время он преимущественно изучал психологию на самом себе и на других живых объектах. Своеобразный психологический практикум. Он сам удивлялся, как трудно приходится беглецу в подобных обстоятельствах. Еще несколько дней назад он ни за что не пришел бы к такому выводу. Ему надо найти перекупщиков, но он и понятия не имел, как до них добраться. Он, конечно, понимал, что и среди них могут оказаться агенты. Здесь определенную роль играла и политика, а не только воровство.

«Черт возьми, — подумал он, — тут легко попасться. С гардеробщиком я сговорился, руководствуясь скорее интуицией, а она могла бы меня и обмануть. Во всем столько же везения, сколько и невезения. Нет, — возразил он сам себе, — не повезло мне только дважды. Один раз с друзьями, а другой раз сам опростоволосился, увидев милиционера на Хожей. Пока у меня больше везения, чем ума и трезвого расчета».

Анджей надеялся, что у докеров есть знакомые среди команд иностранных судов. За золото, вынутое из кармана, они могли бы устроить встречу с таким морячком. А моряк тоже захочет заработать. Вот как все просто казалось ему раньше. Морские плаванья, думал он прежде, не такое уж доходное дело, как кажется людям на суше. Оно становится выгодным, если можно еще кое-что заработать.

«ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН», — прочел он надпись у портовых ворот. Облокотился о металлическую сетку забора, отделявшего город от порта. Ворота охранял сторож. Анджей делал вид, что смотрит на корабли. У мола стояло советское транспортное судно, шведский парусник и рефрижератор из ГДР. Корабли стран народной демократии для него не подходили. Оставался только швед. Парусник — единственное, что его интересовало.

Было тепло. Сторож слонялся возле будки. Воротник его кителя был расстегнут. Иногда в будке сторожа раздавался телефонный звонок.

«Нужно что-то придумать, — лихорадочно соображал Анджей. — Нужно что-то сделать. Так я простою до вечера. Каждый может быть зевакой сколько ему угодно».

— Гдыня здорово разрослась... — бросил он в пространство, ожидая, что сторож откликнется.

Старик не торопясь оглянулся и посмотрел на Анджея. Взгляд его не был враждебен, но в глазах светилось явное подозрение. Таким взглядом ощупывают пожилые люди незнакомцев. Пожилые люди, которые много видели и у которых за спиной солидный жизненный опыт.

— А вы нездешний? — спросил наконец сторож.

— Из Познани, — ответил Анджей, стараясь говорить равнодушно и не показать вида, как ему хочется завязать знакомство со сторожем.

Сторож привык к портовой жизни и не видел в ней ничего экзотического. Приходили и уходили корабли. Разгружались,

загружались. Он знал на память все торговые суда. Ему было скучно в этот жаркий день, и поэтому он откликнулся на реплику незнакомого парня.

— Сейчас Щецин начинает конкурировать с Гдыней. Вот перед войной это был порт! Единственный. Наша гордость. А теперь — просто один из многих.

Анджей невольно рассмеялся. Он знал это «до войны». Старики всегда говорили «до войны». И тетка Анна, и родители Зденека. Этот сторож запел старую песню, но Анджея удивило другое: как у кого-то может вызвать сожаление чужое утраченное богатство. Для людей предвоенного времени, которое он сам не знал, все было или больше, или лучшего качества, или шире того, что существовало для него. Однако он никогда не встречал человека, для которого большее означало меньшее. Сторож его заинтересовал.

— От достатка голова не болит, — сказал он.

— Не болит, — согласился старик. — Только человек не имеет уж того весу.

«Каждому нравится быть важным и необходимым, — про себя заметил Анджей. — Старик привязан к прошлому воспоминаниями».

— Вы были здесь, в Гдыне, в тридцать девятом году?

— А где же еще? — мечтательно улыбнулся старик. — Когда мне было столько лет, сколько вам, я строил порт. Потом был докером. Потом были немцы. Теперь — пенсия. Вы первый раз в Гдыне?

— Впервые в жизни вижу порт, — солгал Анджей.

Сторож кивнул.

— Кто хоть раз понюхает портовый город, тот уже не уйдет отсюда никуда. Нет для него уже жизни без порта. Каждый другой город для него все равно как закрытый котел. А тут — пространство. Что может твориться в Познани или даже в Варшаве?

— А я ищу место, где можно провести каникулы. Решил посмотреть Гдыню. Об этом городе раньше столько говорили... А не знаете ли, здесь кто-нибудь продает часы? — рискнул вдруг Анджей.

Сторож искоса посмотрел на него, но промолчал.

— Может быть, вы мне поможете? — быстро продолжал Анджей и вытянул руку. — Если уж я приехал в Гдыню, то хотелось бы купить часы подешевле. Я учусь и даю уроки. Каждые сто злотых на учете.

— У всех на учете, — буркнул сторож. — Никто не находит деньги на улице. Но сейчас и в магазинах много часов, советских. Они дешевле. В любом магазине можно купить.

— Мне хочется шведские или западногерманские.

— Купить можно, — сказал сторож, растягивая слова. — Моряки часто продают свои. Вы зайдите в «Марлену». Это через две улицы отсюда. За углом, направо. Найти легко. Лучше всего загляните туда поздно вечером. Днем там никого нет. В «Марлену» ходят шведы. Там всегда полным-полно шведов.

— И сколько же таких очков появилось в городе? — спросил Корта.

— Разве человек может это упомнить? — буркнул «Малиновский и К^0, производство оправ для очков, пластмассовых пуговиц и брошек». Он взял из рук капитана очки собственного изготовления и с интересом стал их разглядывать. — Это еще хорошее сырье попалось, — профессионально сказал он. — Сейчас для частников уже такого сырья нет.

— Скажите, какие магазины вы снабжали этими оправами? Назовите адреса.

Малиновский поднял глаза на капитана. Серые глаза, не выражающие ничего, кроме безразличия и усталости. Густые, лохматые брови придавали лицу суровое выражение.

— Я продавал их только в два магазина, — уверенно произнес он. — Адреса у вас имеются. Сходите туда, где вы их купили.

Все совпадало. Только два человека из сотрудников уголовного розыска вернулись в управление с очками. Один из района Праги, другой с Братской улицы.

— Точно я не могу вспомнить количество оправ, которые пошли в город, — сказал Малиновский, не ожидая дальнейших вопросов. — Мне придется поднять расчетные книги с прошлого года. Вам обязательно нужно знать точную цифру? Помнится, что сделал я всего две небольшие партии, потому что у меня кончилось сырье.

Малиновский стал откровеннее, и это понравилось капитану. Серые усталые глаза разглядели, что этот капитан милиции пришел сюда вовсе не для того, чтобы потрясти его. И все же Корта счел нужным добавить:

— Я не имею никакого отношения к ОБХСС, и ваши доходы меня не интересуют. Понятно?

— Ясно, — сказал Малиновский, кивнув головой коротко, по-мужски. — Что, мокрое дело?

— Да, — ответил Корта, — потому-то мне и нужна очень подробная информация.

Взгляд из-под густых бровей снова испытующе ощупал капитана.

— Гм... Я продал не более четырех сотен этих оправ, ну, быть может, на полсотни побольше... но не уверен... — Снова взял очки огрубевшими от работы руками с обожженными кислотой кончиками пальцев — явное доказательство того, что он работал самостоятельно, без подручных. — Учтите, они все однотипны, с одним и тем же расстоянием между глазами.

— Я так и подумал, — сказал Корта. — Пол-Варшавы ходит в стандартных очках. Не всякий может себе позволить роскошь подбирать оправу и оптику. Это стоит денег. Тот, кто может потратить пару сотен злотых на темные очки, обычно не грабит ювелирные магазины средь бела дня в одиночку, с наклеенной бородой... Спасибо, — произнес капитан, забрав из рук Малиновского очки. — Мне этого достаточно.

Серые усталые глаза проводили его до дверей. Капитан Корта, усмехнувшись, подумал, что едва он закроет дело Хирурга, как сразу же забудет количество проданных Малиновским

оправ. Да, старик, так обстоят дела. Иначе тебя бы ни на что не хватило. И никто не имеет права упрекнуть тебя в этом. Каждый делает свое дело. Он рассмеялся. Еще сегодня он задумывался над тем, что люди неохотно идут на откровенность. Ведь он и сам в этот момент знал больше, чем хотелось.

«Вот они, — сказал он себе, — эти тенета. Так всегда бывает. Что бы человек ни делал, он всегда знает больше, чем хочет сказать».

В этот же день капитан отослал очки на экспертизу в отдел криминалистики. Приказал немедленно составить словесный портрет грабителя и несостоявшегося убийцы милиционера с Хожей улицы. Своим людям он поручил задерживать каждого владельца зеленых очков с тремя белыми стрелками на оправе независимо от того, мужчина это или женщина.

ГЛАВА 12

Он провел весь вечер в «Марлене». Раз пять ему предлагали часы. Но в ответ даже на очень туманные намеки о перспективе переправиться за границу на каком-нибудь из кораблей моряки качали головами и, не поддерживая дальше разговора, отходили от бара. «Нужен верняк, — думал Анджей. — Иначе мне отсюда не выбраться».

От скуки он стал смотреть на девушку, сидящую через два столика от него. Она была очень хороша. Явно не местная. Пришла сюда с каким-то юнцом, которому в таком месте было явно не по себе. Они, видно, хотели перекусить и сразу уйти, но это оказалось не так-то просто. Несколько польских моряков демонстративно блокировали дверь. Молодой человек сразу понял, в какое трудное положение попал. К девушке то и дело подходили моряки, приглашая ее танцевать. Она одинаково вежливо отказывала всем. Моряки сбились в кучу и стали что-то оживленно обсуждать, временами заливаясь громким смехом. Спутник девушки побледнел, увидев, что моряки заняли столик по соседству с Анджеем.

Анджей забыл о деле, которое привело его в «Марлену». Игра, затеянная моряками с девушкой, становилась для него опасной. В конце концов мог произойти скандал, который повлек бы вмешательство милиции. Он хотел встать из-за стола и уйти, но решение принял слишком поздно. Моряки блокировали все выходы из бара. Больше всего Анджей боялся недоразумения с кем-нибудь из моряков. Подумав, он пришел к выводу, что лучше сидеть спокойно и ждать исхода события.

Девушка и ее спутник поняли, что не выйдут отсюда до утра. Поэтому молодой человек заказал водки, чтобы продержаться всю ночь.

Моряки дождались, когда водка появится на столе. Тогда один из них двинулся от стойки бара и, пошатываясь, прошел мимо столика девушки. Анджей хорошо видел, как, проходя, моряк сделал легкое движение бедром и толкнул столик. Бутылка упала горлышком в сторону девушки, и водка залила ей юбку. Моряк остановился и недоверчиво взглянул на дело своих рук. Этим взглядом он словно укорял шаткий столик, который так не вовремя попался ему на пути. Он небрежно поклонился, проследовал в глубину зала, оперся о стену в про-

тивоположном углу бара и оттуда нагло уставился на молодых людей.

Девушка встала, отряхнула юбку. Ее спутник подозвал официанта.

— Еще бутылку, — сказал он.

Моряк оперся локтями о стену и с улыбкой смотрел, как официант побежал выполнять заказ.

— Я тоже с удовольствием выпью, — громко сказала девушка вслед официанту. — Пожалуйста, апельсинового ликера!

Анджей заметил, что официант сильно нервничает. Он нес ликер, и поднос дрожал у него в руках. Моряк с улыбкой смотрел на подскакивающую бутылку, но не двинулся с места.

— Прошу вас, не уходите, — услышал Анджей шепот официанта. — Пожалуйста, не делайте попыток уйти отсюда, — обратился он к спутнику девушки, нагнувшись и делая вид, что стряхивает пепел со стола.

— Я знаю, — ответил спутник девушки. — Спасибо вам.

Моряк с иронией понаблюдал за этими маневрами официанта, подождал, пока ликер окажется на столе, а официант отойдет в сторону, и снова двинулся к столику девушки. Снова то же движение бедром, и ликер — на юбке девушки. Опять небрежный поклон и издевательское извинение. Взгляд девушки скользнул по моряку. Она вынула из сумочки платок и, наклонившись, стала аккуратно вытирать юбку. Ее спутник был обескуражен.

— Официант! — раздался спокойный голос девушки. — Еще бутылку ликера.

Дойдя до стойки бара, моряк обернулся и с уважением взглянул на девушку. Забыв об элегантности, дрожащими руками официант поставил на столик девушки очередную бутылку. Он натыкался на соседние столики, совершенно сбитый с толку, позеленевший от страха, ожидающий гораздо больших неприятностей, нежели залитая ликером юбка девушки. Потом постарался уйти подальше, в глубь бара, чтобы не видеть развязки событий.

Моряк двинулся от стойки. И вся история повторилась, словно трижды прокрутили один и тот же эпизод в кинокартине.

Анджей почувствовал, как у него вспотели ладони. Он нарушил столько принципов, а тут вот не может справиться с желанием вступиться за чужую девушку. Он хорошо знал, что моряка не интересовала именно эта девушка, что им руководит только пьяный азарт. Девушка уже не вытирала юбку. За соседними столиками посетители отвернулись, делая вид, что ничего не замечают. Спутник девушки сидел выпрямившись, с каменным лицом и стиснутыми зубами.

— Все-таки ликер лучше водки, — громко, на весь зал сказала девушка и рассмеялась. — Юбка у меня стала как накрахмаленная. Официант! Еще ликеру!

Спутник девушки не шевельнулся. Ни один мускул не дрогнул на его лице. У официанта подкосились ноги. Он оперся о столик и зашептал:

— Умоляю вас! Только ничего не предпринимайте. Делайте вид, что вы ничего не понимаете!..

Молодой человек промолчал, только еще крепче стиснул ручки кресла.

Моряк отошел от бара. Он уже не изображал из себя сильно пьяного. Он шел прямо к девушке. Анджей инстинктивно сжал в руке бумажную салфетку.

— Ну ладно, хватит, — сказал девушке моряк. — Вы можете идти. Ребята, — крикнул он, — выпустите даму! — Слово «даму» он произнес так, чтобы никто не сомневался, что девушка выйдет и до нее пальцем не дотронутся.

«Боже мой! — подумал Анджей. — Уходи, ну, пожалуйста, уходи! Воспользуйся этим и предоставь парня судьбе. Иначе он пропадет из-за тебя. Глупо пропадет».

Девушка спокойно посмотрела на моряка. Она поняла его и знала, что сама уже в безопасности.

— Спасибо, — так же вежливо сказала она ему, как и отказала в танце. — Мы пришли сюда развлечься. Мне очень нравится этот ресторанчик. Мы решили остаться здесь до утра.

Анджей почувствовал, как от злости кровь ударила ему в голову.

«Ты идиотка! — думал он. — Кретинка! Ты... Ты!..» — повторял он беззвучно, захлебываясь от злобы и страха за себя самого.

Моряк с минуту неподвижно смотрел на девушку, потом улыбнулся и кивнул головой в сторону напрягшегося, но безмолвного парня.

— Вы как хотите, но он не выйдет.

Девушка приняла это к сведению и предложила моряку ликеру. Они чокнулись. Шведы, которые были тут же в зале, громко засмеялись. Анджей почувствовал, как расслабились его мышцы. Люди за соседними столиками как ни в чем не бывало вернулись к своим разговорам. Официант с прежним оживлением забегал по залу.

— Пока вы с ней, — сказал он спутнику девушки, подавая горячее, — они вас не тронут. Это их закон. Они не сделают этого ради вашей дамы. Она им нравится.

Анджей встал и заплатил за пиво. На улице было совершенно темно. И только теперь, в темноте, он почувствовал себя в безопасности. Он рассмеялся с облегчением.

«Вот это девочка! — подумал он. — Водка и литр ликера на юбке, а она и глазом не повела. Тот тоже подонок, ведь он мог перевернуть столик со всеми тарелками ей на ноги. Чертов показушник! Да, не хотел бы я оказаться в шкуре ее мальчика. Он уже никогда не сможет верить в себя. А им только это и надо было. Ведь он ничего не мог поделать. Но и это его не спасет».

Он вспомнил глаза девушки. Большие, серые. Вначале они казались спокойными, но потом в них заплясал озорной огонек. Он пожал плечами. Вообще-то, какое ему дело до глаз незнакомой девушки?

Он решил и на этот раз переночевать на вокзале.

ГЛАВА 13

Шум и суета вокзала чужого города, сознание, что он никому тут не известен, дали ему возможность спокойно заснуть. Сидя, положив голову на руки, он спал лучше, чем в собственной

постели, и намного лучше, чем позднее в кустах парка. Когда проснулся, то заметил, что обеими руками закрывает лоб и щеки — закрывает лицо от чужих взглядов даже во сне. Светало. Возле него, борясь с дремотой, клевала носом девушка. Анджей встретился с ней взглядом и понял, что девушка смертельно скучает в ожидании своего поезда. Он невольно улыбнулся.

— Ну как, все еще нет поезда?

— Скоро будет, — ответила та. — Я тут смотрела, как вы сладко спите. Я бы так не смогла спать... на вокзале. Чтобы заснуть, мне нужно ляжать в постели.

Он обратил внимание, что девушка сказала «ляжать» вместо «лежать». Она была недурна собой, но какая-то серая, незначительная. Что-то подсказало Анджею, что девушка эта училась недолго и уделяла мало времени чтению книг. Она ничем не отличалась от городской девушки: так же подкрашивала глаза, так же, по моде, была одета. Бессонная ночь усталостью отразилась на ее лице. Анджей сразу, непонятно почему, почуял в ней легкую добычу.

«Наивность... Вот что. Деревенскую девушку внешне уже трудно отличить от городской, — подумал он. — Но деревенская девушка всегда доверчивее. Она всегда ожидает приключения, любви — этого большого события в жизни... Тебе непременно понадобится какое-то алиби, — осенило его вдруг. — Мужчина, в одиночестве болтающийся по улицам и вокзалам, всегда вызывает подозрение. Тебе нужна девушка. Именно такая. Не слишком умная и не слишком хитрая».

— Куда вы едете? — спросил он.

Анджей выпрямился, причесал волосы. Он уже не обращал внимания, наблюдает ли за ним кто-нибудь. Ему надо понравиться девушке. Показаться красивым и мужественным. Этого нельзя достигнуть, скрывая лицо от света, бросая по сторонам тревожные взгляды. Он был привлекателен, но знал, что на девушек действует не столько красота, сколько уверенность человека в себе самом. Ему надо забыть, что он в бегах, в страхе, если хочет поймать эту девушку в сети. Она ему как с неба свалилась, и он ее не упустит. Случай!..

«Правда, если бы она мне не понравилась, — подумал он, словно оправдываясь, — она могла бы идти ко всем чертям вместе с удачным стечением обстоятельств. Но она мне нравится».

— Мой отец тоже так может спать, — фыркнула девушка с внезапным оживлением, — где бог положит. Мужчины это могут.

— Мне не хотелось идти в отель, — бросил Анджей небрежно, — на пару часов. Я возвращаюсь в Познань.

— Вы живете в Познани? — заинтересовалась она слишком живо.

— Я там учусь, — ответил он и смерил ее равнодушным взглядом, чтобы проверить эффект сказанного.

— А я еду домой, — сказала она вдруг упавшим голосом, — в деревню Выжиск.

Анджей поглядел на потолок зала ожиданий, на пустые лавки, на буфет. Когда в зал вошел милиционер, у Анджея внутри словно что-то оборвалось, но цель, которую он поставил, по-

могла ему овладеть собой, и впервые за несколько дней он взглянул прямо в лицо представителю власти, хотя и не без внутреннего душевного трепета.

Милиционер остановился посредине зала, окинул взглядом скамьи для ожидающих. Рядом с буфетом на лавке лежал пьяный. Милиционер подошел к нему и потряс за плечо. Пьяный сел.

— Хорошо бы отдохнуть два-три дня, — говорил Анджей девушке и удивлялся своему голосу, который звучал ровно, не срываясь, даже несколько кокетливо. Милиционер в данную минуту требовал у пьяницы предъявить документы. Одновременно Анджей думал: «Если я отсюда выйду, нужно сейчас же уничтожить документы. Нельзя мне ходить с паспортом. Нельзя мне ходить с паспортом. Нельзя мне ходить с паспортом».

Он заметил, что мысли его остановились и буксуют на месте, но губы сами продолжали произносить любезные фразы, а глаза внимательно следили за милиционером.

— Тяжелый был год, — говорил он, — а я не наметил себе никакого плана на каникулы. Эх, сейчас бы я с удовольствием махнул на пару дней в деревню! Понимаете, в настоящую деревню, а не на какие-нибудь там курорты, в кемпинги и дома отдыха.

Милиционер оставил наконец пьяницу в покое. С тем невозможно было разговаривать. Пьяный старался произвести на власть приятное впечатление, но мешком падал на лавку. Это разозлило дежурного милиционера. Он потребовал предъявить документы еще у какого-то человека, судя по инструментам, торчащим из его брезентовой сумки, водопроводчика, выгнал из зала одиноко сидевшую в углу блондинку с накрашенными губами и сожженными перманентом волосами. Та для приличия немного поскандалила, но зал покинула, вызывающе покачивая бедрами.

— Попить бы парного молочка, — продолжал Анджей. — Поваляться в траве или в каком-нибудь тенистом саду...

— У нас есть сад, — сказала девушка, — рядом с домом. Очень красивый сад, — кокетливо добавила она.

Милиционер направился в сторону их скамьи, внимательно приглядываясь к девушке.

«Ага, он вылавливает проституток», — мелькнуло в голове у Анджея. Череп его раскалывался от нервного напряжения. Ладони вспотели. Милиционер подошел поближе, заглянул в лицо девушке, повернулся... Двери зала с треском захлопнулись за ним.

«Она тебя спасла, — подумал Анджей. — Тебя спасла эта девушка, и ее надо держаться».

— А может быть, мне можно будет полежать в этом вашем красивом саду? — неожиданно спросил Анджей и громко рассмеялся. Слишком громко и натянуто, потому что не смог сразу освободиться от пережитого напряжения.

— А почему бы и нет! — нисколько не смутившись, ответила девушка. — Как хотите...

Он не испытал удовлетворения от этой легкой победы, потому что теперь победа оказалась для него спасением и все его мысли были заняты только этим. Встал, вышел в туалет. В од-

ной из кабинок разорвал паспорт на мелкие кусочки и спустил обрывки в унитаз.

— А я уже думала, что вы убежали, — сказала девушка, неестественно оживившись.

— От вас?! — воскликнул Анджей и отвернулся, ибо хорошо знал, что всякая наглость имеет свои границы.

Они помолчали. Анджей придвинулся к девушке. Обнял ее. Та не сопротивлялась. У него уже давно не было девушки. Последнее время его мысли были заняты планами ограбления, и это настолько увлекло его, что Катарина отошла на второй план, и прежде всего ему хотелось только одного — золота. Вся его жизнь с тех злосчастных 11 часов 15 минут пятницы прошлой недели покатилась вниз по наклонной плоскости, и от Катарины осталась такая бледная тень, что Анджей перестал верить в страсть, которая его когда-то сжигала. И теперь для него были реальными только ограбление, убийство, бегство.

— Сейчас придет поезд, — прерывистым голосом сказала девушка.

И вдруг Анджей непроизвольно сунул руку в карман, нащупал кольцо с большим бриллиантом и надел его на палец девушке.

— Ну как? Нравится? Оно твое.

Та ошеломленно смотрела на камень.

«Готова», — подумал Анджей и благословил судьбу за то, что поддался неожиданному порыву. Это может спасти его.

— Я очень богат, — снисходительно сказал он. — Ты со мной неплохо проведешь время.

По радио объявили поезд до Выжиска.

Девушка вцепилась в Анджея. Бриллиант сверкнул на ее пальце огненными искрами. Она смотрела на камень, как сорока на блестящую жестянку.

— Ты у меня его не отнимешь? — спросила она искренно, по-детски.

— А что? Разве я похож на тех, кто отнимает?

Он-то знал, что непохож. И презирал тех своих друзей, которые требовали у девушек возвращения подарков, едва роман заканчивался. Он находил это омерзительным.

Перрон был почти пуст. Все стремились к морю, и мало кто ехал отдыхать в другом направлении. Анджей разыскал пустой вагон и заперся с девушкой в купе. Ее звали Агнешка.

Перевела с польского И. Смирнитская

Продолжение следует



Юрий ПАРКАЕВ

ПЕСНЯ В ПАРУСАХ

Какое утро!
Воздух чист и светел.
Затихло море.
                    Отошла гроза.
Матросы песню бросили на ветер,
и песня развернула паруса.

Ядреная, крутая, молодая,
прошедшая и штили, и шторма,
она вставала, солнцем налитая,
высокая, как молодость сама.

И, полные немыслимой отваги,
безусые
и те, что при усах,
следили ветераны и салаги
за песнею в мятежных парусах.

Скрипели мачты,
                    вздыбленные гневом,
любовью и тоской всея Земли,
и пахло морем,
                    грозами
                              и небом,
и ветром, долетевшим издали.

Когда матросы вынесли на сушу,
от предстоящих бурь оборонив,
ту песню, что распахивала душу, —
она не позабыла свой мотив.

Она текла в гитарном переборе,
глотая горький папиросный дым,
и вспоминала море.
Только море,
и паруса, поющие над ним.

* * *

Нам был всегда попутным
ветер страстный,
и берег наплывал на корабли,
но знали мы,
что притяженье странствий
сильнее притяжения земли.
...Расскажут лишь дорожные блокноты,
как постигались трудно и не вдруг
соленая романтика работы,
бессонная романтика разлук,
как мы мужали,
бурями пропахшие,
как верили
прогнозам всем назло
и возвращались,
без вести пропавшие,
как будто нам и вправду повезло.
И как нас ошарашивал вначале
наивный и внимательный уют,
а после
бесконечными ночами
нам снился скрип
пустующих кают...

ИДУ ПО ЗЕМЛЕ

Дай мне солнце в ладони
и небо на плечи взвали,
научи мое сердце
биенью веселого грома!
Я иду по земле
гражданином
и сыном Земли,
мне до крика,

до песни
сегодня легко и огромно.

Над березовой рощей
картаво пророчат грачи,
обещая лугам
ослепительно синюю вешность,
и, взрываясь на кочках,
хохочут лесные ручьи,
и клокочет в артериях космоса
Вечность!..

Я не верю в бессмертье.
Его не дано никому.
Но покуда живу,
не смогу затвориться укромно:
это солнце и небо,
березы в зеленом дыму —
все мое и во мне
бесконечно,
светло и огромно.

И когда я уйду —
я с собой не возьму ничего.
Все останется здесь,
на земле,
захлебнувшейся светом:
и лесные ручьи,
и картавых грачей торжество...
Я оставлю себе
только память об этом.

Но покуда живу я
и слышу дыханье земли,
я шагаю по веснам,
по гулким шагаю,
по синим.
Дай мне солнце в ладони
и небо на плечи взвали —
ведь покуда живу я,
мне это по силам!



Вениамин КОЛЫХАЛОВ



МЕЖ КРУТЫХ БЕРЕГОВ

1

Синь безоблачного мира,
Гор волнистая гряда:
То земля горбы набила
От извечного труда.

ЗЫБКОЕ МАРЕВО над голубой весенней землей, словно хакасская степь, прорастает гибкими нежными стеблями воздуха. Суслики у дороги выполняют свой коронный номер — стоят не шелохнувшись на задних лапках. Смотрят на отары запыленных овец, на бирюзовую всхолмленность далей, на автобус, бегущий к очерченным словно по лекалу горам.

Встают за Абаканом и катятся к Саянским хребтам пологие холмы. От бурой прошлогодней травы, примятой ветрами и снегом, они кажутся замшевыми. Не видел никогда раньше эту землю, но сразу появилась теплинка в сердце к холмам, к чабану в полинялом плаще и ко всей необъятной хакасской степи, пахнущей дымком, апрелем и родиной.

К вечеру степь как выстуженная изба. От небес и земли тянет холодом, будто перед лицом проносится сырой туман. Такое же ощущение испытал вчера, когда стоял возле водяной турбины четвертого агрегата Красноярской ГЭС. Внизу, в спиральной камере, шла титаническая работа Енисея... Двенадцатый агрегат стоял на профилактике. Представилась редкая возможность спуститься в спиральную камеру. Стальной тоннель десятиметровой высоты — основной рабочий цех Енисея. Один из двенадцати. Когда впустят сюда воду, от центробежной силы образуется такой смерч, что может и слона закружить, как пластмассовую игрушку.

Енисей от плотины течет с завидным спокойствием. Чувствуется в нем совсем не растраченная сила. Кажется, и не трудился в громадных бронированных тоннелях, не толкал лопасти рабочих колес. Экая силища! Целые века давят реку с боков горы, пороги пытаются испластать ее на перекатах, а она все такая же бунтарская, невредимая мчится в теснинах.

Еду в верховье, где река у́же и злее, где лодки бьются на перекатах, лопаются хрустко, как грецкие орехи под молотком. Енисей — река не полукровка, рысак чистых кровей. Резвыми жеребятами торкаются в бока притоки Кантегир и Казырсук. По весне с веселым ржаньем и топотом несутся они по каменистым тропам, и Саяны, что выхребтились вокруг, камнепадом приветствуют лихой забег.

Енисей, через два года тебя перекроют вновь. Произойдет это в Карловском створе, где возводится Саяно-Шушенская ГЭС, которая будет мощнее Красноярской...

В автобусе ко мне подсел мужик с оспинами на лице, словно выдавленными пистонами.

— В отпуск катался. В столицу белокаменную. Умучился — жуть. Сын мой на стройке шоферит. Машинешка старая, чехардит по дороге. Говорит мне сынок: «Батя, отпуск отпуском, а ты мне запчасти привези. Из-под земли достань. ГЭС простоев не любит. Молодежь высокую выработку дает, мне стыдно отставать». — «Привезу, — говорю, — коль выпадет фарт»... Приехал в Москву, шасть по карманам — бумажки нету, где детали записаны были. На переговоры вызвать сынка — бесполезно — оглухел совсем, не услышу. Письмо долго прошляндает. И стали мы пулять телеграммами... Вот на, посмотри. В одной сорок семь слов насчитал...

— Заботливый у вас сын.

— А то! Еще какой!.. Ты мне в Майне поможешь чемодан донести? Язви его — все жилы вытянул. Рука пухнуть начала, ноет и ноет по ночам... Тут одних подшипников полпуда... Страсть, какой у меня парень беспокойный. С меня слепок. Я если не наработаюсь за день — злее черта домой возвращаюсь. Обязательно поцапаюсь с жёнкой. А натружусь до смерти — добряк добряком. Вот, значит, такой оборот... Так ты не забудешь про чемодан?..

У Означенного дорога расстается со степью. Застывшими серозелеными фонтанами встают Саяны. Дорога жмется к Енисею, копируя его извороты, разматывается вдоль скал. В Абакане одна

смуглолицая дивчина пела златокованым голосом: «А где твой дом, хакасочка? — Са-я-ны!» Везде ее дом — и в степях, что недавно кончились, и в горах, что недавно начались и таинственно заманивают в свои лабиринты, смыкаясь за автобусом плотным кольцом.

Саяны служат домом и для гидростроителей. Горам сказали «вира» — и они вознеслись к небесам, ощетинились редкими сосняками по хребтам. В предгрозовую пасмурь диковато выглядят заснеженные вершины. Ползут туманы, обезглавливают их. Но с уходом туманов головы по волшебству прирастают вновь, и веет от утесов новизной и силой. Один из трех рабочих поселков гидростроителей называется Майна. Он будто и впрямь по команде «майна» опустился к подножию Саян, понадвинулся к Енисею, к широкой протоке с полуобнаженным дном, усыпанным галькой, заваленным валунами и глыбами льда.

По заберегам плывет белое окрошье. Река переживает последние гнетущие дни ледового пленения. Скоро солнце высоко поднимет свой золотой жезл. Енисей в горячке раскидает по берегам синебрюхие льдины и воскреснет для новой жизни.

Когда с Боруса и других вершин, растаяв, сбегут последние снега, река раздастся в плечах, укроет с головой пороги, хмельно и праздно понесется к низовью. Будет перекатывать, калибровать гальку и очертя голову нестись по своему каменному каземату. Енисей гордый. Он не преклоняется ни перед горами, ни перед человеком. Летит, массажирует бока на обточенных валунах. Густая испарина вспархивает вверх, и дрожмя-дрожат обеспокоенные берега.

Таким Енисей будет и нынче. Даже более свирепым. В горах всю зиму словно работала дробильная установка — мельчила снег, и он сыпался и сыпался на оцепеневшую землю. Снег прикатывало ветрами, трамбовало. Забивало ущелья, распадки. Май на подходе, а Борус белешенек. Веет холодом от вершин, затянутых плотными покрывалами густоснежья.

Круты Саяны — пусти оттуда дровни, найдешь ли хоть щепку у подножия? Низкорослые сосны примостились на уступах. Удивляешься: как же им хватило дыхания забежать туда, на крутизну? Еще больше удивляешься, когда думаешь о их жизни, о корнях, сумевших вползти в узкие щелевины. Приискали себе чуточку земли и намертво впились в нее.

Приехали сюда люди, так же хватко и жизнестойко пустили корни. Горы и реки знают такую присушку, что влекут к себе вновь и вновь...

Паводок ожидается бурный. В котловане готовится оградительная бетонная секция, чтобы вода ненароком не натворила бед. Котлован — передовая стройки. На передовую особенно просится молодежь, которая решила нынешний год сделать годом проверки своей боевитости.

Уважительно произносят здесь три таких звучных буквы — УОС. Управление основных сооружений. Уосовцы — они как матросовцы, слышал я меткое высказывание. Только молодежь не на амбразуру идет — на Енисей. Грудью его не прикроешь: надо успеть до паводка уложить более двенадцати тысяч кубометров бетона.

Кого послать на передовую? Кто успеет поднять бетонный щит перед рекой, осадить стремительный бег, не пустить в котлован? Отрядили испытанную гвардию — молодежь. Давай, государыня река, попытаем силу!

Для совместных действий соединились две армии плотников-бетонщиков. Главкомы Ветошкин и Полторан, выигравшие не одно сражение под Дивногорском, знали верный подход к людям, знали они верный подход к трудному бетону. Рабочие на огневой точке строительства обретали крепость и закалку бетона. Бетон становился одушевленным, потому что молодежь с пóтом вкладывала в него по самой лучшей частице своей души. Эти хозяева своего дела, применяя опыт прошлых строек, знали, когда «поспеет» в блоках бетон, когда со спокойной совестью можно вытащить вибратор, отдохнуть, смахнуть с горячих лиц солкую росу.

Большой бетон... Наконец-то светостроители дождались святого часа. Пришел срок, когда бетон стал властно довлеть. Плотина, которая гармошкой растянулась на чертежах, просит и просит его ненасытно. Нельзя не дать вовремя — затормозишь рост плотины.

Непоседливого Михаила Полторана словно носило над землей на воздушной подушке. Минуты не постоит на одном месте. Чувствовалась в парне неизрасходованная энергия, прибереженная для такого большого дела. Крутился вокруг ребристой арматуры, опалубочных щитов, стального короба, куда бросали ребята скальные осколки, подготавливая основание под заливку бетона. Копьями ощетинилась арматура — сталь намертво врастала в бетон, а бетон — в дно Енисея. Огромным кораблем, сходящим со стапелей, казалась водораздельная стенка.

Изглоданные экскаваторами и бульдозерами горы вокруг котлована, взрывами проложенные дороги, с тяжелой одышкой работающие компрессоры — ничто не отвлекает внимания бригадира. Многоярусность гор, взметнувшиеся в поднебесье жирафьи шеи кранов, многотонные самосвалы, бегущие по перемычке, — все такое привычное не замечается за сутолокой дел. Надо укладывать в блоки бетон. Куб на куб. Бадья на бадью.

У Полторана завидная юность и жизнь. Его помнит плотина Красноярской ГЭС. После той прославленной стройки надо было найти дело по значимости такое же яркое и большое. И он нашел его...

Сама история вдохновила Россию на подвиг. То, что сделано и что сделает народ, засверкает семигранным счастьем, колыхнется радостной волной в душах и сердцах потомков...

Человек и земля — побратимы. Человек сильнее. Он может наперед рассчитать свою судьбу и судьбу планеты. Есть еще время остановиться на росной тропе и подумать о будущем. Какие земли взять припашкой, какие горы взорвать. В освященный немалыми делами век, когда мигрируют не только люди по земле, но и реки, хочется верить в искреннюю дружбу человека и земли, главного дома, в котором он живет...

Приосанился бригадир. Нравится ему деловитость своих ребят. В каждом лице он опознает себя в пору зрелости и возмужания, когда время определяло значимость на земле и пригодность веку. Юность на взлете, и некогда раздумывать, куда мчаться когда у страны и комсомола дел невпроворот. Ребята слетелись сюда. Горный и гордый перелет их радует.

Пулеметными очередями стрекочут отбойные молотки. Не пу-

стые гильзы — крошево скалы разлетается в разные стороны. Многоборье со скалой идет не первый день. Надо вспороть по трещинам парасланцы, выбрать слабые участки скалы, дойти до монолитного основания. Как восковые, гнулись ломы в щелях — глыба не поддавалась. Пробурили отверстия, вогнали стальные клинья, призвали на помощь кран. Прогибалась стрела, гудела лебедка. Казалось, что кран худел на глазах от такой непосильной работы.

С подчеркнуто спокойным выражением лица неторопливо ходил возле рабочих Ветошкин. Он когда-то был в бригаде Полторана простым рабочим. Сумел перенять за два года все таинства профессии бетонщика, научился мертвым сном усыплять бетон в плотине. Теперь учит других.

Бригады наращивают одну и ту же секцию. Такая же копьевидная арматура, опаленная блестким светом электросварки, торчит меж опалубочных щитов. Коростелем скрипят тросы крана. Мелькают охряные и голубые каски рабочих. Кран словно трудолюбивая пчела. Бережно несет он бадью со взятком бетона. Опалубка блоков — соты улья — готовы принять такой нужный груз.

Ветошкину кажется, что кран слишком медленно подает бетон, а машины не так быстро его подвозят. Но все идет нормально, по заведенному порядку. Просто мысли бригадира опережают события.

Перемычкой, взрывами и машинами люди отпугнули реку. Она метнулась в сторону, прижалась плотнее к своему кровному левому берегу, неохотно уступив человеку свои владения. Правобережье разворочено, смято, изрыто стальными землекопами. Громадная оспина на теле земли стала именоваться теперь котлованом первой очереди. «Отхлынь пока, Енисей, — сказал человек, — не мешай нам. Мы выстелим тебе бетонное ложе».

Напоминая издалека стрижиные норы, виднеются в скале зевы штолен. Работают скалолазы из бригады Бориса Беленького, сбивают ломиками нȁвеси. Летит вниз горная осыпуха. Горы выбрали себе самых смелых парней. Парни выбрали себе самые лучшие горы. Скалолазы ездили для стажировки в Алма-Ату, совершали восхождение на Тянь-Шань. Павлу Налетову, Юрию Калганову и другим скалолазам приходится выносить нагрузку посильнее, чем простым альпинистам. Лазят по откосам с перфораторами, производят забурку под анкера. Прокладывают высоко в горы лестницы, устанавливают защитные сетки, чтобы обезопасить работу людей внизу.

На языке инженеров эта вертикаль носит название «правобережная врезка». До гребня плотины проложили дороги. Берег до недавнего времени напоминал действующий вулкан. Взрывали, и он извергал лаву камней и пыли. Теперь надо скалолазам зачистить то, что нависло и грозит упасть в любую минуту. В эту врезку упрется один конец дугообразной плотины. Такую же площадку для другого конца плотины готовят на левом берегу. По узкому логу на головокружительную высоту при помощи лебедок и полиспастов затащили экскаватор. Отсюда не слышно, как он вгрызается в размельченную взрывами породу, как клацает своей стальной челюстью.

Когда люди приведут свои смелые замыслы в исполнение, в берега Енисея, как бы обнимая одновременно реку и горы, упрется двухсотсорокаметровая по высоте плотина. Достанется го-

рам от таких «дружеских» объятий — при громадном давлении воды основная нагрузка махины в десять миллионов тонн ляжет на горы. Гордитесь, Саяны, такой святой участью. Вы сильные — выстоите.

Поднимаю голову, смотрю на отметку, где пройдет гребень плотины. Высота почти в половину Останкинской башни. Громадное пространство от берега до берега придется брать в опалубку, оплетать арматурой, заливать бетоном. Не могу приобщить это дело к сказке, потому что знаю возможности советских людей. Вот здесь, на берегах Енисея, за много верст от шумных городов обретает еще одну живую плоть ленинская мечта.

Не угасли отсветы на лицах от зари революции. Поднялась молодая смена с тем же огнем в глазах, с той же жаждой счастья и любви...

2

Комсомол — это подвиг,
Мечты и дороги.
Он рожден для бессмертья
И вечной тревоги.

БЕСЕДУЮ с Василием Кизиловым, и радость вливается в душу. Весельчак. Подойдет к комиссару общежития Тамаре Селиончик и начнет что-то высвистывать.

— Что пропел, Тома?

— Не знаю.

— Селиончик, дай миллиончик.

Тамара сама веселая. Не сердится. Ее фамилию во всех списках путают. Девять вариантов насчитала.

Собралась как-то с девчонками уголь разгружать. Вагоны простаивали, комсомольцы решили выручить. Кизилов только-только в костюм нарядился, одеколонился.

— Вася, за мной!

— Куда это, Тамара?

— На уголек. Деньги в общий котел. Палатку купим.

— Эге! А свиданье как же?..

Вернулись вечером чернее трубочистов. Кизилов ломиком люки в вагонах открывал. Привычно, словно всю жизнь тем и занимался.

Жизнью парень не избалован. Учился в Макеевке, в школе-интернате. У них традиция — после школы на ударные стройки. Их выпуск выбрал Саяно-Шушенскую ГЭС. Перед самыми экзаменами Кизилов получил четверку по поведению. Ах ты, мать честная, — в кафе раньше времени удул. Засекли. Наказание вынесли — на стройку не поедешь. Подговорил Ольгу, школьную любовь, — махнем Приморскую ГРЭС строить. Бетон везде один. В поезде справили день рождения Ольги. Часы ей подарил. (На свою долю мало досталось Василию ласки и подарков. Отец привел в дом махечу, Кизилов сразу убежал к неродной тетке.) Едут в поезде — настрой хороший.

— Кизилов, пойдешь в арматурщики? — спросили на стройке.

— Подождите, посоветуюсь.

Вышел из отдела кадров.

— Иди в арматурщики! — подтолкнула Ольга. — Через сталь к бетону легче попасть.

Арматура рвала рукавицы. Ольга стала рвать сердце: один востроглазый парень начал обхаживать школьную подругу. «Бросай Ваську. У вас любовь невсхожая». Вася, Вася — буйная голова. Знаю, не робость тебя подвела — характер уступчивый. Упустил девчонку.

Василий серьезно призадумался над жизнью и превратностями судьбы. Его однокашники Саяно-Шушенскую ГЭС строят, а он тут любовные конфликты разрешает. Поехал на Енисей. Приняли учеником бетонщика.

Уходил в армию — оставил у коменданта общежития свой пионерский галстук. Со школы хранил. Вернулся обратно на стройку, галстук над кроватью повесил. Распростерла по стене крылья красная птица. Четвертый год никуда не улетает, постоянно напоминая о жаркой сказочной стране по имени детство.

Рядом с галстуком медаль из мрамора. На ней надпись: «Саянские ритмы». Вася в молодежном ансамбле поет, вот и получил награду.

Приходит с бетона изнуренный. Новичкам еще хуже — не один месяц кости болят. Едят как солдаты по первому году службы. Кизилов ворчит на поваров:

— Лучше кормите ребят. Гарниру побольше шлепайте в чашку. Да варите повкуснее, чтоб макароны порохом не пахли.

— Эх, Васька! Скорее бы ты женился. В столовую хоть перестанешь ходить надоедать.

— Не радуйтесь, товарищи повара, женюсь — по линии комсомола и народного контроля проверять буду.

Подстерегла на жизненном перепутье нешуточная любовь. Никогда раньше Кизилов не испытывал такого состояния. Сердце бросает то в жар, то в озноб. Бетон перестал казаться тяжелым. Самый будничный день превратился в веселый праздник.

Комсомольцы бетонировали свой блок, оставаясь после смены. Паводок придет по расписанию весны, ждать и тянуть некогда. Но паводок его любви нахлынул неожиданно. Василий садился в общежитии на кровать и в сотый раз вопрошал: что же делать? Растерянность была так велика, что парень почти в первые минуты нашего знакомства как на духу исповедался мне.

— Дохожу до ее ступенек — в ногах дрожь. Вчера говорю: «Валя, выходи за меня замуж». Молчит. Улыбается... За все недели даже не спросил, сколько ей лет. Интуиция подсказывает — мы ровесники... Сегодня после смены ушел за компрессорную станцию, в горы, и запел. Иду дорогой, ору, связки голосовые расширяю. Нарвал ей самых лучших цветов... В горах у нас — чудо. Еще снега не сбежали, а внизу лютики, подснежники, колокольчики. Снега превратились в ручьи, сбегают вниз, а цветы по талой земле взбираются вверх. Все выше и выше... Люблю горы и петь люблю... Спрашиваешь, кто она? Лаборантка, в поселке Означенном живет...

Нет, со мной такого еще не было. Я так думаю: если случилась любовь, зачем ее терять?.. Иногда по пустякам ссоримся. Вчера повернулась, уходит от меня. Прошу: «Валечка, подожди минутку».

Идет. «Ну полминутки». Идет. «Ну пятнадцать секунд». Идет... Ах так, думаю, завтра же в Абакан поеду, запишусь на грампластинку. Все наболевшее выскажу и вместо точки песню грохну. Пою неплохо в «Саянских ритмах». Не хвастаюсь — люди говорят... Да, в таком ритме еще не стучало сердце...

— Ездил в Абакан записываться на пластинку? — спросил я Кизилова через четыре дня.

— Времени нет. То футбол. То работа. То эстрада... Да и незачем. Помирились. У нас так — иду с нею рядом два часа и даже за руку страшусь взять...

Долгое время стройка испытывала финансовые затруднения. Нынче щедро дали денег — стройте, осваивайте.

Начальник строительства Саяно-Шушенской ГЭС Александр Иванович Карякин, прошедший служебную лестницу от самых первых ступенек, в душе радовался привалившим миллионам. Деньги кстати: пришла пора большого бетона. Объем работ с каждым месяцем будет возрастать, и во весь свой саженный рост встает проблема кадров.

— Нам бы побольше демобилизованных воинов, — делился своими планами Александр Иванович. — Общежития у нас хорошие. Ванны. Электрические печи. Понимаю, не велика радость променять казарму на общежитие. И не вечно ребята холостяковать будут. Об этом мы думаем. Строим для малосемейных дома гостиничного типа.

А пока рабочие принимают зачастую на свои плечи двойную нагрузку. Тревогу за судьбу стройки особенно испытывают молодые. Ведь это их руками уложен первый бетон, поставлена водораздельная стенка. Сооружение временное, но с каким старанием укладывали туда бетон, работая на пронзительных зимних ветрах. Качество работ настолько высокое, что вызывает восхищение гидротехников.

Поселок Майна удобно разлегся в займище, и горы взяли его под свою охрану на долгие годы. Говорят, здесь когда-то было русло Енисея. Река уступила место человеку, будто знала, что оно потребуется для гидростроителей. Енисей метнулся вправо, доверительно прижался к скалам. Мохом, багульником и кустами покрыты они да утыканы белыми иглами берез. Царственно стоят сосны, напоминающие издалека ежики для чистки ламповых стекол. Птицы во всеуслышание поют о весне. Скоро сиреневым дымом расцветшего багульника затянет близкие и далекие горы.

Река на память о себе оставила огромные глыбы. Они торчат из земли готовыми постаментами для памятников. К камням притулились баньки, поленницы дров, перевернутые вверх дном длинные лодки. На таких устойчивых лодках легче брать перекаты. Кусками пиленого сахара лежит в оградах мрамор. Мрамором обложены клумбы, а в гостинице «Борус» выложена небольшая стенка перед входом на второй этаж.

— Это остатки с прокладки, — объяснили мне. — Дорогу прокладывали к створу. На пути — выход мраморной горы. Нельзя никуда свернуть. Справа — скалы. Слева — Енисей... Взорвали, конечно. Долго сыр-бор шумел вокруг мрамора. Мы дорогу жизни строили, а тут приказ — отставить. Время идет, а мы все маячим на пальцах, шлем друг другу депеши. Лаврентьев из Академгородка приезжал. Дошло до управления по контролю за охраной недр.

Чем все кончилось? Читаю протокол заседания комитета госгортехнадзора: «Считать возможным производство вскрышных работ и строительство подъездных дорог на Кибик-Кордонском месторождении мрамора при высоте уступа до десяти метров методами контурного взрывания...» Страсти улеглись. Дорога проложена. А мрамор... его, как говорят специалисты, хватит здесь на тысячу лет. Даже тот, взорванный, идет на крошку для отделки домов в новом поселке гидростроителей — Черемушках. Из больших монолитов выпиливают плитку.

— Мы комсомольцам памятник из мрамора поставим на загляденье! — говорил начальник строительства. — Пусть только едет к нам молодежь. Кто не имеет специальности — здесь получит. Учебная база у нас хорошая... Сейчас нам так необходимы крепкие плечи комсомола!

Пролегала здесь когда-то охотничья тропа. Звери, навострив уши, медленно переходили ее, спускаясь к водопою. Стоило хлебнуть енисейской водицы, проходила сухота в горле, восстанавливались силы для бесконечного марафона по скалам и распадкам.

Нет тропы. Нет водопойных переходов. Вспорота взрывами земля. Деревья, попавшие под бомбежку, оглушенные и израненные, делают попытку самозалечить раны.

По курсу охотничьей тропы пролегла к Карловскому створу бетонка. Рычащие стеклоглазые звери несутся вдоль реки, мимо гор. Рядом с бетонкой стальные жгуты железной дороги. Обе дороги — главные артерии стройки. Третья артерия — Енисей. На подходе ледоломные дни. Недолго осталось ждать того часа, когда река щедро разбросает по берегам, утащит в низовье свой колкий мрамор. И тогда тремя путями пойдут грузы — все, от болтика до многотонных ферм.

Как важно то, что сделали люди за годы жизни на этих берегах. Склады. Мосты. Мастерские. Дома. Дороги. Василий Кизилов тоже строил бетонку. Снег порошил глаза. Дожди и ветры дубили лицо. Ветры из межскалья прилетают напористые. Летят куда-то в поисках райской жизни в других обетованных землях.

Василий легко преодолел психологический барьер. Первую неустроенность. Постоянные физические нагрузки. Кизилов сам навязал дружбу этим горам и никогда не лукавил с ними...

Плотно забивают створ мутно-сизые туманы. Они поднимаются почти вровень с вершинами — и встает прообраз будущей плотины. Думаешь, что это не туман, а плотно утрамбованный бетон. Но вот горы выпустили с миром солнце из своих теснин, мираж исчез...

Вновь открылись — котлован, перемычка, баррикадой загородившая его от Енисея, серо-черные скелетины кранов. Насосы откачивают поступающую из подземных трещин воду. Запыхавшись, прибегают с бетонного завода машины. Лежащие на земле бадьи готовы принять свежий замес. Среди арматуры сварщики пускают с электродов лучистые звезды. Звезды беснуются, шипят, силясь покинуть стальную решетку и вознестись в небо, к солнцу.

Рядом с растущей секцией бурильная установка. Изыскатели бурят смотровую скважину-шахту. Керн выходит почти метровой толщины. Технорук Петр Тимофеевич Лимарь внимательно рассматривает новый выход керна. Парасланцы. По крепости сродни гранитам. В пробуренной скважине на глубине пятидесяти двух мет-

ров установят высокоточные контрольно-измерительные приборы. Они будут следить за поведением основания плотины, фиксировать ее горизонтальное и вертикальное смещение.

Двадцать пять лет Петр Тимофеевич ведет изыскательские работы. Под Новосибирскую, Бухтарминскую, Красноярскую электростанции. Десять лет на Саяно-Шушенской. По отчетам, только колонковым бурением пройдено здесь сорок километров различных скважин.

Котлован ежедневно, еженощно живет напряженной жизнью. Часто он слышит взрывы, сирены. Изредка — барабанный бой, звуки горна. Это появляются на перемычке школьники в парадной форме. Ребят будут принимать в пионеры. Здесь, на фоне стройки, дети увидят, как велико дело их отцов. Пусть под трубные звуки и они себя готовят для будущих новостроек.

В котловане сопровождал меня Виктор Федорец, комсомольский вожак стройки. В его кабинете справа от стола памятные знамена и вымпелы ЦК ВЛКСМ.

Виктор — гидротехник по специальности. Его мать работает в Министерстве энергетики Украины. После окончания института упрашивала: «Сынок, оставайся, должность хорошая будет обеспечена... Да и на моих глазах будешь». Но захотел Виктор быть на глазах своих сверстников-светостроителей, на глазах Саянских гор.

Новое время испытывает на стойкость новую юную смену. Вот красноярская комсомолия объявила большой поход. В этом походе каждому нелегко, потому что от каждого требуется максимальная затрата его сил и знаний. От каждого — высшую производительность труда. Пять высоко значимых слов как пять боевых патронов в обойме.

К длинной очереди в столовой подошел парень ростом выше всех на голову.

— Чего в гриву очереди лезешь? Иди с хвоста путь начинай. На тебя не занимали.

— Ребята! Да что вы, право?!

— Шуруй, шуруй. Ишь трутень, на гуляш прилетел... Жрать мастак, а не рвешь, однако, гужи.

— Он за вибратор, как за коляску с младенцем держится.

— Ты знаешь рабочую формулу молодежи нашей стройки? На каждого брата — дел палата...

— Вы что — за пропущенную бригадную десятиминутку мне мстите? Надоели агитки. Я их сам «от» и «до» знаю... Последний раз спрашиваю — занимали на меня очередь?

— Занимали. Становись... А вообще-то не надо бы пускать. Отбиваешься от коллектива. Все он «от» и «до» знает. Мы не об агитках, а о сачках говорили. О производительности тоже. Бетон идет. Енисей с гор идет на нас. Чей поток быстрее?.. Вот мы о чем толковали — кто сачкует, тот против стройки... Ладно, Серега, честно скажу — мне велели провести с тобой индивидуальную беседу. Другого свободного времени не выберу. Только в очереди оно и осталось у меня... Половину беседы провел. Хочется один вопрос тебе задать. Кто сказал: «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя»?.. Так чьи это слова?

— Сам придумал. Или в постройкоме с обязательств сдул.
— Эх, ты... Ленин это сказал. Усеки эту мудрость и кончай сачковать.
— Слушай, не порти мне аппетит.
— Тебе испортишь! Ты сейчас четыре гуляша умолотишь.
— Умолочу, завтра ворочу... Не сомневайся.

3

Изучаем по стройкам
Свою географию.
Электродами пишем
Свою биографию.

К ДВЕРЯМ комнаты пришпилены восемь календарей: все годы, проведенные взрывником Владимиром Сачеком на стройке. Первые календарные листы слегка пожелтели, выгорели от скупого солнца, которое часто прячется за горами и тучами.

Поглаживая махорочного цвета бородку, он говорит о своей судьбе: «Она у меня сложилась так, как я хотел. Время есть, можно кое-что изменить».

Восемь лет в общежитии. На одной кровати. Только недавно одеяло пришлось сменить.

Нет ему по стажу равных в общежитии. Живет в комнатке на двоих. За восемь лет на соседней кровати успело перебывать более двадцати человек. Кто женился и получил квартиру, кто уехал на другие стройки. Владимиру придется, наверное, новые календари на дверь прикреплять. Если не женится. Он заявляет:

— Если уж совсем нечего будет делать, тогда женюсь.

Но дело любимое есть — фотография. Пять аппаратов у него. Фототека большая. Снимал молодежь, когда она рубила первые ряжи. Когда строила ажурный трехпролетный мост через Енисей. Снимал скалолазов. Выбирая для съемки нужную точку, сам повисал над бездной. За серию таких снимков на фотовыставке «Хакасия-72» получил диплом первой степени. На полке среди книг хранит несколько номеров журнала «Юность», где печатались его фотографии. У Сачека мечта — хочет поступить в МГУ на факультет журналистики.

Все сбережения уходят на поездки. В фототеке Таллин и Ангарск, Карловы Вары и Рига, Кызыл и Прага.

Когда приехал Владимир на Саяно-Шушенскую ГЭС, неделю по начальству ходил... Послали его в Верхне-Енисейский леспромхоз на заготовку леса. Кто сразу побежал покупать билет на обратную дорогу. Кто после нескольких дней изнурительного труда в лесу убежал... Владимир научился и лес валить, и вязать плоты. Выдержал проверку. А потом вел теплотрассу под жилые дома. Заливал бетон. Землю копал.

Саяны полюбил быстро и надолго.

— Эти места, — рассказывал он мне, — были известны медной рудой и мрамором еще в екатерининские времена.

В голосе нежность и гордость за свой богатый край. Мы сиде-

ли до полуночи в его комнатке, пили растворимый кофе. Владимир беспрестанно вставлял в аппарат цветные диапозитивы и показывал увлекательное кино. Экраном служила стена, возле которой стояла кровать соседа. Менялись кадры — менялись над кроватью цветастые гобелены. Вот появились два колокольчика, снятые крупным планом. Цветы наклонили друг к другу головки, шушукаются о чем-то. Сачек озвучивает кино: «Весенний секрет... Скалы... Заросли расцветшего багульника... Альпийские луговины... Бабочка, сидящая на руке... Крупная роса, готовая вот-вот сорваться с малиновых листьев... Сосенка, прижившаяся на трухлявом пне».

Исходил он с аппаратом все горы окрест. Поднимался на лодке до грозных порогов. Радовался, когда удавалось сделать хороший снимок, подсмотреть в природе неповторимый миг ее жизни.

Привык Владимир в природе и в человеке подмечать и любить доброе, светлое. Давно уяснил, что не на китах, а на доброте людской испокон веку держится земля. С таким мироощущением ему легче шагать по жизни. Понимает парень, что русская доброта — тоже национальное достояние народа. Как всякое истинное богатство земли ее надо беречь и приумножать...

Какая притягательная сила в горах! Сколько в них смирения и величия! Кого угодно закружит каменная карусель. Прикоснись к обомшелым скалам, поставь ногу на тропу. Под действием немого колдовства просыпается любовь к окаменевшим демонам. Белопенные заструги снегов по уступам. Безмолвие глянцевых вершин... Спускаешься ниже, ниже. Выбегают навстречу лютики, ластятся жарки — раскаленные угли на стеблях. Первые комары, как глухому, начинают дундеть тебе под самое ухо захлебистую скороговорку. В прогретом логу сухо. Краснотал продирается между камней. Безветренно: желтая пыльца с вербы от собственного веса или земной струящейся теплоты срывается, золотой кухтой летит над бурливым ручьем.

Размашисто шагают по логу столбы электропередачи. Пчелиным ульем погуживает трансформатор у дороги. Оголенные провода свесились к пожухлой траве, которую вспарывают повсюду лезвия молодых трав. Сверкает на солнце табличка на боку трансформатора: «Не трогать — смертельно!» А подснежники безбоязненно лезут к оголенным проводам. Цветы знают только грамоту земли, другой не обучены. Их короткая жизнь заполнена работой — им надо успеть вырасти, порадовать человека первоцветьем. Подснежники прикоснулись к проводам и остались целы и невредимы. Что им бояться — цветам уготована вечность. Они бессмертны...

Бессмертны дела людей, что оставляют после себя мосты, дороги, ЛЭП. Вот здесь, в Карловском логу, люди поставили мощную компрессорную станцию. Нужен громадной силы сжатый воздух для перфораторов и пневматических бетоноукладчиков. На левом берегу Енисея проходчики пробивают в скале тоннель — дорогу на гребень плотины. Пока пройдена первая сотня метров — одиннадцатая часть пути. Пути тяжелого, задавшего проходчикам трудную, но разрешимую задачу. Думали, что скала крепка в этом месте и можно ввинчиваться в гору без установки крепления. Но породы пошли рыхлые. Приходится стены и свод оплетать тя-



желовесными металлическими арками, делать опалубку и укладывать под большим напором бетон.

Натужно идут по Карловскому логу бетоновозы. Тяжело взбираться с грузом к проходчикам в горы. Выше, выше ползут машины. Встречь ошалевшему от тепла ручью. Мимо цветов, деревьев, валунов, которые вольготно разлеглись, как арбузы на бахче.

«Приезжай сюда, дорогая, — писал бетонщик Владимир Блохин своей жене. — Златые горы не обещаю, а Саянские будут — это точно». Вера в душе костерила муженька. Экий он у нее непутевый — сорвался с обжитого места, поехал искать «дело по себе». Окончил фармацевтический институт. Заведовал большой аптекой. Испытывал на кроликах и лягушках внутривенную глюкозу, годность сердечных препаратов. Имел хорошую квартиру, гостиный и спальный гарнитуры. Все бросил. Как Алитет, замуровал себя в какието горы, да еще и ее, Веру, сманивает. Письма шлет не какие-нибудь — в стихах. А чего радуется? Живет в общежитии, работает на бетоне. Снимает после смены робу, а она, как скафандр, колом стоит. «Ну где это видно, чтобы аптекари на бетонщиков переучивались? — сокрушалась жена. — В аптеку придет, халат белоснежный наденет —

любо посмотреть. Пробирки, колбочки, весы сверхточные. Да, видимо, перетянула чаша других весов — сорвался, уехал».

По весне Вера не выдержала, решила посмотреть, что же это за горы, что взять человека взяли, а отпускать не думают. Приехала. Муж заранее удочки приготовил. Знал, когда приглашать жену — в клёв. Сорога, елец тогда здорово на крючок шли... Повел жену в горы. Батюшки! Цветов-то! Хоть сенокосилку пускай. Только по горам сенокосилке долго не набегать. Нарвала полную сумку, всю комнату в общежитии заставила.

Но прошла первая хмельная радость жены. Домой стала звать.

«Скажи мне, в кого ты такой бродяга?»

«В отца. Он из родных рязанских мест в отходничество часто уходил с топором. В Москве плотничал, в Узбекистане, на Дальнем Востоке... Бродяжий дух не выветрился — в сына перешел... Хочешь, новый стих прочитаю?»

«Володя, поедем... Где твои интеллигентные руки? Смотри — пальцы все потрескались, не ладони — рашпили... Диплом лежит без пользы».

«Я тут помогаю людям. Лекарства нужные выбираю. Однажды парень ногу на стадионе сломал — сразу шину наложил. А ты говоришь, без пользы... Бетон — сила! Пощупай мускулы — хоть каждый день рулеткой замеряй».

«Пить не научился здесь?»

«Что ты, Верочка! Если бы все такие пьяницы были, как я, то сегодня можно милицию распускать. Сама знаешь мою норму — по чайной ложке сухого вина для аппетита... Вот что — поезжай продавай гарнитуры».

Вера рассказывает:

— Поехала, продала полированную мебель... Два года вместе на стройке. И за орехами кедровыми ходили. И в Шушенское на экскурсию ездили. Теперь ждем не дождемся, когда Енисей очистится ото льда. На рыбалку поплывем... Золотой у меня муж-то. Не пьет. Не курит. Спортом занимается Тропинку свою просек в траве. Бежит и еще успевает стих на ходу заучить... На работе какой-то универсальный инструмент придумал. Премию получил. Грех на Володю обижаться. Если честно сказать, то Саянские горы лучше всяких златых...

У каждого человека своя судьба. У каждой стройки тоже. У возводимой в верховье Саян гидроэлектростанции большое предназначение — она будет сердцем Саянского территориального комплекса, о котором сказано в Директивах последнего партийного съезда. Много крупных промышленных предприятий получат энергию Саяно-Шушенской ГЭС.

Трудно представить, что Енисей не сможет покориться человеку. Разве у человека мало техники, силы и опыта, чтобы покорять реки, ставить турбины и выжимать мускульную силу, накопленную в поднятых плотиной водах! На Зейской ГЭС встречал написанные на сопке слова: «Покорим тебя, Зея!» Мне больше по душе обращение к реке здесь, в Саянах: «Идем на вы, Енисей!» Рассказывали, что много было споров — можно ли выдвинуть такой

лозунг, не звучит ли он слишком старозаветно. Предлагали другой: «Мечте Ильича сбыться». Решили оставить оба. Но, какие бы лозунги ни были, все равно не посчитаются с суверенными, веками выработанными правами реки. Где надо — взорвут, где надо — перекроют. Плотина в ленинских местах будет стоять так же неколебимо, как на Волге, Ангаре и других реках.

Олесь Грек уже однажды принимал участие в перекрытии Енисея. Впервые в Красноярский край приехал для прохождения преддипломной практики. Заканчивая факультет журналистики Киевского университета, решил написать серию очерков о строителях. Олесь понимал — тогда можно отковать звонкое слово, когда сам испытаешь радость труда, сойдешься ближе со своими современниками. Устроился арматурщиком-высотником. Возводил мост через Енисей. Написал семь очерков и дал им общее название — «Самоцветы сердца людского». Иными гранями засверкало слово после года общения с монтажниками. Диплом получил с отличием. Предстояла работа в республиканской газете. Через четыре месяца обещали квартиру. Вскоре редактор газеты улетел в Женеву на всемирное совещание по труду. Олесь, посовещавшись со своим сердцем, не дожидаясь возвращения редактора, поехал снова на Енисей...

В Дивногорске окончил вечерний гидроэнергетический техникум. Работал на Красноярской ГЭС от первого до последнего бетона.

Его очерки о сибиряках — потомках Ермака — печатались в газетах и журналах. Верю — со временем родится и книга. Приехав на Саяно-Шушенскую ГЭС, возглавил литературное объединение «Стрежень». Олеся и самого всегда тянуло на стрежь жизни, ближе к людям и природе. В Дивногорске не было багульника по горам. В Майне на радостях наломал, наставил букетов вдоль четырех стен комнаты. Посередине — кровать. Не знал он, что багульник может дурманить голову, как бражка, постоявшая возле табачных листьев. Чуть не угорел.

На стройке начинал со сменного прораба. Теперь — главный диспетчер. Лозунг «Идем на вы, Енисей!» придумал Олесь Грек. Отстаивал его долго. Теперь эти слова на полотнище, а оно на водораздельной стенке, той самой, что кораблем вплывает в котлован. Где-то в самой глубине бетонной стены покоится любовная переписка чернобородого Саши, бетонщика.

Грек был тогда на смене. Видел, как под взбулькивающим вибратором мелькнула фотокарточка, рассыпанная пачка писем. Сашка зло давил их вибратором. Письма огрузли от бетона, а парень строчил и строчил по ним, стиснув зубы.

«Слушай, Саша, по технологии в бетон нельзя бросать никакие предметы».

«Не страшно... Знай, чертовка, навечно хороню тебя в этом склепе».

«Навечно не выйдет. Стенку, может быть, взорвут — временное сооружение».

Сашка посмотрел как-то отрешенно, махнул рукой.

«Ну и пусть взрывают... Говоришь — временное сооружение? Так ведь и любовь у меня тоже была временной».

Стена стоит. Замерла там плененная окостеневшим бетоном Сашкина временная любовь...

Днем на Енисее была подвижка льда. Чистины реки, забереги густо забивало сине-белыми глыбами. Их выбрасывало на отмели. Скрежетала галька, ползли вместе с льдинами валуны. Река местами взгорбливалась. Нетреснутые массивы льда проносило мимо скальных прижимов, выпирало и рвало по всем направлениям. Четвертовало звериные тропы, охотничьи на́следи, проруби. Молниями пробегали трещины. Выклинивало разноформенные бруски.

Енисей хотел бы завлечь в свой хмельной хоровод берега и горы. Они разделяли его веселье, но не спешили отправляться в опасный путь. Покрытые редкой зеленой остью сосен берега завороженно смотрели на увлеченную работу весны.

Отдельные деревца безбоязненно подошли к реке. «Кыш, пострелята! — говорит им Тамара Яковлева. — Нет, останутся. Не убегут. Жаль. Как хвощину, может сломать березку. Прожила-то на земле весен двадцать пять, почти с мое. Что будет, когда солнце вспашет весь лед на Енисее, когда попрет его с верховья видимо-невидимо? Уцелеешь ли, белоствольная?..

Хватит ли мне сил выстоять? — переключает Тамара свои мысли на себя. — Много значит случайность в моей жизни. Случайно встретила на стройке Олеся Грека. Помог устроиться на работу, получить общежитие. Случайно попался на пути медведина косолапый — Мишка. И что, дура, клюнула на него? Годков-то ему вон сколько — без отчества вроде и называть неудобно... Жизнь и судьба не глина формовочная. Не переформуешь... Сколько лет сшиваю металл электродами, а судьбинушка по швам разлазится, и ничего не поделаешь. Живу, как эта березка, в боязни за будущее... Ну, расхныкалась, — ругает себя Тамара. — Шиш тебе, Мишка! Руки-то не опустятся... Родится у меня девочка. Дочку хочу. Сын вырастет, начнет об отце допытываться. Что ему отвечу? Скажу всю правду. Скажу — куркуль твой отец был. Хотел меня вечной домохозяйкой сделать, к свиньям и хлеву приставить. Правильно сделала, что сама ушла от него. Не нужен мне его пятистенный домина. В общежитии с девчонками спокойнее. Никто не обзовет детдомовкой, бесприданницей. Не спрашивают — почему в двадцать четыре года угла своего не имею. Но и твой угол мне не нужен...»

Меня предупреждали:

— Яковлеву вам не разговорить, молчаливая она. Да тут еще такой поворот в судьбе. Если не считать коллектива, она теперь совсем одна осталась... Тома у нас хорошая. Гордая. Никаких хиханек и хаханек по ее адресу не допускаем... У сварщицы, как говорится, легкая рука. Захотел бы придраться к работе — не сможешь. Шов кладет — как на машинке прострачивает...

Приехала на стройку и сразу в комитет комсомола:

— Пошлите меня в самое пекло — в котлован. Я на реке Серебрянке гидростанцию строила. Знаю, стихия никаких отговорок не принимает.

— В котловане трудно.

— Я — детдомовская. Выдержу. У меня сестра Лида есть. Болезненная. Врачи запретили ей экзамены сдавать. Учителя говорят: «Мы тебе и так оценки выведем». А Лида отвечает: «Экзаменуйте меня. Задарма не хочу оценки получать...» Мы, сестры, все такие настойчивые. Восемь детдомовских лет тоже кое-что значат...

Пытаюсь «разговорить» Тамару. Мне это нетрудно сделать. В моих руках очень надежный ключ к ее душе — сам детдомс-

вец. Передо мной не просто сварщица. Передо мной сидит сестра по судьбе. Говорю ей, что и меня не раз подсекала трудность на жизненном пути. Так же, как ты, лишился рано родителей. Ты — вологодская. Я — нарымский. Мы с тобой, Тома, не круглые сироты. У нас есть такая добрая заботливая мама — Родина... Сколько раз я плакал где-нибудь на лугу, уткнувшись в ее подол. То не травы, склоняясь от ветра, гладили меня по голове, то сама Родина касалась мягких детских волос, шепча утешительные слова...

Мать у Яковлевой работала председателем колхоза на Вологодчине. Самой вместо лошади приходилось в плуг впрягаться. Надорвалась, умерла. Отец с войны еле живой пришел... После детдома хотела в геологоразведочный техникум поступить. Но откуда помощи ждать? Поехала в Мурманск на стройку устраиваться. Не принимают — маломерок. Пошла Тамара в милицию. Зашла в кабинет, где делами несовершеннолетних занимаются.

«Из детдома?» — спросили ее.

«Из детдома».

«Нам как раз такие нужны. Хочешь внештатным инспектором при детской комнате милиции поработать? Соглашайся — поможем на стройку устроиться». Согласилась. Приняли разнорабочей. Днем — работа. Вечером — учеба в школе. А в свободное время — «хождение по мукам». Приходит в чужую семью. А там сидит меж родителей этакий детина выше ее на две головы. Она ему про мораль и этику, а он курит и кольца дыма ей в лицо пуляет. Своих родителей Тамара не помнит. Без материнской ласки росла. Теперь пришлось других уму-разуму наставлять.

В вечерней школе тоже не без огорчений. Вологодская, окающая. Пристают ребята: «Томка, скажи — корова потопала в огород». Отвечает урок — смешки по рядам. «Не огорчайся, Тома, — сказала учительница. — Я тебя буду отдельно на перемене или после уроков спрашивать».

Разнорабочей побыла недолго. Взяла малярную кисть в руки — пошло помаленьку дело. Красила. Штукатурила. Бывало, сварщик на обеденный перерыв, она — держатель в руки и начинает сваривать припасенные заранее железяки. Электрод прилипает. В сварочном аппарате что-то гудит. Страшно: не жахнуло бы. Отрывает прикипевший электрод, и снова за дело. Интересно — вскипает металл за синим стеклышком щитка. Искры в рассев. Нахватается «зайчиков», глаза к вечеру краснющие. Девчонки допытываются — что такая зареванная ходишь?..

Все уже знает Тамара: и как ровный интервал держать между электродом и металлом, и как лечить глаза, опаленные отсветом сварки. Делает примочки заваркой от спитого чая. Картофель сырой тоже хорошо жар вытягивает. Однажды приходят подруги, а Тамара лежит на кровати, как пятаками, пластиками картофеля глазницы у нее закрыты. Девчонки от страха ахнули...

На Саяно-Шушенскую собралась уже опытной сварщицей. Разряд был высокий. Бригаду подговаривала махнуть в Сибирь. Ей говорят: «Поезжайте пока вчетвером. Разузнайте все, чтоб нам не на пустое место явиться». Поехали. Двое с дороги вернулись... Остались с Машей. Никуда и никогда Маша от родителей не уезжала. Эта поездка ее пугала и расстраивала. На нервной ли поч-

ве, продуло ли в вагоне, но девушка заболела и в Череповце пришлось отвезти ее в больницу.

«Томочка, ты поезжай дальше, — просила Маша. — Я поправлюсь — домой вернусь. По матушке скучаю».

Но разве не воспитал детский дом чувство товарищества и взаимовыручки? Никуда не поехала Тамара. Маша в больнице. Сама в гостинице. Каждый день больной передачи носит. Где-то ухитряется среди весны фрукты доставать и разные деликатесы. За две недели лечения подруги деньги у Яковлевой подошли к концу. Новое волнение: не успеет до ГЭС доехать — потеряется непрерывный стаж. Волей-неволей пришлось искать работу в Череповце. Устроилась на завод железобетонных конструкций... С новой весной в путь. В Красноярском крайкоме комсомола сказали: «На ГЭС пока не нужны люди. Поезжай Шушенское строить». Поехала. Все ближе до мечты. Совсем рядом большая стройка — рукой подать...

На полигоне, где работает Тамара, тесно, повернуться негде. Все завалено швеллерами, угольниками, тавровыми балками, пролетами ферм. Ходит начальник ремонтно-механического завода, поторапливает рабочих:

— Мужики! Не забывайте — плотина началась. Хлынет паводок: наделает хлопот. Сейчас минута простоя — преступление.

Знает Яковлева — эти слова и к ней относятся. Чем она не мужик? В такой же дубленой робе, прожженной брызгами металла. Так же конструкции ворочает наравне со всеми. Кран не успевает их с боку на бок поворачивать. Тамара свои рабочие минутки плотно сбивает, и просвета между ними нет. Не успевает кран конструкцию перевернуть, сама под нее лезет. Со щитком не поместишься — мешает. Зажмурится, прикроет рукой лицо и без щитка варит, вслепую. И потолочные и вертикальные швы бегут из-под электрода.

Весь день раскаленное солнце пляшет перед глазами. Пускали большой бетонный завод, сам начальник стройки приходил, поторапливал. А Тома и так за двоих работала.

Появился однажды на полигоне мужчина. Стоит, с улыбочкой наблюдает за сварщицей.

«Каллиграфно ты, девушка, электродом пишешь. Любо посмотреть».

«Смотрите — не жалко».

«Слушай — привари мне кронштейн. Избу какой уж год строю. Кручусь как черт в аду. То крыша. То отопление».

Приварила. И кронштейн. И трубки. И угольники... Вот так и познакомилась с Михаилом... И стали жить в недостроенном доме. Тамара сердцем чуяла, что в их совместной жизни тоже еще много недостроено, не доведено до конца. Стены вроде поставлены, а фундамента нет — на шатких чурбаках покоится призрачное счастье.

После дня изнурительной работы на полигоне до полуночи штукатурила дом, варила ужин. Недолго так выдюжишь. Раз после особенно тяжелой смены не могла уже ни обмазывать стены, ни мыть полы.

«О!.. Такая молодая, а разлеглась, — упрекнул Михаил. — А как же со скотиной будешь управляться? Свиней купим, корову заведем... Знай, что стройке тогда придется гуд бай сказать».

«Работу не брошу. В ней — жизнь... Огород еще могу тянуть.

Даже приятно в земле покопаться. Но свиньи, корова... Засосет меня скотобаза домашняя... Знай — со стройки я все равно не уйду. Не затем сюда так долго добиралась. Не смогу без коллектива. Только что плотина стала расти... самый интерес пошел... Так что не мечтай — ради каких-то свиней не выпущу из рук такое дело».

«Надо будет — бросишь стройку».

«Не брошу!»

«Чей дом? Кто тут хозяин?.. Ты в двадцать четыре года угла еще своего не заимела. Скажи спасибо, что я тебе его дал...»

Хлестали Тамару эти и другие обидные слова. Собралась, ушла снова в общежитие. Не знала она, что, кроме чемодана и обиды в сердце, уносит в себе ребенка. Но, когда узнала, и словом не обмолвилась с мужем. Решила родить, воспитать... обязательно дочь... и ни за что не вернуться под ту крышу, где она услышала столько упреков.

Перевели Яковлеву на легкие работы. И время подошло, и закон на охране стоит. Меняет обмотку в моторах, чтобы вернуть их к новой жизни. То чувство, какое испытывала она к Михаилу, давно перегорело, как и эта старая обмотка в моторах. Уйдя от него, она вырвалась из мрака обывательского угла на свет. Не раз закрадывалась мысль, что нужна она ему только для того, чтобы штукатурить избу, проводить отопление. Он уже и сварочный аппарат раздобыл где-то, чтобы не бегать с железками на полигон, а все делать на месте...

— Нам... с ней... квартира нужна, — говорит Тамара, держа руки на округлом животе. — Родится — не будем же мы в общежитии... К начальнику боязно идти. Хоть я и депутат поселкового Совета и работаю хорошо...

— Хочешь, Тома, я схожу. Похлопочу как детдомовец за детдомовца. Себе не пошел бы просить. Тебе — пойду.

Сижу перед Александром Ивановичем Карякиным, пересказываю кратко всю жизнь Яковлевой, ее последнюю историю. Говорю, что у детей-сирот очень ранимые души.

— Я Тамару хорошо знаю, — говорит Карякин. — Приходилось на площадку к сварщикам ходить не раз... Обязательно поможем ей. Найдем комнату... Вот что. Пусть Тамара, не дожидаясь в приемной, заходит после обеда прямо ко мне. И решим все...

Оказывается, Олесь Грек тоже ничего не знал о личной драме Яковлевой. И он решил принять участие в ее дальнейшей судьбе.

4

Ты видишь — заря подняла паруса,
Попутного ветра вам, горы, леса.
Пусть пробуют юные крепость волны,
Причалы их ждут — новостройки страны.

— НЕРВЫ В ПОРЯДКЕ?

— Ничего.

— Становись за вибратор.

По телу пошли волны тока. Загудела кровь. Почему-то ему



Рис. Ю. КИСЕЛЕВА

всегда шли в это время в голову строчки: «Эй, ямщик! Гони коней! Чай, рожден неслабым. Душу вытрясти не жаль по таким ухабам!..»

Какой год трясло на бетонных ухабах. Вытрясти не могло: он принадлежал к парням сильным. За десять лет, проведенных на двух крупных стройках, Василий Кобельков стал бетонных дел мастером. «Старичок», он учит молодых, как надо «расклинивать» бетон вибраторами, выгонять из него весь воздух. Пузырится бетонная масса — значит, еще не поспел. Жди, когда покроется сверху белой кашицей. Молодые, неопытные ребята после этого еще жмут на вибратор. Вот тут и надо вовремя подсказать — готов бетон. Зачем теряешь впустую минуты, свою силу. То и другое еще пригодится. Смена только началась.

И на скале с умом надо быть. Колол чурки — знаешь, как с торца выбрать нужную трещину. Ту, единственную, куда надо вонзить острие топора. Скала в основании блоков тоже в трещинах. Иной молотит по ней ломиком — искры из глаз, из гранита сыплются. А ты ухитрись вклиниться ломиком в морщину скалы, где вода вперед тебя побывала, просекла, проточила парасланцы.

Незначительные вроде советы, а смотришь — силенка у ребят экономится, дело быстрее движется. Сам новичком был, знает, как одолевает усталость на первых порах. Словно не кровь циркулирует в жилах, а тягучая бетонная масса расползается по всему телу, тяжелит руки и ноги... Бетон и скала требуют ума. Не зря бригадир Ветошкин повторяет, обращаясь к рабочим: «Учитесь думать». На стройке говорят: «Ветошкин вышел из Полторана». Понимай — был учеником у известного бригадира. А нынче сам в гору идет. Его бригада уложила бетона на тысячу кубометров больше. Вот тебе и ученик.

Полторан открыто выражает свою неприязнь к журналистам. Пронесется мимо какого-нибудь газетчика, тот не успеет рта раскрыть — нет бригадира. Мне больше нравится спокойная тактика Ветошкина. Останавливается около журналиста, отвечает на вопросы. Но когда тот уткнется носом в свой блокнот, Ветошкин так незаметно скроется за опалубочные щиты или вагончик, будто сквозь землю провалится. Зная такую «слабую черту» бригадира, я перед ним блокнота не раскрывал и глаз с него не спускал. Беседуя, незаметно выводил его на чистину — рабочую площадку, откуда он мог исчезнуть только разве после того, как разверзнется земля под ногами.

Василий Кобельков в подручных у бригадира. Давно знает Ветошкина и все равно считает, что много в нем таинственного, непонятного. Редко похвалит: «Нечего хвалить, работа сама тебе славу сделает». Подаешь бригадиру совет, вроде не слушает тебя и делает вид, что не нуждается в твоих подсказках. Смотришь — через пять минут делает по-твоему. Значит, за это время он успел все взвесить. Если от твоего предложения получит даже небольшой выигрыш во времени — победа за тобой. Думающих Ветошкин уважает...

Говорят, был такой парень на стройке, которого вибратор (а может, несчастная любовь?) чуть нервнобольным не сделал. Решил в себя из ружья жахнуть. Хитер был малый — дробь-то из патрона выкатил да одним порохом бабахнул. Пыж в брюхо впился. Шипит и дымится. Самоубивцу говорят ребята: «Скажи спаси-

бо, что пыж не в пуп угодил — пришлось бы за штопором бежать».

Много разного люда работает на бетоне — от сапожника до летчика. Народ в большинстве не унывающий, хлебнувший ветра дальних странствий. Таких парней вибратор нервными не сделает. В Дивногорске Василия Кобелькова врачи испытывали после вибраторской трясучки. Написали слово, попросили зачеркнуть букву «е». Зачеркнул. Проверяли температуру тела, реакцию на слух. Все в норме. Это бетон пусть пузыри пускает из-под вибратора, а такие парни не привыкли пускать пузыри. Трамбует Василий бетон да еще успевает фиксировать в памяти неожиданно пришедшие образы.

Кобельков пишет рассказы, печатается. Ведет дневник, который озаглавил так: «Записки плотника-бетонщика». Как только приехал в Дивногорск, сразу побежал искать председателя литобъединения. На одном из занятий познакомился и подружился с Олесем Греком. Через год Кобельков окончит литературное отделение Абаканского пединститута. Библиотека у него большая. Ребята из бригады берут книги. Охотно дает. Недавно достал Геродота, как ребенок радовался.

Уныние не удел молодых. Особенно неунывающий народ в общежитиях. Стройка, общежитие не просто школа для молодежи. Это, как выразился взрывник Владимир Сачек, целая академия. Учатся и живут в той академии люди, привыкшие к трудностям, умеющие работать и отдыхать. Такой предмет в этой академии, как юмор, наверное, самый главный. Вспоминают о своих нелегких путях-дорогах. Рассказывают смешные истории.

На шутливой волне проходят все вечера в академии. А днем? Днем не до шуток — ра-бо-та!..

К вечеру стали смыкаться над Саянами бахромчатые тучи. Давно запеленало Борус и вершины пониже серо-синей куделью. В одном месте над Енисеем высь неожиданно распахнулась до синевы. В эту отдушину влетел с реактивным гулом апрельский гром. Изломав всего себя на скалистых горбатинах, гром рассыпался, скатился в ущелья и лога. Вскоре понеслись к земле под острым углом ломкие копья дождя. Ветер раскачивал телевизионные антенны на крышах. На полные обороты крутился деревянный пропеллер, установленный ребятишками на воротах. Гулко хлопали флаги и транспаранты, вывешенные по случаю апрельского субботника. Стройка в этот день несла особую вахту, которая отличается в году своей торжественностью, приподнятостью духа и дел.

В связи с приближением паводка в котловане установили постоянное дежурство. В эту ночь из управленческого аппарата должен был находиться на посту Олесь Грек.

Готовлюсь с ним на ночь ехать в котлован. Олесь говорит: «Ты будешь один журналист на сотню, кто увидит стройку под звездами».

К ночи, как по заказу, разметало тучи. Над Карловским створом, над Енисеем воссияли ограненными алмазами звезды. Погребной сыростью тянуло от реки.

Сидим с Олесем в прорабской. Он вспоминает Дивногорск. На стройке был такой огромный коллектив, что среди имен и фа-

милий встречались Гамлет, Пушкин, Евгений Онегин и даже Татьяна Ларина. Олесь Грек написал очерк «Онегин на берегах Енисея».

Вспоминает главный диспетчер стройки отсыпку первой верховой перемычки уже здесь, в Карловском створе. Торжественный случай. Опускали первый мраморный клуб, а на нем слова, отвоеванные Олесем: «Идем на вы, Енисей!»

Выходим в знобкую ночь, шагаем по высоко вздыбленной над котлованом перемычке. Где-то в ее глубине лежит мраморная глыба — вызов реке.

В глухую полночь, когда прожекторы бросали в котлован весь свой сгусток света, начался на Енисее ледоход. Я мог бы проспать такой святой миг в жизни реки. Благодарил в душе и стройку, и Олеся, и величавый Енисей, что так ретиво и нахраписто летел меж высоких теснин. Мы стояли у самой кромки перемычки, завороженно смотрели вниз и сами плыли встречь Енисею, который ворочал матово-голубыми льдинами, как мельничными жерновами.

В ночную субботнюю смену река работала вместе с людьми, отвоевывая себе на полгода полную свободу под хакасским дымчатым небом.

О ледоходе нужно было сообщить начальнику стройки. Не хотелось Олесю беспокоить Карякина. Может быть, человек только недавно уснул после напряженного дня.

Александр Иванович сразу поднял трубку. Он, наверное, и не ложился еще. Спросил, как ведет себя перемычка, и Олесь ответил: все нормально.

— Я знаю беспокойный характер Карякина, — говорил мне после телефонного разговора Олесь. — Ему всегда приятно получить информацию из первых рук...

...Приминая цветы и травы, несутся опрометью с гор запоздалые ручьи. Внизу полыхают скалы от багульника. Там, где вершины вспарывают шелковину небес, еще виднеется кое-где залежалый товар зимы — снег.

Возгордился Енисей — не обивает теперь пороги на мелкодонье. Перешел в галоп, выбравшись на волю из далекого лабиринта гор. Галечные отмели, матерые валуны мелькают под звонкими копытами одичавшего скакуна. Тысячелетиями зная норов реки, пользуясь ее знакомством, горы немо и почтительно взирают с высоты. Река вздыбилась, и Саяны стали ниже, ужались в плечах от робости.

Горы с любопытством смотрят в котлован — какой-то незнакомый утес успел вырасти там, пока их глаза были закрыты густыми туманами. То поднялась могучая секция плотины — вершина коллективного труда. Пройдут сроки, и взметнется средь гор вершина вершин — плотина. Ее не возьмет робость перед стихией, потому что она будет сплавлена из бетона, железа и воли людской. И разве поддастся разрушению этот сталеподобный сплав.

Таким вершинам стоять вечно.

Красноярск — Абакан — Москва
Апрель — май, 1973 г.

Дмитрий АРДАМАТСКИЙ

ЗА КАДРОМ ФЕСТИВАЛЯ

Во время одной из последних встреч с английскими комсомольцами у нас зашла речь о радикализме нынешней западной молодежи, английской в частности. Разговор шел не об отдельных секциях, связанных с конкретными политическими движениями, в которых участие молодежи не ново. Не о сознательных студенческих протестах и не об ультралевых и правых, имеющих свою политическую программу. Позиция комсомола по отношению к ним достаточно четка и определенна.

На этот раз мы говорили о тех слоях молодежи, хотя и далеких от политики, но для которых радикализм стал тем не менее единой объединяющей чертой. Он был защитной реакцией против гнета монополий, против социальной несправедливости общества, в котором живет молодежь.

Это общее ее качество, говорили комсомольцы, было стихийным и неосознанным и принимало, в силу различных факторов, самые разнообразные формы: от естественных протестов против ядерных вооружений до движения хиппи или буйства и вандализма подростков в районах бедноты.

Вся эта стихийно бунтующая молодежь была далека от научной философии, не знала, не понимала истинных интересов трудящихся, и потому участники беседы считали ее неспособной стать частью революционного процесса.

«И все же,— сказал Том Белл, секретарь коммунистического союза молодежи Великобритании,— в процессе классовой борьбы стихийный протест этой части молодежи может и должен быть трансформирован в социалистический».

Молодежное движение на Западе... Понятие это настолько же неоднородно и противоречиво, насколько неоднородно и противоречиво само капиталистическое общество. Ежечасно, ежеминутно, просто фактом свое-

го существования, существования своих волчьих экономических и ханжески-пуританских моральных и нравственных принципов оно порождает собственных врагов.

Часто, рассматривая движение молодежи как составную часть всеобщей антиимпериалистической борьбы, мы говорим о конкретном, особом (хотя и не обособленном) противоборстве «молодежь — капитализм», на что действительно есть веские основания.

Мы знаем, что молодежь на Западе превращается в париев современной научно-технической революции, подвергаясь особо жестокой, изматывающей эксплуатации. В Англии молодые люди составляют сейчас большинство во многих ведущих отраслях промышленности. Лишенные права защищать свои интересы, они страдают от сверхэксплуатации. С другой стороны, десятки тысяч молодых людей ежегодно покидают Шотландию, Уэлс, северо-восток Англии в поисках работы. В районах хронической безработицы выпускники средних школ автоматически попадают в гнетущую, беспросветную атмосферу биржи труда. Я разговаривал с ними в шотландском городе Абердине — многие провели на бирже, в бесцельных шатаниях по своим закопченным рабочим кварталам по по два-три года. Лица «новеньких» и «ветеранов» были взрослы и серьезны, и в глазах их стояла неестественная для подростков безнадежность. Разговаривали вяло, устало, как будто уже прожили тяжелую жизнь. Но следующим утром я увидел их на демонстрации другими. Они требовали себе работы, любой работы. Их решимость и отчаянье, гнев и протест бушевали с естественной неистовой энергией молодых.

Мы знаем также, что молодежь непосредственнее реагирует на социальную несправедливость. У нее слишком свежее восприятие (или, в данном случае, неприятие), чтобы легко и сразу смириться с эксплуататорским миром. Она отвергает его интуитивно, часто неосознанно, как отвергают друг друга несовместимые ткани.

С подъемом молодежного движения это стало настолько ощутимым и очевидным, что даже «Таймс», решив проанализировать его причины, не могла не признать, что у молодежи есть веский повод для недовольства буржуазной системой.

«Давайте рассмотрим пункты их обвинения, — писала она в своей передовой в апреле 1971 года. — Коммерческий дух? Виновны. Уродство окружающей среды? Виновны. Мрачный материализм? Виновны. Национальные предрассудки? Виновны. Меркантильная расчетливость? Виновны. Равнодушие к бедности? Виновны. Технократическое высокомерие? Виновны. Дегуманизация? Виновны. Корпорационный гигантизм? Виновны. Скука? Виновны...»

«Они (молодые) заметили, — писала «Таймс», — что их отцы не создали справедливого общества и смирились с тиранией гигантских корпораций, логика которых требовала и мощь которых позволяла им рассматривать человека в качестве товара. Ни один сын не может с уважением относиться к отцу, превращенному в вещь той самой системой, в которой он функционирует. В Соединенных Штатах, как и в Англии, молодые видят, что в системе, которая доминирует над их отцами, деньги являются единственной мерой человека».

В любом случае радикализм современного молодого поколения на Западе, поводом для которого послужила сначала Хиросима, затем Вьетнам, выступает в качестве общей, объединяющей его чер-

ты. Но при этом нельзя не видеть и глубоких, принципиальных различий в целях и конкретных причинах этого общего для молодежи бунта и, соответственно, различий форм самого протеста. И цели и формы его определяются в конечном счете интересами классовой, социальной среды.

Для одних участие в молодежном движении станет составной частью борьбы с эксплуататорской системой против социального гнета, насилия, нищеты, и многие пойдут в этой борьбе вместе с рабочим классом и его авангардом.

Для других, каковы бы ни были их благие пожелания, протест превратится лишь в защитную реакцию индивидуалиста, одиночки против закабаления лично его монополистическим капиталом духовно, психологически, физически. Эта его защитная реакция в зависимости от ступени, на которой он стоит на социальной лестнице, от степени его заблуждений и предрассудков, темперамента и уровня развития приобретает самые многообразные и характерные формы: от надрывного ухода в себя, в «подполье», бегства в никуда («остановите земной шар, я хочу выйти!»), поисков новых идолов и богов (Кришна, «Роллинг Стоунз», марихуана) до крайних, экстремистских, выходящих за пределы реального, иногда невротических отклонений, когда «левое» и «правое» смыкается на острие иглы. Они и называют себя «подпольем» — хиппи, дроп-аутс, битс, йиппи («это тот же хиппи, но ставший агрессивным после того, как полицейский однажды ударил его дубинкой по голове», — объяснил мне как-то молодой бородач), фрикс, крэйзис, «коммунары», сотни других — любые, кто выпадает из существующей системы, отвергает и белое и черное, не признавая даже намека на возможность политической, классовой борьбы («это болезнь мозга»), и только верят, что, если вы «взорвете свои собственные мозги», бастилии разрушатся сами.

В Лондоне чаще всего их можно встретить в обветшалых, иногда предназначенных на слом кварталах города. На субботнем рынке Портобелло они составляют самую броскую и колоритную часть толпы и продавцов. Торгуют самодельными алюминиевыми браслетами, линялыми хлопчатобумажными безрукавками с отпечатанными вручную силуэтами поп-звезд, пластмассовыми кольцами, медными военными пуговицами и шинелями образца первой мировой войны. Здесь бородатые, длинноволосые барды в старых джинсах или апостольских хламидах, или в том и другом, вещают надтреснутыми голосами, под гитару, каждый на свой лад, все ту же песню о суетности мира здешнего и преимуществах жизни, скажем, в Маракеше или Катманду. Одни поют, рассчитывая на благотворительность суетной толпы, и тогда жестянки рядом с ними позвякивают изредка падающими туда монетами. Другие просто стоят, сидят, лежат, молчат...

Еще недавно хиппи, местные и приезжие, плотно облепляли ступени фонтана с фигурой Эроса на Пиккадилли-серкус. Ступени, однако, к разочарованию туристов, опустели с тех пор, как муниципалитет района Вестминстер, где находится эта площадь, распорядился направить струи фонтана таким образом, что брызги их разлетались по всему подножию, и сидеть на нем без клеенки и плаща с капюшоном стало не совсем удобно. Были в связи с этим протесты, но больше жалобы, в том числе, содержащие такой меркантильный аргумент, что, мол, вытеснив хиппи со ступеней фон-

тана, муниципалитет лишил город одного из главных аттракционов для туристов, нанеся, таким образом, ущерб казне.

Моя встреча с хиппи была несколько необычна.

...Наш дом стоял на Дрэйтон-Гарденс, улочке, на стыке районов Челси и Кензингтон, ничем не примечательной, кроме того, что на ней находился очень небольшой, но популярный, всегда с длинной очередью у касс кинотеатр «Пэрис Пуллман», показывающий регулярно левые, прогрессивные ленты — от «Броненосца «Потемкина» и «Матери» до разоблачительных фильмов о расистах Южной Африки.

Так вот, к соседнему с нашим дому на этой ничем не примечательной Дрэйтон-Гарденс подкатил зимним промозглым днем маленький автобус «фольксваген», ржавый, грязный, с запасными шинами и дорожными мешками на крыше, разрисованный со всех сторон гигантскими тропическими цветами и насекомыми, меж коих вился длинный перечень европейских, азиатских и арабских городов. Из автобуса вышли шесть-восемь парней и девиц, и было видно, несмотря на бороды и длинные волосы «мужиков», что всем им не больше 20. Управляющий блоками наших домов уже поджидал их и, возглавив процессию, спустился с ними по железной лестнице, начинавшейся прямо на улице, в пустовавший больше года «бэйсмент» — небольшое полуподвальное помещение в викторианских домах. Кажется, новые поселенцы ничем не смутили обитателей крепостей нашей улицы, и все оставалось по-прежнему.

...В январе начал регулярно гаснуть свет. Бастовали шахтеры; в стране сокращались запасы угля, и правительство прибегало к крайним мерам его экономии: электростанции подавали энергию в различные районы выборочно. Та забастовка в начале 1972 года, о которой у нас много писали, была первым большим бескомпромиссным столкновением рабочего класса Англии, профсоюзов с консерваторами после введения антипрофсоюзного законодательства. Шахтеры знали, что на этот раз они борются не только за свою зарплату и не только за свои шахтерские права, как знало и правительство тори, что от исхода этой забастовки зависит дальнейший успех или неуспех его антирабочей политики. Пресса прыгала выше головы, пытаясь оболгать, затравить, запугать шахтеров, захлебывалась в демагогии, обвиняла забастовщиков в эгоцентризме и равнодушии к «интересам нации». Номер, однако, не прошел. Шахтеры просто наплевали на все дешевые трюки пропаганды и стояли на своем твердо, трезво, чувствуя свою правоту, правоту рабочего класса. Мы знаем, что шахтеры тогда победили.

И на этот раз свет погас неожиданно. Зажигаю заранее припасенные свечи — такое уже не впервые: то бастуют электрики, то водители грузовиков, подвозящие уголь к электростанциям, то, как сейчас, шахтеры. Кто-то звонит. Беру свечу, открываю. Передо мной борода, усы, длинные волосы, просто целый клубок волос.

— Приветствую, брат мой. Я ваш сосед, зовут меня Билл, — говорит клубок волос. — Я насчет свечи, у вас нет лишней?

Трудно было не узнать, что волосатый «брат мой» был одним из постояльцев «бэйсмента». Предложил войти, подождать минутку.

— Вы не англичанин, — сказал он, принимая свечи. — Откуда?

— Из Москвы.

— А-а... Русский. Там мы еще не были. Работаете здесь? Гм... Вы один сейчас, я вижу. Спускайтесь к нам.

Я не отказался.

В комнате, куда мы внесли зажженные свечи, оказалось четверо.

— Питер, Джон, Тэд, Мардж... — представлял Билл.

В ответ прозвучало четыре равнодушных «хэлло».

На стенах, цвет которых невозможно было определить, — огромные цветные плакаты с изображением поп-звезд: тени покойного Джимми Хэндрикса, покойной Дженнис Джоплин, здравствующего Микки Джегера. Несколько самодельных «психопатических» рисунков. В углу проигрыватель, две гитары, разбросанные пластинки и картонки из-под молока. Мебели никакой. Хозяева сидели на полу в позах Будды или полулежали на свернутых спальных мешках.

Билл ушел заваривать чай. В комнате по-прежнему царило молчание. «Зачем им нужны были свечи?»

— Здесь, как на другой планете, — сказал я, тут же почувствовав, что это прозвучало не очень вежливо.

— В Америке, — отозвался Питер, или Джон, или Тэд, — я знал парня, который сам принимал роды своего ребенка. Так он говорил, что хочет, чтобы его сын был свободен, незапрограммирован и полностью отделен от государства.

— И что он имел в виду?

— Никакого свидетельства о рождении, никакой обязательной школы, если только ребенок сам не захочет идти в нее, никаких налогов и вообще никаких официальных бумаг, свидетельствующих о его существовании. Дети эти будут спокойны и мудры, потому что родители их курят хаш и не беспокоятся о своем и их будущем. Колыбельной для этих детей будет поп-музыка, а воспитываться они будут в коммуне.

— Ну а если все-таки «откроют» этих детей?

— Ничего страшного. Они скажут, что с другой планеты.

О таком же намерении я читал в американском «подпольном» журнале «Орфей», где идея подавалась так: «В виду того факта, что Соединенные Штаты безнадежно и бесповоротно больны, мы собираемся сделать все, что в наших силах, для создания действительно свободной зоны в этой стране. Настоящим журнал «Орфей» объявляет о своем намерении перенести редакцию в «Освобожденную зону», расположенную в дельте реки Колорадо между Калифорнией, Аризоной и Мексикой. Поскольку статус этой дельты неопределен и двусмыслен, мы провозглашаем ее «Освобожденной зоной». Людям, которые в ней поселятся, не будет необходимости следовать никаким иррациональным законам, действующим по сей день в неосвобожденных зонах Америки».

Билл принес чай. Это были обычные земные кружки с обычным земным английским чаем с молоком — ничего инопланетного.

— Вы не работаете? Почему? Не нашли работы?

— Не знаю, возможно, ее и нет, — медленно растягивает Питер, или Джон, или Тэд о работе. — Или нет наверняка. Это неважно. Я разве искал?

— Так вы искали?

— О брат мой! Одно и то же день за днем? Утро — метро — работа — сэндвичи — работа — метро — кресло — телевизор — кровать — утро... Это мне искать? Один из пяти делается меланхоликом или умственно неполноценным. Один из десяти вообще спячивает. Ради чего? Ради этой системы? Вы еще не заметили, что когда здесь говорят, что работа облагораживает, то это чаще всего делают те, на кого работают? У греков было иначе, — философствовал Тэд, или Питер, или Джон в «освобожденном» полуподва-

ле. — Досуг был для них первоосновой мудрости. Только в постоянном досуге человек и может тренировать свой мозг и заниматься поиском истины. Работа — это было для них нечто, делаемое рабами. Но века прошли, и в рабов превратились мы все. А человек хочет счастья. Ему на земле нужен рай. Сейчас...

— Но получается, что вы так же, как и те, на кого работают, согласны, чтобы люди оставались рабами? Ради вас тоже? Как насчет их счастья? Вы говорите о своем неприятии своей системы и не предлагаете выхода из этого?

— Брат мой, мы предлагаем выход. Оглянитесь, и вы увидите сонмы безработных с одной стороны, компьютеры, автоматику и перепроизводство, с другой. И то и другое увеличивается год за годом. Миллионы будут умирать от голода, но отцы системы и пальцем не шевельнут, ибо «пострадает экспорт», «понизится курс», «залихорадит экономику», в общем, развалится весь этот карточный домик. Люди смущены сверхпродуктом. Особенно безработные, бездомные и голодающие. Мы — нет. Мы просто развлекаемся, когда забираем сверхпродукт в любой форме. Все равно он никому не достанется. Это и есть выход. Знаете, у группы «Дивэйнтс» есть песня «Давайте грабить супермаркет»? Но мы спрашиваем, почему только супермаркет? Дайте нам хлеб, а не работу...

Говорить об обществе справедливого распределения, где труд на благо всех станет естественной духовной потребностью, было здесь бесполезно. Здесь сидели хоть и юные, но довольно расчетливые «братья и сестры», заботящиеся о самих себе.

— Вы видели эту брошюру? — спросила Мардж. — Возьмите с собой, у нас есть еще экземпляр.

Называлась она «Проект «Лондон» и, как позже выяснилось, это было практическое руководство для «круглосуточных» хиппи по «бесплатному выживанию», построенное на принципе, что лучшими вещами в жизни можно обеспечить себя вполне бесплатно, если только у вас есть необходимая информация, как это сделать. Мораль брошюры во многом совпадала с моралью «подполья». В ней давались советы, иногда не без юмора, как обеспечить себя бесплатной ночевкой или жильем, бесплатной едой, транспортом, развлечениями, даже деньгами.

В раздел советов по бесплатной еде входили, например, такие:

«В больших аэропортах заметьте один из откладывающихся рейсов. Вместе с другими пассажирами этого рейса получите бесплатные билеты на обед в ресторане (так как билеты даются и провожающим)»;

«Узнайте (в журнале «Тайм Аут»), в какой из частных галерей сегодня проводится вернисаж. Смело входите, участвуйте в коктейле, пейте шампанское»;

«Пивные фирмы: демонстрация производства, бесплатное пиво и сэндвичи в баре»;

«Но если вы хотите иметь действительно высокий класс, узнайте, когда отправляется в круиз большой лайнер. Накануне отплытия они всегда устраивают прием. Войдите на корабль за пару часов (как провожающий), поболтайтесь непринужденно по палубам. Затем к вашим услугам шампанское, икра, омары... Если вы перегрузились и опоздали выскочить с корабля, умелое поведение может помочь вам насладиться всеми прелестями дорогостоящего круиза».

Бесплатные фильмы: «Купите один билет и пошлите с ним одного из ваших друзей. Он откроет запасной выход для вас всех».

Бесплатный кредит: «Зайдите в большой магазин по продаже оборудования. Встаньте в стороне таким образом, чтобы слышать фамилию человека и название фирмы, которой дают в кредит. Затем вернитесь сюда через две недели и назовите те же имена (крупные фирмы предпочтительнее)».

И т. д. и т. п., довольно толстое издание, действительно весьма изобретательное, но только что-то ни слова об обещанной экспроприации сверхпродукта, а в основном — древние советы начинающему люмпену-воришке.

Зажегся свет, закружился диск проигрывателя с пластинкой на нем

— Понимаете ли, Тэд был слишком серьезен и определенен, чтобы выражаться правильно, — лукавит Мардж. — А истина и смысл, если они вообще есть, исчезают, когда обозначаются конкретными терминами. Возьмите поп-музыку или поп-театр. Кто из нас ищет в них смысл? Или какой смысл в «траве» (марихуане, конечно)? Это лишь ощущение, эмоции, движение, форма бытия. Мы — это образ жизни, который есть потому, что он есть, нравится это комунибудь или нет, «вызов» это или «не вызов».

— Я все-таки сомневаюсь, что вы в большом согласии хотя бы со своими родителями, кем бы они ни были...

— Разве мы виноваты, брат мой, что не можем жить ради счета в банке? Они стары, но трясутся за свое будущее, как будто оно у них есть.

— А вы не боитесь за будущее?

В ответ пожатие плечами и иронический смех — то ли насчет вопроса, то ли насчет будущего. Пора было идти. Неловко, но я всетаки спросил, перед тем как проститься, кто их родители и кто они сами. Отцы: «владелец транспортной фирмы», «государственный чиновник на пенсии», «служащий страховой компании». А сами? Почти все учились: экономике, праву, музыке...

...Но и без этого их можно было бы давно узнать, хотя бы по произношению, которое имеет в Англии подчеркнуто классовые оттенки. Это были блудные дети средней и мелкой буржуазии, со своим средним и мелким бунтом, ничего, в принципе, не решающим. Мне настойчиво казалось, что как бы ни были эксцентричны их теперешние образы мыслей и образ жизни, они были далеко не потеряны для своего класса.

Социологические исследования показали, что больше 80 процентов хиппи, «дроп-аутс» и т. п. составляют дети из семей со средними доходами и выше 70 процентов их учились в университетах и 20 процентов из них получили дипломы. Но даже без цифр и статистики, а просто чисто внешнее наблюдение не могло дать никакого повода, чтобы предположить, что среди этой молодежи можно найти выходцев из рабочего класса или любых других граждан «второго сорта» — вест-индцев, индусов, пакистанцев...

Они были отчуждены от рабочего класса не только социальным барьером, но и самим существом своего движения. Сами рабочие прежде всего заметили, что хиппи выпали из движения за гражданские права в Америке именно тогда, когда вдруг сообразили, что «равные права на работу для черных» означают «лишь» права на ту работу, которую они сами никогда не будут делать. Так же английские рабочие заметили, что, оккупируя пустующие дома, хиппи-«скуотеры» заботились больше о своем паблисити. Когда хиппи

захватили известный, пустовавший много лет особняк на Веллингтон-Плэйс в Лондоне, левая демократическая печать отмечала, что «эта акция была совершенно безответственной...», «не была вселена ни одна бездомная семья». В любом случае простые трудящиеся видели лучше других, что если хиппи и совершают какую-то свою «революцию», то «не ради рабочего класса», как выразился Лоуренс в стихотворении «Здравая революция», и не вместе с рабочими, а «просто для развлечения». Несмотря на театрально-демократическую внешность, хиппи-движение с самого начала не могло отделаться от своего тона и стиля «элиты», высокомерного, презрительного и снобистского по отношению к «нижним сословиям», что, впрочем, всегда оставалось характерной чертой английских «средних классов».

Элитарная суть хиппи, их претензии, если не на избранность, то, по крайней мере, на святость, приобретали гипертрофированные размеры и формы, когда они покидали родные стены, отправляясь на поиски новых, как они выражались, «богов, измерений и категорий». Дети своих отцов, они могли себе это позволить. Страны, куда они направлялись, все как на подбор были с голубым небом и приятным климатом, о чем лишний раз свидетельствовал перечень городов на маленьком разрисованном автобусе, появившемся на Дрэйтон-Гарденс. Политический климат при этом их не интересовал. Особой популярностью пользовались те места, где можно было легко найти и дешево купить марихуану или любую местную опиумную траву. «Поиски богов» оборачивались поисками гашиша, если только под ним они не подразумевали «новые измерения и категории», а «блаженная бедность» шла рука об руку с бойкой спекуляцией, когда они покупали задаром местные наркотики, старинные изделия и предметы культа, чтобы перепродать их по «инфляционным» ценам в другой стране. Снобизм коммун хиппи, их неуважение к обычаям и нравам тех самых стран, которые еще недавно были колониями, не лучше презрения их же отцов к аборигенам.

От Сингапура и Непала до Туниса и Марокко они представляли собой гротескных паразитов на теле людей, которые были не в состоянии содержать их и которым нечему было у них учиться. Молодой парень со впавшими глазами, в неумело напяленном индийском доти может пародийно нищенствовать и, не моргнув глазом, брать деньги от беднейших на этой земле людей, но если на страну, где он бродяжничает, обрушивается любое стихийное бедствие (или бедствие политическое, нередко являющееся косвенным результатом политики его собственной страны), когда помощь его была бы особенно нужна, он посылает родителям паническую телеграмму, требуя перевести ему не виданную им никогда в жизни сумму денег для билета на самолет, который вывезет его оттуда «ко всем чертям»...

Бангладеш был последним свидетелем этой «святости» хиппи.

Вызов оборачивается вульгарной анархией или не слишком смелым отчуждением от не слишком легкой реальности. Поиск «новых измерений», «альтернативного общества» кончался экспериментами с наркотиками, надежды на создание контркультуры ограничивались почти исключительно рок-культурой, поп-музыкой. Песни протеста оставались эффектным оружием борьбы левой и рабочей молодежи, но в среде хиппи быстро потеряли свое значение. Боб Диллан,

завоевавший в Америке большую популярность в свое время как автор и исполнитель песен протеста, оправдывался вскоре, что он делал это только потому, что «тогда в Нью-Йорке все это делали».

Я был свидетелем небольшого интервью, передававшегося телевидением Би-Би-Си, в которой ведущий пытался выяснить у одного из участников поп-группы «Прокул Хэрем» смысл их последней песни. Насколько помню, интервью протекало примерно так:

— Ваша последняя пластинка «Белая тень бледности» быстро завоевала популярность. Что может означать ее довольно таинственный текст? Примерно.

— Да ничего конкретного, парень, ничего...

— Но позвольте, ведь у вас же было что-нибудь на уме, когда вы ее писали?

— Нет, не было...

— То есть вы хотите сказать, что это был лишь случайный набор искусственных фраз?

— Э-э... Примерно... так... мамбл, мамбл...

— Но в тексте все-таки есть одна строка, которая, кажется, дает ключ ко всей песне. Строка о весталках, направляющихся к берегу моря...

Ответ с выражением удивления на лице: «Так уж получилось во время композиции, парень. Могла появиться и любая другая строка...»

Все чаще рок становился путеводителем и рекламой наркотиков, иногда в завуалированной, иногда в прямой форме, а наркотики обратной связью оказывали свое воздействие на музыку. «Расслабься и плыви по течению радуги, отложи свои думы и слушай цвета своих снов», — советовали «Бёрдз» в своем «Пятом измерении», а Боб Диллан просил «унести его подальше от болезненной печали», чтобы он мог «забыть день нынешний до завтрашнего дня». И рок задохнулся и убил себя в наркотическом мистицизме. Не случайно, что сейчас большинство геральдов «поп-революции» или мертвы, или наркоманы, или, как «Роллинг Стоунз», зашли в абсолютный мертвящий тупик. Развал группы «Битлз» именно тогда и произошел, когда они к концу 60-х годов полностью ассоциировали себя с «надкультурой подполья». И не потому ли последние работы одного из них — Джона Лэннона, несомненно самого талантливого из четверки и наиболее чутко реагирующего на социальные несправедливости капиталистического мира, характеризуются тонкой и неодносложной, но доходчивой и запоминающейся мелодией и текстом, обращенным к социальному сознанию, полным беспокойства за судьбы людей.

Эксцентризм хиппи, их громогласный разрыв с истеблишмент хотя и шокировал буржуазное общество, но совсем не пугал его, ведь на деле это движение не представляло никакой угрозы. Парадоксально, но сама идея «молодежной культуры» была создана, развита и теперь с успехом эксплуатируется большим бизнесом. Наплыв тинэйджеров с их относительной самостоятельностью представлял для него богатейший рынок с огромными финансовыми возможностями. И бизнес не замешкал воспользоваться этим, превратив саму идею отказа молодежи от коммерческого общества в ходкий коммерческий товар, а слово «революция» — в массовый предмет потребления.

Коммерческая эксплуатация «бунта» шла по всем направлениям. Сеть магазинов «Вулворт», густо разбросанных по Соединенным

Штатам и Западной Европе, специализирующихся на продаже низкосортного ширпотреба, запустила в продажу парики на манер хиппи. Многочисленные лавки с названиями типа «Че Гевара» или «Восстание» вели бойкую торговлю поношенными, выцветшими джинсами и куртками, стоившими дороже новых. Появилась особая отрасль индустрии, работавшая исключительно на поддержание образа хиппи, снабжавшая молодых всеми предметами, ассоциирующимися с этим образом. Доходы росли. Возникали целые торговые улицы (Карнэби-стрит, Кингз-роуд в Лондоне) и торговые центры, где можно было приобрести всю экипировку «протеста».

Один из них — «Кензингтон маркет» — стал даже туристской достопримечательностью, как в свое время фонтан на Пиккадилли, но в другом роде. Тесный лабиринт секций-келий, завешанных претенциозно нелепыми и наскоро сработанными робами, хламидами, ярко расшитыми «романовскими» полушубками; грохот рока несется из разных динамиков в разных кельях и сливается в невыносимую какофонию; плакаты поп-звезд; индийская, мексиканская бижутерия, православные иконы и подделки под них; запах человеческих испарений, смешанный с дымом индийских благовонных палочек; свечи всевозможных форм и цветов; «подпольные» журналы, сделавшие порнографию своим главным орудием протеста, бледнолицые, вялые, длинноволосые продавцы... и, шепотом, просьба продать «траву»... — идеальный туристский аттракцион под названием «Рай — сейчас»...

...«Революция для развлечения», перекипев в самой себе, растворилась в том самом обществе потребления, которому она сделала вызов. Ее «контр-культура» запускалась в общий поток массовой буржуазной культуры, никто уже не воспринимал длинные волосы как протест — их носили теперь и молодые клерки, а «вызывающий» внешний вид входил в моду.

Пути, по которым шли поиски абсолютной свободы для себя, кружили в основном вокруг фонтана на Пиккадилли, а создание «альтернативного общества» ограничилось периодическим подворовыванием или наркотическим забытьем.

> Не надо страхов, вас это не коснется,
> Ведь это только я, преследующий нечто, в чем
> не уверен
> Сквозь сон, раскинув сеть мечты,
> Гонюсь за тенью исчезающей бабочки... —

писал Боб Линд, один из поэтов-хиппи.

Их, «преследующих нечто», в чем сами они не были уверены, действительно никто не опасался. «Бабочка» неопределенной мечты так и не опустилась им на плечо, а исчезла, растворилась в «грубом, материальном» мире. И когда те, кто увидел пустоту, очнулись и оглянулись вокруг, обнаружили себя обманутыми. Бастилии все еще стояли целехонькими. У большинства не было ни сил, ни духа взглянуть на мир трезвыми глазами, и они обрушили на него новый приступ своего одинокого отчаяния: кто уединялся в одной из многочисленных сект восточных религий, кто удесятерял дозы наркотиков, кто подкладывал бомбы в универмаги, а кто просто бился головой о стену...

■



Юрий ДЮЖЕВ

СОЮЗ РАБОЧИХ СЕРДЕЦ

Корни и ветви

Размышляя над письмами о социалистическом соревновании, Вадим Кожевников приводит слова мастера ижорского завода Ивана Васильевича Рыбкина о своих товарищах, высококвалифицированных рабочих: «С такими людьми работать и легко, и трудно. Легко — потому что они все понимают с полуслова, самостоятельны, находчивы. Трудно — потому что это люди очень наблюдательные, восприимчивые к производственным неурядицам, требовательные, правдивые, искренние, но и легко ранимые». Писатель хорошо знает таких людей, и свои впечатления передал в образе токаря Золотухина из нового романа «В полдень на солнечной стороне».

Молодым прозаикам России, пишущим на «рабочую» тему, еще многое предстоит сделать, чтобы передать всю сложность человеческих взаимоотношений. Их первые книги во многом несовершенны, но им присуще главное: желание воспеть дружественный союз рабочих сердец, верность традициям пролетарских династий.

Когда старый рабочий Иван Игнатьевич из повести Ю. Антропова «До весны далеко» размышляет о том, что пришло время повзрослевшим детям «пускать свои корни», он уверен: новые побеги семьи Комраковых будут столь же трудолюбиво тянуться к солнцу.

Даже в повести Валерия Алексеева «Последний шанс «плебея», где очевидно ироническое отношение автора к исповеди героя, запоминаются «идеалисты» Алеша Берестяников и начальник отдела Серегин по прозвищу Сержант. Каждому из них свойственно обострен-

---

Дюжев Юрий Иванович — кандидат филологических наук, участник совещания молодых критиков в Переделкине в 1973 году.

кое чувство справедливости, они понимают, что «есть такое великое слово «надо», и готовы поработать на стихийно возникшем «незапланированном субботнике», а вырученную сумму отдать попавшему в беду товарищу, ведь для них «главное — общее дело».

Молодые герои «рабочей» прозы руководствуются при этом простым и надежным советом, что высказан на страницах рассказа Зои Прокопьевой «Розовая птица»: «А ты делай что-нибудь хорошее каждый день — и каждый день хорошее настроение будет».

Тракторист Юрка Королев, в обязанности которого входит вовремя подвести стрелу со скребком в шлаковик мартеновской печи, часто вспоминает эти слова друга и стремится продолжить эстафету добрых дел. «Ты не стесняйся, — говорит Юрка ученику слесаря Вале Смирнову. — Зови, когда тяжело. Кто обидит, тоже зови». Он не бросается словами, а действует всегда активно и напористо.

Вот и Венька Комраков, сын Ивана Игнатьевича из повести Ю. Антропова, первым кинулся к рваной дыре в стенке взорвавшегося хлоратора, стал заводить пластырь из номерной стали. И не думал Венька в эту минуту ни о чем другом, как только о том, что в беду могут попасть товарищи, остановится производство, и эти мысли подавили страх и бросили его с пластиной в руках в газовые струи к месту аварии.

Таких героев молодые прозаики подметили в самой гуще индустриального производства. Анатолий Каневский по профессии инженер-монтажник, после окончания института трудился на промышленных стройках Северного Кавказа. Зоя Прокопьева героев первого сборника встречала в цехах Челябинского металлургического завода, Антон Геращенко — на стройках Ростова и Волгодонска. Филолог Валерий Алексеев освоил и другую профессию: он техник-геодезист, с нивелиром побывал на Медведице и Нерли, в Карелии и на Псковщине. Столь же непоседлив по натуре Юрий Антропов, выпускник геологического факультета МГУ, прошедший с экспедициями по Крыму и Заполярью, Алтаю и Сахалину.

Стремление не только изображать труд, но и участвовать в нем непосредственно, стараясь попасть на самый «передний край», сближает молодую поросль российской литературы с писательским поколением тридцатых годов.

Когда Валентин Катаев в романе «Время, вперед!» (1932) поведал историю мирового рекорда, поставленного бригадой рабочей молодежи на строительстве Магнитогорска, он не ограничился перечислением («бараки, палатки, дороги, столбы, изоляторы, тепляки, краны, экскаваторы, окопы, насыпи, вагоны, опалубки, горы, холмы, травы, дым, мусор, лошадь»), но и раскрыл душевное богатство рабочих людей — десятника Моси, бригадиров Ищенко и Ханумова, инженера Маргулиеса.

Стремясь быть «с веком наравне», идет работать сварщиком на электрозавод Илья Сельвинский. Плотником и бетонщиком на Магнитострое трудится Борис Ручьев. По свидетельству историков литературы, именно первая пятилетка явилась порой рождения целой плеяды талантливых поэтов и прозаиков, отличием которых было «знание рабочей жизни «с котлована», умение видеть строящийся мир не издалека, не сквозь туманную дымку, а в упор».

Однако эта же особенность свойственна и писательскому поколению шестидесятых годов, для которого строительство Братской

ГЭС и добыча тюменской нефти, закладка атомной электростанции на Колыме и рождение Академгородка под Новосибирском были и фактами личной биографии, позднее отображенными в художественных образах первых произведений.

Та могучая корневая система, что обнаруживается у молодых побегов современной прозы о рабочем классе, с особой зримостью прослеживается в таких произведениях, как «Искатели» Д. Гранина, «Битва в пути» Г. Николаевой, «Знакомьтесь, Балуев» В. Кожевникова, «Дороги, которые мы выбираем» А. Чаковского... Поистине, ветви, которые питают соками столь жизнестойкие, глубоко вросшие в землю корни, не могут не расти уверенно и сильно.

В этой связи симптоматичным выглядит название последней книги А. Геращенко «Одержимость», построенной как перекличка разных комсомольских поколений. Один из ее героев, комсорг Володя Королев, любимым своим писателем называет Николая Островского, а любимым героем — Павку Корчагина.

В метельную ночь, когда парни и девчата идут на железнодорожное полотно разгружать платформы с гравием, они вспоминают комсомольцев двадцатых годов, полураздетых, изголодавшихся, переболевших тифом и тем не менее с энтузиазмом строивших узкоколейку. Глава, рассказывающая об этом, называется «Корчагинцы», и уже в самом ее заглавии подчеркивается преемственность трудовых и революционных традиций разных поколений.

А. Геращенко строит свою книгу как лирическую исповедь тридцатилетнего человека, приехавшего в места, где прошла его трудовая юность, — в город Волгодонск. Памятью сердца возвращается он к осени пятьдесят пятого, незабываемому времени целинной эпопеи, строек в Сибири, когда восемнадцатилетнему юноше и его сверстникам «хотелось поскорее попасть в дикий, необжитый край, который бы мы могли украсить своим трудом». Это кажущееся с высоты лет наивным признание на самом деле точно отражает то ощущение неизведанных возможностей, что открылись перед сверстниками героя, их активное желание «не созерцать, как растет кирпич за кирпичом дворец нашего счастья», а самим участвовать в строительстве.

Повзрослевшему автору дорого вот это первичное ощущение высокой и прекрасной мечты. Не потому ли с такой симпатией повествует он о первых рабочих шагах лирического героя, не потому ли, рассказывая уже о комсомольцах семидесятых, он еще и еще раз возвращается к своему поколению, видевшему «небо с тысячами заманчивых звезд».

Удалось ли преемникам строителей Волгодонска сохранить в душе вражду к однообразию, духовному застою, желание «ежедневно и ежечасно наполнять свое существование смыслом, раздумьями, дерзанием и творчеством» — вот вопрос, который пытается решить для себя автор, радуясь новым площадям и проспектам города юности, «родного и... незнакомого». Писатель сумел показать, что объединяет комсомольцев разных лет, «одержимых» в лучшем смысле этого слова.

Книга заканчивается рассказом о строителе Георгии Евдокимовиче Шпаченко, за свои шестьдесят лет прошедшем и гражданскую войну, и первые пятилетки, воевавшего в Отечественную. «Мы люди одного поколения», — говорит он сегодняшним комсомольцам.

Единые в главном, в осознании исторической роли рабочего класса, направляющего всю нашу общественную жизнь, молодые писатели индивидуальны в раскрытии духовного облика героев, в постановке острых проблем действительности. При этом они руководствуются требованиями В. И. Ленина о конкретном подходе к изучению общества, о том, что установление социалистического строя приведет не к «нивелировке» духовной жизни, как это утверждали враги марксизма, а к еще большему ее разнообразию, «в миллионы раз увеличивая «дифференцирование» человечества в смысле богатства и разнообразия духовной жизни и идейных течений, стремлений, оттенков».

Лучшие страницы прозы Зои Прокопьевой лиричны и музыкальны, они тонко изображают переживания героинь, наделенных талантом видеть мир во всей его многокрасочности, умеющих различить в окружающих добрые начала. Лиюшка из одноименного рассказа отдает людям нерастраченный запас женской нежности и любви, бескорыстно хлопоча и о тете Лене, нуждающейся в путевке после недавней операции, и о многодетной Тоне Мельничук. Такое поведение выглядит естественным в рабочем коллективе — ведь, по словам Груни, «мы — народ. Значит, должны друг о дружке думать, помогать». Лиризм — самая сильная черта дарования молодой писательницы.

В ином, более рациональном, ключе работает Юрий Антропов. Его книга «Белая душа» привлекает желанием разобраться в мотивах поведения рабочего человека, дать представление о развитии личности с точностью и убедительностью конкретной социологии. Терпеливо исследуя обстоятельства формирования характера, точно выписывая детали вещественного, материального мира, не прибегая к ненужной экзальтации и высокопарности, молодой прозаик умело и незаметно подводит читателя к нужному выводу. Раскрывая уже сложившиеся в обществе нравственные отношения, Юрий Антропов выявляет двустороннюю связь, которая существует между моральным сознанием и поведением рабочей молодежи, нравственным сознанием и духовной культурой.

К проблеме социальной активности личности в условиях научно-технической революции постоянно возвращается Валерий Алексеев в «Городских повестях». Исповедальные признания его героев обнажают тайники человеческой души, в них раскрыта сложность психики нашего современника, новые социальные, групповые, межличностные взаимоотношения среди молодежи.

Ким Балков лучшими страницами своей прозы продолжает традиции сибирской литературы, которая всегда с особой щедростью рассказывала о простом человеке, о его близости к природе и крепости характера. Однако сильные физически, энергичные в делах герои его повестей выглядят порой нарисованными плакатным пером. Их индивидуальность раскрывается в большей степени перед лицом природы и в меньшей — в производственных отношениях. Прозаику предстоит большая работа, чтобы овладеть мастерством портрета и диалога.

Ростовчане Анатолий Каневский и Антон Геращенко активно вторгаются в жизнь, их рассказы и повести по-очерковому мобильны и дискуссионны. Молодые прозаики, как правило, избегают полутонов, используют контрастные краски. Публицистический темперамент авторов можно было бы лишь приветствовать, если бы порой, как мы увидим дальше, он не приводил бы к се-

рости языка, привычному штампу в раскрытии самых очевидных конфликтов дня.

Теперь попробуем войти в мир образов и проблем, открывающийся перед читателем названных выше произведений, поговорить о том, чем он богат и чего в нем, на наш взгляд, не хватает.

Главное время

Вспоминается недавний репортаж по телевидению о посещении машиностроительного завода группой писателей. Телевизионная камера, установленная в пролете огромного цеха, вначале дала общую панораму: десятки станков, переплетение незнакомых конструкций. Затем крупным планом оператор показал лица почетных гостей: на них были написаны смущение и растерянность. В громадном цехе, олицетворении машинной индустрии, посторонний человек выглядел непривычно. Когда же здесь, возле станков, поэты пытались читать стихи, ровный мощный гул покрывал их слова. Это не лучшим образом организованное мероприятие невольно подчеркнуло сложность задач, которые возникают перед пишущими на «рабочую» тему: как раскрыть не только гигантские масштабы производства, но и духовный мир людей, управляющих и организующих это, на взгляд постороннего, хаотическое скопление малых и больших станков, как проникнуть в многомерность производственных отношений?

Молодые прозаики, о которых идет речь, нередко упускают из виду, что воспитание рабочего осуществляется не только на производстве, но и в быту, не только в рабочее, но и в свободное время, на него влияет социальная и культурная среда ближайшего окружения. Им зачастую не удается показать вот эту совокупность связей и отношений героя с окружающим миром.

Герой рассказа А. Каневского «Сойди здесь!» Костя Журавлев изображен старательным и умелым работником. Ему удается в трудных условиях сварить свищи паропровода, оставленные халтурщиком дядей Сеней, и вывести бракодела на чистую воду. Читатель радуется, что правое дело победило, восхищен Костиным мастерством, но с естественной неизбежностью задает вопрос: а не лучше ли было написать на эту тему корреспонденцию в газету? Ведь что еще узнаем мы о духовной жизни героя, помимо его умения лихо сваривать трубы? Разве только одну, немного наивную деталь, что Костя давно мечтает жениться, причем «она будет тоненькая, в модном платье и обязательно интеллигентная — телефонистка там, или учительница, или даже врачиха».

Пожилой рабочий Лихобедов из другого рассказа А. Каневского, «Старик, что трубы гнет», поначалу слишком уж наступает на начальство и «горлом» требует выделить обществу рыболовов сталь для катера. Но когда она наконец получена, возникает срочная необходимость обшить две окислительные колонны. И старик отказывается от мечты о рыбацкой ухе, отдает монтажникам размеченные на катер листы металла. Апофеозом сознательности героя звучат слова: «...наше дело — давать стране новые мощно-

сти. И во вторую очередь — мы рыбаки». Очевидность такого утверждения не нуждается в доказательствах средствами художественного слова.

В раскрытии рабочего времени героев иным писателям еще не хватает аналитичности. В рассказе «Скрипка» А. Геращенко пробует показать героя на распутье, в момент выбора правильного решения. Рабочий паренек Сенька начинает ощущать бездуховность своих планов о «модном костюме с разрезом, плаще, рубахе в «петухах» и «Яве». Он пугается череды однообразных дней, «таких же, как и вчера, позавчера, все дни после ремесленного», призывает на помощь мальчишескую мечту об институте, но... пока безвольно шагает в сопровождении бывалого дяди Васи подряжаться насчет ремонта дома.

Хозяин Сан Палыч наливает напарникам по стопочке, не забывая при этом подчеркнуть свое умение устроиться в жизни: «...добился своего. Умственно теперь работаю». От выпитой водки Сенька ощущает «легкость денег, которые получит в этом доме».

Заранее сформулировав идею произведения (победа духовной жизни над бренными заботами материального мира), автор подводит героя к спланированной мелодраматической концовке. Сенька внезапно слышит звуки скрипки, на которой играет дочь хозяина с «грустными и прохладными глазами», и в душе его пробуждается совесть, ибо «мужественные звуки... призывно звали, стыдили и требовали выпрямиться во весь рост». Перерождение Сеньки свершается внезапно — буквально на глазах изумленного читателя. Следует заключительный аккорд — и все дурное спадает с глаз героя, он видит мир в девственной чистоте и прелести идеалов: «Все задрожало в нем от переполнившей его радости и силы, и ничто уже не страшило его».

Право, если бы все обстояло так просто, молодых рабочих давно бы в принудительном порядке водили на музыкальные концерты!

А вот в повести А. Геращенко «Трава зеленая» герою доверили получить заработную плату всего участка. И здесь начинаются его беды: вовремя не подошла машина, по дороге пристал к парнишке бывший заключенный... Словом, переживаний хватает, но реакция героя на те или иные огорчения стереотипна: «...кулаки его разжались, и он заплакал»; «Ничего не видя перед собой, Игорь оскальзывался, спотыкался, рыдания душили его»; «Слезы иссякли, Игорь вытер щеки»; «Отвернулся, пряча внезапно выступившие слезы»; «И ему вновь захотелось плакать»; «Игорь быстро смахнул со щеки слезу».

В том же сборнике А. Геращенко помещен рассказ «Сто первый» — об отце, погибшем на фронте, о голодном детстве военных лет, о том, как ждали матерей, возвращавшихся поздно вечером с лесозаготовок, как верили в победу. Все это написано в экспрессивной, энергичной манере, с жестокой правдой жизненных деталей. Насколько выше в художественном отношении этот рассказ и «Травы зеленой», и «Скрипки»!

По давно знакомой схеме развиваются события в повести Кима Балкова «Через падь». Передовой бригадир Соломенцев предлагает облегчить разгрузку хлыстов с железнодорожных сцепов на нижнем складе. На пути рационализатора встает консервативный начальник — приказом по лесопункту он снимает бригаду со строительства лебедки. К концу повести все становится на свои ме-

ста: ретрограды посрамлены, лебедка гордо возвышается на предназначенном ей месте.

Ставшая пародийной схема «производственного» конфликта выполнена Кимом Балковым в серьезной манере. Добросовестно и старательно излагает писатель значение технологической новинки. И лишь в какой-то момент, видимо спохватившись, что пишет повесть, а не инструкцию, он спешит хоть как-то опоэтизировать злополучную лебедку: возлюбленной героя Наде она видится «блестящим шариком, серебрящимся в закате», наподобие летающей тарелки.

Известный рационализм в построении фабулы очевиден и в повести «Росстань» того же автора. Леснику Ерасу Колонкову противостоит начальник лесопункта Мартемьян Колонков. Он равнодушен к судьбе посадок облепихи и собирается на их месте проложить новую лесовозную дорогу. Действие повести развертывается осенью шестьдесят девятого года, и понятно желание молодого прозаика вмешаться в известную дискуссию о Байкале. Его симпатии на стороне Ераса, озабоченного наступлением техники на заповедную тайгу. И вот уже перед одержимостью Ераса отступает деловой расчет Мартемьяна. В душе начальника лесопункта рождаются ростки понимания всей прелести природы, и он видит «на листьях травы маленькие утренние солнца».

Да и браконьер Лешка довольно скоро осознает свою вину. Если на тридцатой странице повести он глядит на лесника, нехорошо «ухмыляясь», то спустя восемь страниц, настигнутый с приготовленной для продажи ягодой облепихи, он уже «ссутулился», ему «стыдно и совестно», «лег на кровать, закрыл лицо руками».

В. И. Ленин писал, что в ходе культурной революции «перевоспитать надо в длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению божией матери, не по велению лозунга, резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с массовыми мелкобуржуазными влияниями».

В названных выше произведениях авторы в разных формах пробуют раскрыть духовный мир нашего современника. То ли это интимный, лирический разговор с читателем о нелегкой судьбе женщины, о горьком одиночестве в тридцать лет, которое сменяется «робкой надеждой на какое-то светлое чудо» — в «Лиюшке» Зои Прокопьевой. То ли это знакомство с героем, обладающим высоким уровнем общественно-политической и культурной активности — таковы рабочие люди во многих произведениях А. Каневского, К. Балкова, А. Геращенко.

Но нельзя не отметить и еще одну, кажущуюся нам наиболее интересной тенденцию к объективному, научно обоснованному анализу всех аспектов культурной среды, окружающей рабочего на производстве и в быту, к постановке острых, пока еще не решенных проблем воспитания молодой поросли. Эта тенденция с наибольшей четкостью проглядывает в книге Юрия Антропова «Белая душа», в повести Валерия Алексеева «Последний шанс «плебея». В какой-то степени она намечается в рассказе А. Геращенко «Скрипка». Да и рабочий Лихобедов из рассказа А. Каневского «Старик, что трубы гнет» поначалу тоже интересен своей неумной требовательностью к начальству, угловатой резкостью, с которой он отстаивает интересы товарищей по работе.

Даже в повестях К. Балкова при всей упрощенности основного конфликта имеются тонкие наблюдения о нравах жителей лесного поселка.

В этих поисках проблем «главного времени» молодые литераторы соприкасаются с полем деятельности научных сотрудников, ставящих первые опыты конкретно-социологических исследований духовного мира советского рабочего. Социологи считают, что процесс преобразования сознания и культуры рабочего класса еще не завершен.

Об этом размышляешь, когда знакомишься с Витькой по прозвищу Плебей из повести В. Алексеева «Последний шанс «плебея», и с Борисом, прозванным друзьями Королем, из повести Ю. Антропова «До весны далеко». Каждому из этих ребят по восемнадцати лет, их ждет скорый призыв в армию.

Каким бедным и ограниченным выглядит кругозор Плебея, когда ему представляется возможность изложить свои «концепции»: «вселенная разбегается», «живу я один, а вы мне только снитесь», «через миллион лет так и так солнце погаснет». Истоки такого озлобления тянутся к семье, где пьянствует отец; к улице с ее «кодлой», считающей Плебея, не в пример другим, личностью («...когда идет кодла и не знаешь, выйдешь жив или нет, знал бы ты, какое в душе... — Плебей поискал слово, — ...спокойствие. Чувствуешь, что живешь»).

Перед нами, в сущности, развертывается трагедия рабочего подростка. Вот он, бледнея и хмурясь, слушает записи блатных песен — и как странно, что эта дешевая мрачная «экзотика» под гитару трогает его душу, обретает устойчивые формы жизненного кредо («Идут люди под нож и не знают, что будет. Вот это, я понимаю, жизнь»). Как трудно осознать, что привычные к делу «тяжелые руки» могут держать самодельную финку, оскорбить девушку, унизить человеческое достоинство!

Линия судьбы Бориса тоже не прошла мимо увлечения песенками, которые исполняются с «бесконечно простуженной хрипотцой». Но влияние добротной рабочей семьи помогло герою найти и утвердить себя в жизни, в глазах друзей и родных.

Есть у Ю. Антропова и другие герои. Даже в дни беззаботной курортной жизни сварщик Яков Абакумов вспоминает работу, которая «свой запах имеет. К примеру, электросварка. Иногда чиркнешь электродом, чуть выбьешь искру, а уж напахнет, напахнет... будто в лесу гроза прошла! Хотя, конечно, если посторонний человек или без души на работе, так он может этого и не заметить». По дороге на юг, к брату, Яков не раз проклинал чертовы колодцы теплотрассы, где приходилось в сплошном пару сваривать стыки, клялся не думать про держатели и электроды, остаться у моря, приткнуться к теплой беззаботной жизни. Но уже на второе утро черноморской идиллии ощущает Яков тоску по родным местам, видит во сне щиток с темно-синим стеклом, забрызганным железными капельками искр, а в странном звуке перламутровой раковины чудится ему вовсе не далекий морской прибой, как уверяет брат, а стрекот электрода.

При всей внешней стереотипности фабулы рассказ «Алтайское танго», знакомящий нас с Яковом, интересен своей образной структурой, щедростью, с которой на его страницах рассыпаны точные и свежие детали. Автор следит за Яковом словно бы со стороны, но непосредственность его переживаний, трезвую яс-

ность натуры передает умело и тонко. Этому очень помогает удачно найденная иронично-серьезная интонация — она хорошо выявляет отношение героя к необычному для него «курортному» состоянию. Вот почему решение Якова вернуться в родные места выглядит единственно возможным после всего того, что узнаешь о прошлом и настоящем этого основательного, работящего сибиряка.

Столь же объяснимо и намерение израненного в боях Егора податься на поиски темно-вишневого минерала касситерита, который рассыпан в степях за Иртышом (рассказ «Белая душа»). Ведь именно на фронте осознал Егор обязательную необходимость оставить о себе память на земле («Загадал про себя — вот найду этот касситерит проклятый, — значит, ничего еще в моей жизни не потеряно»).

Старатель Егор и электросварщик Яков — люди в общем-то разные, да и время действия рассказов разделено четвертью века. Яков в чем-то более рассудителен, осторожен. Ему по душе приметы людского уважения: «в местком выбрали, с Доски почета не схожу». С трезвой ясностью, «без фантазий» приглядывается он и к ценам на южном рынке, и к привычному достатку в добротных домах. Егор в большей степени бессребреник, он словно отрешен от мира расчетов и денег. Даже когда в это трудное послевоенное лето вся артель разбегается из-за малого заработка, Егор продолжает истово работать лотком, слой за слоем смывая песок в ручей. Но оба рабочих едины в главном: они знают и ценят вкус хлеба, заработанного собственными руками.

Сварщик Костя Журавлев, бригадир Соломенцев, рабочий Лихобедов, лесник Ерас, казалось бы, люди разных профессий. Но, приглядевшись, нетрудно увидеть общую для всех черту: отсутствие движения в развитии характеров. Перед нами словно сошедшие с Доски почета фотографии принарядившихся по торжественному случаю передовиков производства. Это очень хорошие люди, и можно только благодарить молодых прозаиков, что они сделали их своими героями. Однако жаль, что для читателя они не стали друзьями, живыми и умными собеседниками, может быть, ошибающимися в чем-то, испытывающими какие-то сомнения и все-таки близкими нам открытой сердечностью горьких и радостных размышлений.

Молодые прозаики ведут поиск героя в разных направлениях. Зоя Прокопьева, например, наделяет уже знакомую нам Лиюшку милой женской непосредственностью. Пробует «подключить» к повествованию лирику и Ким Балков — не отсюда ли в повести «Через падь» возникает тема Нади с ее восторженным восприятием лебедки — детища рук и ума возлюбленного. И все же, как нам кажется, настоящий успех может быть достигнут на пути большей аналитичности в раскрытии «главного времени» героев.

О «дефиците» доброты

Но вот рабочий человек минует проходную предприятия — и перед ним мир новых интересов и забот. Начинается личное время — и вместе с ним появляется возможность повысить свое

образование в вечерней школе, сходить в театр, встретиться с любимой. На танцы бежит Игорек из повести А. Геращенко «Трава зеленая», мечтая вновь увидеться с Аленой. Спешит домой, к жене, слесарь Венька Комраков. И прокопьевская Лиюшка, счастливая, кружит с Мишкой по городу, веруя, что все грустное там, позади, а впереди — семейный уют, ласковые здоровые дети, радость материнства.

Уставших от работы, честно выполнивших свой долг перед обществом героев наших произведений ждут ласковые, понимающие, многотерпеливые спутницы жизни. Доброта во всех проявлениях чрезвычайно ценится и воспевается молодыми прозаиками.

«Разве так много надо, чтобы сделать кому-то баньку? Или вовремя подойти, сказать доброе, нужное слово, заставить встряхнуться, поверить в себя, в жизнь?» — думает Шурочка Осокина из рассказа Зои Прокопьевой «Доски для баньки». Ей одиноко и тоскливо порой в громаде мартеновского цеха, возле синеватых языков огня, вырывающихся из печи сквозь кладку кессона («Скучно мне. Работа, работа...»), ей хочется участия и понимания, мечтается уйти далеко-далеко в лес и «нырнуть с головой в какую-нибудь копешку». Иного склада бригадир Игорь Корюкин. Это он помогает инвалиду войны Петру Алексеевичу выстроить дом, достать доски для баньки, выхлопотать пенсию. И в просыпающемся чувстве Шурочки к Игорю есть и уважение к человеку, умеющему делать добро, сохранившему цельность и богатство эмоций. Ей хочется «быть с ним рядом, радоваться тому же небу, зелени камышей и низко пролетевшей чайке».

«Доски для баньки» — одно из наиболее личных и душевных произведений челябинской писательницы, а образ Шурочки — один из наиболее запоминающихся. Перед нами женщина волевая, способная на сильное чувство и очень несчастливая. Неудачный первый брак с человеком неприметным, равнодушным, за ним — новое знакомство с Ефимом и любовь, казалось бы, такая яркая и страстная, а на самом деле — лишь отчаянная попытка уйти от одиночества... И где-то подспудно — рождающееся исподволь глубокое чувство к Игорю Корюкину, сопряженное с горьким пониманием нескладно сложившейся женской судьбы. Так понятно Шурочкино желание услышать «доброе, нужное слово», ощутить счастье истинной любви!

Разговор о «личном» времени героини становится естественным продолжением рассказа о ее работе в мартеновском цехе, он дополняет и обогащает наше представление о Шурочкином характере.

По сути дела, и в других случаях, когда молодые прозаики рисуют личную жизнь героев, они тоже стремятся избежать известной суховатости «служебной» характеристики, выйти за рамки производственного конфликта. Но само по себе описание личных чувств недостаточно. Важна позиция художника в раскрытии требующих исключительного такта взаимоотношений мужчины и женщины. Ведь бездумность в этом вопросе неизбежно приводит к мещанской лирике, к позиции стороннего любования «изящным» интимно-лирическим миром героев.

Столь понятен нам Шурочкин поиск «доброго» человека, но вот мы слышим жалобу героя рассказа Зои Прокопьевой «Охота на журавлей» Шабалина: «Всем надобно счастье: жена, добрый человек, чуткость и взаимопонимание»; вслед за

ним — исповедь Андрея из рассказа «Весна Кедриных»: «А кому не нужен человек хороший?» — и в этом ненасытном и жадном поиске «маленького», обыкновенного человеческого счастья начинаем ощущать нечто эгоистическое, желание возместить за счет чужих эмоций холод своего сердца, отрешиться хотя бы на время от мыслей о работе, согреть душу лирическими возлияниями.

«Потребители доброты» создают вокруг себя атмосферу кислородной недостаточности и живут за счет запасов других. Эта трагическая их особенность нередко упускается из виду молодыми прозаиками, и в том числе Зоей Прокопьевой.

Шурочка Осокина — образец сильного характера, ее можно зачислить в актив челябинской писательницы вместе с Лиюшкой. Но когда мысль даровитого прозаика от анализа сложного характера начинает незаметно переходить к любованию кажущейся «сложностью», сразу теряется доверие к автору.

С очевидной симпатией описывая в «Охоте на журавлей» увлечение доктора наук Павла Ивановича «простой и милой женщиной» Валей, Зоя Прокопьева использует устоявшиеся штампы «курортного романа» («сладко стукнуло отдохнувшее сердце, и затихли сосны»). Знакомство Павла Ивановича с Валей заканчивается его интригующим отбытием на борту вертолета. «Когда-нибудь я снова встречу ее», — облегченно подумал он. И сразу утихла его душа, стало уверенно и спокойно». А ведь в этой душевной «облегченности» есть расчетливое удовлетворение, что расставание не затянулось, что все кончилось так мило и приветливо, и память о чужой доброте еще долго будет согревать сердце в привычном мире рационально построенных отношений.

Точно так же, как и любовная связь директора крупного металлургического завода Кедрина с замужней женщиной Анной — лишь свидетельство той истины, что и руководителю ничто человеческое не чуждо. В мелодраматической концовке рассказа «Весна Кедриных» («У него снова будет весна. Его весна») сквозит излишнее авторское умиление.

Если бы Зое Прокопьевой хотя бы намеком, одной-двумя деталями удалось подчеркнуть негативизм поведения потребителей доброты, рассказы приобрели бы известную перспективу. Но их портит сладковатая чувствительность, оттенок одобрительного восхищения любовными интригами таких уважаемых в обществе людей, как Павел Иванович и Кедрин.

Лирические сцены, задуманные как средство оживить характер героя, порой в невыгодном свете раскрывают его поведение. Человек, в производственных отношениях проявляющий творческую смелость и острый ум, в личной жизни сводит большое чувство к обычному адюльтеру. Это не его вина — здесь в полной мере сказывается нечеткая авторская позиция.

Для главного инженера управления Яна Борисовича Лозинского из рассказа А. Каневского «Полоса отчуждения» командировочное время — это возможность отдохнуть «от привычных лиц, обязанностей, от ежедневного монотонного распорядка». Во время скучного доклада замминистра он вспоминает о первой и чистой любви к Лиде-Лидышке и решает «встретиться со своей юностью», на время забыв прекрасную жену Катю и пятилетнюю дочь. Следует встреча в огромном кафе на новом Арбате, «воспоминания, только самую капельку подогретые коньяком».

Вновь то же ошибочное писательское умиление уважаемым Яном Борисовичем, который, оказывается, не одной работой жив. Назавтра он приходит к Лиде-Лидышке с желанием вернуться к недосказанным сантиментам, ведь «вчера еще не были израсходованы все «а помнишь». Симпатии автора на стороне ухоженного, чисто выбритого хозяйственника, олицетворяющего новую технократию. Когда женщина, взволнованная воспоминаниями, решает пойти навстречу, ее «развратности» противопоставляется девическая стыдливость Яна Борисовича.

Ян Борисович, этот обыватель с портфелем, оставляет Лиду-Лидышку в позе кающейся грешницы («Глаза — сплошные озера, а по щекам — ручьи»). Добродетельный и умиротворенный, он возвращается к месту работы с сознанием честно исполненного долга. Как странно, что автор не замечает всей подлости поведения героя «в полосе отчуждения»!

Деление жизни на «рабочее» и «личное» время выглядит тем более искусственным, что в «любовных» эпизодах молодым прозаикам нередко изменяет чувство меры.

Можно поверить, что в загрубелой душе прораба Димы пробуждается любовь с первого взгляда. Но как примитивно рассказано об этом высоком чувстве в рассказе А. Каневского «Ветры степные»! Вот Дима волнуется — и сразу «напряглись и вздулись мышцы на его руках»; душа его в смятении — герой, «не разбирая дороги, рванулся в цех»; Диме томительно и тревожно — и «складка вокруг его губ резко обозначилась, и под скулами заиграли бугорки». Прямолинейное, стандартное соответствие переживаний человека с движениями, жестами, мимикой!

Если ранее Диме быт представлялся «скорее рабочим местом, чем домом, где ты спишь», то теперь в его душе возникает тяга к «пронзительному уюту и красоте» (!), от которых не хочется уходить на строительную площадку. Героя тянет заботиться о любимой женщине, «ощущать непривычную новизну неги и теплоты». Да и глаза Марии обещают сгладить суховатую рационалистичность мира, в котором живет деловой прораб, ведь они такие «улыбчивые, готовые поглотить и чужую печаль, и злость, и растворить их в своем щедром ласковом мерцании» (!).

Работа остается для мужчины важной сферой проявления личных способностей и ума. Здесь женщине делать нечего, она появляется лишь в «полосе отчуждения», богатая эмоционально и столь же непрактичная, живущая только чувствами.

В повести А. Каневского «В сторону от прямой» — это Оля с «глазами, от которых волнами пробегает по телу озноб». Прием писателя прост. Он строится на подчеркнутом, уже «традиционном» контрасте: загадочный взгляд Оли — и небрежная разочарованность молодого инженера, возвышенное до грани пародии объяснение в любви («Я хочу, чтоб ты поклонялся мне, потому что я — королева и еще — нежная и величественная антилопа») — и следующий сразу за «антилопой» будничный репортаж («Эксперимент с преобразователем Алексея был успешно завершен. Работу сдали заказчику досрочно»).

Женщина выступает как своеобразный допинг в работе, освежающий и придающий силы напиток. Ценность ее именно в этом качестве стимулятора творческой энергии. Если же наступает время охлаждения, то одной из причин размолвки становится то, что женщина якобы мешает производственным успехам героя.

И вот уже Алексей признается вчерашней «королеве» и «антилопе»:

«Я не знаю человека в этом мире, которого любил бы больше тебя. Но я солгу, если скажу, что встаю и засыпаю с твоим именем. Не мысли о тебе рождают удачи в моей работе».

Что и говорить, уж слишком прикладная роль отведена любви в деловом расписании инженерского дня!

Когда Маяковский противопоставлял лирике мещанства лирику революции, он справедливо подчеркивал, что революция не исключает лирики. Поэт доказал это стихами, посвященными любимой, где он достиг вершин мировой лирической поэзии. Он всегда выступал против тех микробов разложения, того товара, проникающего из-за рубежа, который подтачивает твердые устои нашего быта, будирует половую распущенность и стремление к «изящной» жизни.

Приходится с огорчением говорить, что в молодой прозе часто утрачивается ощущение подлинной праздничности любовных переживаний. Функции женщины нередко сведены до примитива. Уж очень малого ожидает Сидор Гремин от своей любимой Зиночки — лишь бы «чувствовать, что та, без кого было бы очень плохо, возле тебя, что она ничего не требует, ни на что не жалуется» (повесть Кима Балкова «Росстань»). В отличие от таких книг, как «Цемент» Ф. Гладкова, «Время, вперед!» В. Катаева, где «лирика революции» помогала дерзать и трудиться, у иных молодых прозаиков, скорее всего неожиданно и даже незаметно для них самих, все более выступает на первый план качество, которое можно определить как бездуховность героя.

Жизнь, лишенная больших эмоций, скучна и читателю, не потому ли Юрий Антропов вводит в повесть «Неделя ущербной луны» образ секретаря-машинистки Лизы с «душой, которая отражает принятое добро, усиливая его многократно». Когда производственный конфликт вокруг проблемы бурения механическими станками обретает слишком уж затяжной характер, появляется красавица Лиза и отвлекает мысли героев в иную, лирическую сферу.

Дефицит доброты остро ощущают герои повести Валерия Алексеева «Последний шанс «плебея». И озлобленный неудачник Витек, и расчетливый, «себе на уме» молодой специалист тянутся к доброй, славной, беззащитной Наташке, рассчитывая пополнить в отношениях с ней тот малый ассортимент чувств, что природа заложила в их сердца, ту скудость эмоций, что постоянно осознают они сами. Они тянутся к женщине — и жестоко обижают и унижают ее человеческое достоинство, как бы мстя за свою ограниченность и бездарность.

Быть добрым человеком, оказывается, и опасно, и невыгодно. На огонек доброго сердца слетаются со всех сторон очутившиеся в «полосе отчуждения», уставшие от забот «деловые люди». Согревшись у огонька, они отправляются дальше по своему жизненному маршруту.

С тем большим удовольствием читаешь новеллу «Цари-бобы» из повести Ю. Антропова «До весны далеко». Здесь с редким тактом рассказывается о первом чувстве «младшенькой» из рабочей семьи Комраковых — Наташи, бережно и незаметно охраняемом добрыми традициями. И тот «избыток радости», что сопровождает

Наташу в ее открытии мира, дарит счастье людям, украшает тихим светом скромный, непритязательный быт рабочей семьи.

О важности этой эстафеты добрых дел, добрых чувств и рассказ А. Геращенко «Улица стачек». Когда грузчик Семен Кравченко решает построить дом из самана, на помощь ему добровольно приходят и ребята из бригады, и Мария-партизанка, у которой в войну фашисты расстреляли двоих сыновей, и соседи по улице. Благодарный Семен, размышляя о людской щедрости, видит счастье в постоянном возвращении добра: «То, чем жертвует человек, все-таки возвращается добром. Только... иногда не ему — другим людям. Сегодня это счастье выпало нам. И мы с Татьяной им всегда поделимся».

В этих словах точно выражено мировоззрение рабочего человека, никогда не ощущающего дефицита доброты, всегда готового прийти на помощь, сердцем осознающего справедливость слов о том, что человек человеку — друг, товарищ и брат.

Линия участия

Соприкасаясь с душевной щедростью рабочего класса, мужают и крепнут характеры молодых инженеров и конструкторов, научных работников и специалистов разного профиля, выполняющих сложные задачи научно-технической революции. В той или иной степени они выводятся на страницы каждого из названных выше произведений, и вместе с ними на первый план выходят проблемы урбанизации и коммуникабельности. Не имея возможности в данной статье подробно останавливаться на этих сложных и дискуссионных вопросах, рассмотрим их лишь под углом зрения задач, определенных названием работы. Мы имеем в виду совместную «линию участия» рабочих и научно-технической интеллигенции в общем деле. Именно так образно определяет свой стиль поведения молодой мастер Олег Косинов, когда с новеньким дипломом в кармане приезжает на строительство Волгодонска (повесть А. Каневского «В сторону от прямой»). Встретив поначалу со стороны рабочих некоторое недоверие, Олег удачно находит ошибку в монтаже труб и обретает долгожданную уверенность в своих силах. Рассказ о том, как рождается взаимопонимание между рабочими и Олегом, как он начинает чувствовать себя членом единой трудовой семьи и находит «свою линию участия и свое место» на стройке, становится одной из самых интересных страниц повести.

И для Алексея Можаева именно время работы в бригаде волгодонских котельщиков оказывается временем больших перемен. Здесь он набирает силы, чтобы вновь приступить к решению сложной научной проблемы. Здесь он встречает честных и бескорыстных друзей, которые помогают завершить конструирование и успешные испытания сварочного агрегата плазмотрона.

Мысль о процессе стирания граней между умственным и физическим трудом, который, по словам доктора экономических наук В. Терещенко, «в нашей стране объективно существует, идет и развивается («Комсомольская правда», 2 марта, 1973), реализована и в композиции повести, правда, слишком уж прямолинейно и навязчиво.

Так, первая глава ее показывает героя в одной его ипостаси — как человека, разочарованного в своем призвании, потерявшего уважение к людям и к себе. Когда главный конструктор Минин включает себя в соавторы оригинальной схемы преобразователя, придуманной Алексеем, герой «почувствовал тошноту от стыда и еще какого-то непонятного гадливого чувства», но молчаливо согласился с предложением. Один компромисс следует за другим, и бывалый Минин уже поучает Алексея: «Хочешь добиться чего-нибудь в жизни — опирайся на ближних, но и им подставляй свое плечо. И так друг за дружкой».

«Линия участия» героя все более и более отклоняется от главной магистрали жизненных ценностей. Он пробует понять истоки своего слабоволия — и находит их в биографии, незамутненной размышлениями и трудными решениями: «Мы с детства живем по проекту — вот ведь беда-то в чем. Сначала садик, потом школа, вуз — и пожалуйте в НИИ. Здесь для вас уже запроектировано местечко. И дорога у нас ясная и прямая до тошноты». Алексей оставляет научно-исследовательскую работу и уезжает на стройку.

В главе «Дилетанты» мы видим Алексея уже рядовым сварщиком. Необычная сама по себе ситуация, когда талантливый изобретатель сваривает котлы, таит в себе и ценную мысль, в какой-то мере развиваемую автором, о том, что научно-техническая революция требует значительного повышения квалификации рабочего. Ведь именно знания помогают Алексею в два с половиной раза перевыполнять дневную норму, браться за самые сложные, требующие инженерного решения сварочные работы. И в рабочей среде, оценивавшей нового сварщика поначалу как рвача и хапугу, не может не возникнуть чувства уважения к его золотым рукам и сноровке, и вот уже товарищи по бригаде пробуют перенять кое-какие «секреты» Алексея, применить его новинки.

Не все равноценно в этой главе. Не совсем объяснима та твердая уверенность в себе и сила характера, что теперь присущи Алексею, поскольку существует временно́й разрыв с действием предыдущей главы. Оставив героя в позе разочарованного «лишнего человека», мы встречаем его уже в новом, обретенном в каких-то других краях качестве выдающегося сварщика. Словно желая еще больше «опростить» вчерашнего интеллигента, автор поселяет его в доме некой Шурочки, наивной и простоватой молодой бабенки, имеющей привычку расхаживать по комнатам в одной рубашке. Мысли Алексея, мятущиеся «от плазмотрона к этой смешной милой женщине», обретают покой, когда он приходит на ночь к хозяйке. Развитие образа завершено: перед нами лучший сварщик стройки, по вечерам работающий с научными приборами в домашней лаборатории и публикующий статьи в научных журналах. Спокойно и его сердце — ведь рядом непритязательная Шурочка и так приятно «вдыхать запах ее свежего тела».

Третья глава повести «Какой дурак работает даром?» фактически уже ничего нового не добавляет к ранее сказанному. Происходит лишь накопление информации: Алексей с блеском закрывает аккордный наряд, в течение двух суток не выходя из цеха; его последние опубликованные статьи вызывают интерес в научной среде, и теперь уже руководство НИИ ищет опального

сотрудника по всей стране (Алексей держит в тайне место жительства), чтобы вернуть в сектор на самых благоприятных условиях.

В заключительной главе «Главное впереди» автор подводит итоги жизненного эксперимента героя. Они на редкость удачны: испытания плазмотрона завершены с блеском; обретено научное имя; в трудностях закалился характер; появилось немало новых друзей, по-рабочему деловитых и преданных.

Можно было бы радоваться за молодого инженера, который в союзе с рабочими сердцами нашел «линию участия» в жизни, если бы не тот оттенок сомнения, какой вызывает его поведение на последних страницах повести.

Вот он победителем возвращается в институт, где директор предлагает «полную творческую свободу». Вот он триумфально выступает на научной конференции. И здесь, на вершине славы, Алексей бросает очень настораживающую фразу: «Хочется мне чего-нибудь высокоинтеллектуального, а то я как-то одичал за это время», — и идет на концерт симфонической музыки. Как же так — именно работу на стройке А. Каневский показывает как самые славные страницы биографии героя, и вдруг выясняется, что он «одичал» за это время! После этого можно расценивать поступок героя, когда он «пошел в народ», как жест, вызванный элементарно эгоистическими целями, примерно такой же, когда выпускник школы идет на любую работу в поисках справки о трудовом стаже.

Так незначительные, казалось бы, штрихи, торопливо и бездумно разбросанные автором, создают досадное ощущение незавершенности произведения. Не только «в сторону от прямой» привычного пути от садика через школу и вуз — в НИИ отклоняется герой, но и от «линии участия», продиктованной понятной признательностью вчерашним друзьям по рабочей бригаде. Возрастающее по спирали восхождение Алексея к успеху все более приобретает самодовлеющий характер, а реальный анализ жизненных конфликтов подменяется заготовленной схемой.

Да, сегодняшний рабочий — человек, уверенный в себе, с широким техническим кругозором, с чувством перспективы. Он уже не ограничивается только уходом за станком, выполнением определенных, строго расписанных операций. Его интересует жизнь цеха, завода, он активно вмешивается в жизнь коллектива, и в том числе в вопросы, которые когда-то входили в компетенцию научно-технической интеллигенции: помогает продвижению передовых идей, борется с консерватизмом и рутиной.

Таков рабочий геологической партии Илья из повести Ю. Антропова «Неделя ущербной луны». Он не может остаться в стороне от конфликта между начальником геологической партии Уваркиным и молодым геологом Андреем Званцевым.

В настойчивом стремлении Уваркина посадить на свое место человека духовно близкого есть эгоистическое желание утвердиться во мнении, что пятьдесят пять лет прожиты не зря, что те принципы «умения существовать», в которые он уверовал десятилетия назад, действительны и сейчас, лишь несколько видоизменились («И еще это... гуманно, как у нас призывают-то всюду»). Лишь в редкие ночные часы бессонницы думает Уваркин «о прожитых годах, как о чем-то бесполезно суетливом, растраченном на пустое тщеславие и скучную будничную сытость».

Но приходит утро — и он вновь обретает прежнюю уверенность и зорко высматривает среди подчиненных «достойную» смену.

В коллективе небольшой геологической партии трудно что-либо утаить. Всем, в том числе Илье, ясно, что есть два возможных кандидата на замещение Уваркина. Один из них Роман Лилявский, молодой специалист, на третьем году службы не без влияния начальника сделавший открытие, что «все об одном хлопочут — и люди, и звери, и какая-нибудь там инфузория», — как бы поменьше работать, а побольше получать. Другой — нормировщик Павел Тихомиров, действующий испытанными методами: подхалимством, нашептыванием, покорным поддакиванием.

Симпатии Ильи на стороне молодого инженера Андрея Званцева. Не сразу осознает рабочий необходимость активных действий, он просто сторонится карьеристов, презирает их. Но вот Илья оказывается свидетелем сцены подлога. Уваркин и Лилявский решают оболгать Андрея, переложить на него ответственность за несчастный случай на ручном бурении. Званцеву грозит повторение истории, когда по ложному обвинению он был приговорен к двум годам заключения.

И здесь сказываются те зерна правды, что посеял Андрей в сердцах близких ему людей. Илья делает вывод, что «за чужие спины не спрячешься», надо активно бороться со злом, а не просто «делать кто чего ни скажет». И в этом пробуждении социальной активности рабочего человека — залог скорого конца сытого покоя уваркиных, неминуемого поражения их жизненных принципов.

И наоборот, если получивший образование молодой человек потерял связь с народом, замкнулся в мире личных переживаний, за стеклянными дверями одиночества, его неминуемо ждет отчужденность от общества, растворение идеалов в ядовитом потоке иронии и скепсиса.

Как бы развивая это положение, Валерий Алексеев в повести «Последний шанс «плебея» рисует молодого специалиста, живущего в стандартной двухкомнатной квартире района новостроек. Он действительно не знает и не хочет знать никого из соседей по своему дому.

Перед нами человек, для которого «все отклонения от нормы нерентабельны». Здесь терминология, свойственная инструкции по научной организации труда, переносится в практику личной жизни, с известным позерством и иронией, но и с твердой уверенностью в правоту такой философии.

В. Алексеев исследует то явление, что получило некоторое распространение среди нашей молодежи и стало предметом художественного анализа в его первой повести «Светлая личность» (1968). Но если для студента пединститута Ромки Андреева отчужденность — лишь попытка нащупать индивидуальность, то для повзрослевшего героя повести «Последний шанс «плебея» эгоцентризм — это житейская позиция. Если Ромка при всем его позерстве привлекает искренним неприятием тупости, бездарности, косности, тем, что пытается порой эксцентрично бороться с недостатками; если в нем еще сохранилась вера в общественный идеал и он способен нерасчетливо пойти на конфликт с влиятельным чинушей, тратить время на чтение философских трудов, по которым зачеты не сдаются, и спорить о Зигмунде Фрейде, то для героя повести «Последний шанс «плебея» эти юношеские ме-

тания далеко позади и кажутся смешными. Он знает, что на спорной философии можно обжечься, а в результате стычки с влиятельным коллегой по институту потерять «место». Социальная инертность переходит в равнодушие к близким, проявление индивидуальности уже не в спорах на социально-общественные темы, а в умении почувствовать «полноту жизни» от музыки («Я бросился к радиоле, поставил Кониффа «Зеленые глаза» — и стало очень хорошо»), прохладного молока («Я пил, пуская струйки на подбородок, постанывая от ломоты в зубах и от наслаждения»), упражнений со штангой для накачки недостающих до идеальной фигуры трех килограммов мышц («В мышцах начинается глухое гудение. На груди под покрасневшей кожей будто бы зашевелился рой пчел. Это хорошо».

В том перечислении жизненных радостей, что получает герой от пищи, музыки, физических упражнений, есть нечто унизительное. С еще более резким сарказмом В. Алексеев описывает покупку импортной дубленки, когда обладание редкой вещью приобретает значение какого-то мифического, религиозного акта («Еду в метро. Думаю о ней. Красавица моя милая... Полулежит сейчас на диване, уголок воротника небрежно загнут... Мне не терпелось поскорее добраться до дому и остаться с нею наедине»). Красивые вещи, которых нет у других, помогают герою подчеркнуть свою неповторимость. Они служат «подушкой, тормозящей удары извне». Накопление вещей становится жизненной нормой.

«По-моему, ты просто умер. Умер уже давно, только никто еще об этом не знает», — говорит Наташа хозяину дубленки.

Нет, «линия участия» настоящих героев «рабочей» прозы лежит далеко от круга интересов этого «эгоцентриста»! Она противостоит ему активной силой добра, душевной щедростью — качествами, которыми щедро наделены герои повести Юрия Антропова «До весны далеко», где идея союза рабочих сердец воплощена в пяти новеллах о жизни большой пролетарской семьи.

Многое связывает эту повесть с ранней работой прозаика — повестью «Присядем на дорогу» (1968). Есть немало схожего в характере и внешности Толи и Веньки Комракова. Да и работают они на одном производстве. В основе повестей лежит родственный материал, имеющий очевидный автобиографический оттенок. Однако осмысление его в более позднем произведении существенным образом отличается от субъективных заметок, сделанных рассказчиком в повести «Присядем на дорогу». От «субъективных», поскольку изложение там идет от лица журналиста, возвращающегося в родной город после двух лет скитаний и как бы заново оценивающего круг родных и знакомых. При этом в голосе рассказчика звучат горькие нотки разочарования. Он отчужден от родных своим образованием, интеллектом, неумением вести себя просто и ласково, какой-то нервной усталостью и скептицизмом.

От этой позиции стороннего наблюдателя Ю. Антропов решительно отказывается в повести в новеллах «До весны далеко». Внимательно и любовно повествует молодой прозаик о «корнях и ветвях» большой рабочей семьи Комраковых, и каждая новелла — это еще один штрих к ее коллективному портрету.

Лишь в новелле о Веньке более подробно рассказывается о «производственных» делах коллектива химического комбината, с историей которого связана судьба семьи. Но образ индустриаль-

ного гиганта незримо присутствует в каждой новелле. О работе вспоминают и за праздничным столом, и в случайной беседе в кругу близких и родных, вспоминают заинтересованно и озабоченно. И это сформированное всем укладом социалистического строя чувство хозяина производства выступает одним из важнейших качеств семьи Комраковых, подчеркивает новое в социально-психологическом облике советского рабочего.

Пролетарская закваска живет и в душе Марии — героини первой новеллы «Большуха». Ведь до того как стать медицинской сестрой в санатории «у теплого моря», она «лет десять трубила на одном алтайском заводе, в химцехе». Не потому ли так обостренно чувствует Мария несправедливость, заступается за обиженных, борется с бюрократами и чинушами. И хотя действие первой новеллы происходит вдали от заводской проходной, уже здесь молодой прозаик начинает социологически точное и убедительное исследование семьи Комраковых, их потребностей, интересов, ориентаций.

Три последующие новеллы: «Отгульный день», «Цари-бобы» и «Король червовый», посвященные братьям Марии — Веньке и Борису, младшей сестре, семнадцатилетней Наташе, — продолжают художественный анализ устойчивости внутренней структуры рабочей семьи, особенностей «неформальных» нравственных отношений.

Неспешная обстоятельность и достоверность чувствуются в описании рабочего быта. Но повествование не замыкается в этих рамках. Внимание к будничным мелочам жизни не заслоняет правды характеров.

Завершающая новелла «Корень да комель» об отце и матери большой комраковской семьи композиционно объединяет все части произведения и подчеркивает главную мысль книги о росте общей культуры, политической активности рабочего класса.

Художественную литературу нередко называют «человековедением». Рабочего, который берет в руки книгу о своем классе, интересует прежде всего жизнь «планеты людей». В уже цитировавшейся статье В. Кожевникова приводится письмо мастера одного из московских заводов Николая Васильевича Петрова: «Чему только нас не учат! И новым правилам техники безопасности, и работе с новой техникой. Ладно, спасибо. А вот как работать с человеком, как найти к нему подход, воспитать специалиста — об этом речи нет». Комментируя эти строки, В. Кожевников говорит о необходимости исследования сложных человеческих взаимоотношений усилиями не только литераторов, но и психологов, социологов, экономистов. В социальном заказе мастера Петрова: научить «работать с человеком» — слышится желание читателя извлечь из книг на «рабочую» тему не столько информацию о новой технике, сколько сгусток человеческой мысли, опыта, переживаний.

Многим молодым прозаикам России нужно сделать существенный шаг вперед, чтобы их книги о рабочем классе отвечали требованиям и духу времени, стали талантливым и вдохновенным рассказом о «государственных людях», своим трудом украшающих нашу прекрасную Родину.

■

К 60-ЛЕТИЮ А. Б. ЧАКОВСКОГО

Леонид ХАНБЕКОВ

ОЩУЩАЯ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

Александр Чаковский вступил в литературу как ученый. Больше трех десятков лет назад, перед войной, вышли его книги об Анри Барбюсе, о Мартине Андерсене-Нексе...

Начинал он негромко, но спокойно и основательно. И мало кому в голову могло прийти желание искать в обстоятельных очерках способного литературоведа приметы будущего крупного романиста. Если бы не война, если бы не героическая эпопея города Ленина, может быть, он так бы и ходил в знатоках современной зарубежной классики, которому доверено было возглавить журнал «Иностранная литература». Но сколько советских литераторов, уйдя на фронт спецкорами, затем навсегда отдали себя священной теме народного подвига и непреклонного мужества!

Александр Чаковский мучительно долго вынашивал эту тему в себе. Она лишь краем коснулась его первой «ленинградской трилогии», как дружно окрестила критика книги «Это было в Ленинграде», «Лида», «В мирные дни».

В 1949 году вышла его светлая, полная молодого задора и оптимизма книга о тех, кто по зову сердца поехал осваивать Южный Сахалин. Это был роман «У нас уже утро», удостоенный Государственной премии.

Так и пошло с тех пор: каждая новая книга писателя стала встречать неизменный интерес самых широких кругов читателей.

Так было, когда появился «Год жизни», затем «Свет далекой звезды», «Дороги, которые мы выбираем».

Таков и сейчас интерес читателей к роману А. Чаковского «Блокада».

Что же привлекает в произведениях Александра Чаковского советского читателя?

Видимо, и высокая вера в нашего человека, спо-

собного преодолеть любые жизненные невзгоды и испытания, и неугасимый свет преданной любви к людям, и чувство нравственного долга перед Родиной. И конечно же, они рождают в читателе желание пройти за любимыми героями из края в край по нашей необъятной стране. С летчиком Завьяловым по Заполярью, с героями «Блокады» на Ладогу и в Тихвин, в Волхов и Ленинград. Это оттого, что в романах и повестях Чаковского действуют люди сильные и волевые, смелые и честные, непримиримые к любым проявлениям нравственного эгоизма. Герои писателя открыто привносят в ткань художественного произведения страстную публицистику, чувство историзма и современности.

Когда сегодня перечитываешь книги Александра Чаковского, вышедшие в сороковых годах, видишь, какие это были осторожные, дальние, однако настойчивые подступы к осмыслению неповторимого исторического подвига ленинградцев в романе «Блокада».

Чаковский пишет предельно просто. При желании его «Блокаду» можно назвать романом-хроникой, историческим повествованием, тем более, что в книге действует значительный ряд конкретных исторических лиц, начиная от Сталина, представителей Ставки Верховного Главнокомандования — Жукова, Василевского, до членов ЦК и секретарей крупных горкомов партии, командующих фронтами и армиями.

Думается, заботы о точном определении жанра менее всего волнуют самого писателя. Его душа коммуниста жива заботами века. Потому, не прерывая всепоглощающей работы над «Блокадой», Александр Чаковский выпустил книгу, в которой отразился его опыт полемиста, страстного партийного публициста и умелого аналитика. Его сборник международных политических очерков «Блаженны ли нищие духом?», изданный три года назад «Молодой гвардией», стал настольной книгой комсомольских пропагандистов-международников. С беспощадной точностью анализируется в ней изощренная метода идеологических диверсий, к которой прибегают сегодня наши противники.

...Я не знаю, что сегодня лежит на письменном столе Александра Чаковского. Может, наброски глав нового романа или гранки очередного номера «Литературной газеты», которую писатель уже свыше десяти лет редактирует. В одном уверен: что бы ни делал писатель, принцип не отступать от жизни ни шага остается для него решающим.

В этом залог читательского доверия к его таланту.



РОВЕСНИК ВЕКА

Когда читаешь произведения большого художника, неизменно встает вопрос о том, какая магическая сила двигает талант автора. В конечном итоге такой силой оказывается стремление осуществить замысел, рожденный раздумьями над историей, судьбами Родины и народа, над эпохой. Но работа, например, поэта, видимо, не может не сопровождаться и тем малым, что зовется вдохновением.

Появившееся в 1921 году стихотворение В. Казина «Вешнее вдохновенье» дало повод критикам говорить о созерцательности поэзии автора. И действительно, тогда поэт только начинал присматриваться к окружавшему его миру и видел в нем лишь, как «бегут и брызжут мостовые», как «несутся ветерки сырые, раскидывая голубые крылатые рукава». И хотя «Вешнее вдохновенье» хорошо передавало радостное, восторженное настроение, по которому легко узнавался почерк Василия Казина, настроение, созвучное эпохе первых лет Октября, стихотворение еще ничего не говорило о своем времени.

Был в творчестве В. Казина и другого рода «восторг», сопряженный с требованием истории, выдвинувшей на повестку литературного дня тему труда:

Стучу, стучу я молотком,
Верчу, верчу трубу на ломе, —
И отговаривает гром
И в воздухе, и в каждом доме...
Как громко по трубе капель
Постукивает молоточком,
Какая звончатая трель
Гремит по ведрам и по бочкам!

Эти строки из стихотворения В. Казина «Рабочий май», ставшие хрестоматийными и давшие основание А. В. Луначарскому отнести их автора к «фаланге хороших поэтов», ознаменовали собой начало нового типа поэзии — поэзии социалистического труда. Голос «Рабочего мая» был подхвачен ровесниками поэта — «комсомольскими поэтами» В. Саяновым, М. Светловым, А. Безыменским, А. Ясным и многими другими. «Истинное великое совершенство» приоб-

---

Василий Казин. Избранное. М., «Художественная литература», 1972.

рела тема труда в поэзии В. Маяковского. Стихи Я. Смелякова, Б. Ручьева, Вас. Федорова и более молодых авторов В. Сорокина, А. Балина, В. Богданова ярко запечатлели поэзию труда.

Ученики В. Казина называют его «сам Василий Казин»:

Я в любой работе
безотказен —
Лемех ли, строка...
Понимаешь? Сам Василий
Казин
Верит мне пока.
(А. БАЛИН)

Книга избранных стихов В. Казина позволяет определить тот «пункт» в творчестве поэта, откуда он отправился в свой продолжительный и нелегкий путь в литературе. Такой «пункт» обозначен «Рабочим маем». С него начинается творческая биография поэта.

Лучшие произведения В. Казина о труде являют собой пример воистину современных произведений, в которых и человек труда, и процессы труда сплавлены в единой художественной идее.

Еще в 1924 году поэт выдвинул творческую программу, которой будет следовать все время. Эта программа была рождена литературной жизнью тех лет в противовес лефовской теории «литературы факта», конструктивистской теории «технизации литературного процесса». В. Казин ставил вопрос о роли творческого вдохновения и тем самым выступал против упрощения связи поэзии с жизнью:

Всплеск удивленья, трепет
вдохновенья
Рассудком вылудил железной
хватки век:
Людей по цехам этот век
рассек —
И вместо задушевного волненья
Профессией повеял человек...
И не опомнимся, не взропщем
и не взыщем:
О, неужель для винтиков,
гвоздков,
Которых и глазами-то
не сыщем,
Мы рождены — вот с этим
даром слов,
С лицом, сияющим
сознательным величьем,
И с пышным именем
властителей миров?

В некоторой степени это была полемика поэта и с самим собой, автором «Рабочего мая». Великая тема труда не может звучать камерно, вполголоса. Наиболее остро ощутил В. Казин необходимость создания крупного полотна, способного изобразить народную трудовую стихию в конце 20-х, начале 30-х годов. Он чувствовал, что голос «Рабочего мая» и других его стихов о труде имеет ограниченный диапазон, чтобы не затеряться в могучем хоре гигантских строек первой пятилетки. В поисках нового поворота темы, в раздумьях о бурно развивающейся общественной жизни, породившей небывалый трудовой народный энтузиазм, В. Казин пришел к неизбежному творческому кризису, выход из которого связан с «Беломорской поэмой».

В этой поэме поэту удалось создать запоминающиеся и волнующие картины строительства Беломорско-Балтийского канала. Не могло быть другой интонации при передаче пафоса строительства, кроме патетической, не могло быть иного поэтического приема при включении в поэму процессов труда и производственной техники, кроме поэтической аллегории. А могучая сила труда, идея Октябрьской революции, которые жили в этом труде, защищались и развивались в нем, нашли яркое воплощение в сюжете: на строительстве канала под

воздействием народного начинания постепенно приобщается к труду герой поэмы, хищник и бандит.

И в страхе
всматривались дали,
Как, и с людьми теряя связь,
Вдруг скалы с яростью
взлетали,
На камни замертво
дробясь.
Врывался в скалы
экскаватор,
И, взгромождая
камни скал,
Как старых мастеров
новатор,
Как новой техники
оратор,
Он каждый заступ
заглушал...

Есть у В. Казина еще одна тема, исторически связанная с темой социалистического труда, тема Ленина и России. Новые горизонты раскрывались перед поэтом, когда он обратился к образу В. И. Ленина. Вместе с «Беломорской поэмой» появились стихотворения «Красная площадь», «Октябрьские торжества», «Снимок», в которых автор славит животворящую силу ленинских идей.

Мало кому из поэтов посчастливилось видеть Ильича. В. Казин был даже заснят фотографом стоящим рядом с В. И. Лениным. Этот снимок свято хранит поэт. О нем, об этом снимке, говорится в стихотворении «Снимок»:

На нем — ни одной из
любимых.
Не встретишь ни мать,
ни родню.
Но есть он, чуть выцветший
снимок,
Который я свято храню...
И вздрогну я с чувством
священным,
Как гляну в удачу свою,
Что с ним, с дорогим,
с незабвенным
Я рядом, мальчишка, стою.

Выразительным синтезом взаимосвязи двух тем — темы труда и темы Ленина и России стала поэма «Великий почин», самое талантливое, самое значительное произведение В. Казина, к созданию которого поэт шел почти сорок лет.

В основе поэмы лежит факт исторического значения — первые коммунистические субботники, послужившие поводом для написания статьи В. И. Ленина «Великий почин».

«Героизмом рабочих в тылу» назвал В. И. Ленин первые коммунистические субботники. Именно эту сторону народного начинания подчеркивает поэт, ведя доверительный разговор с друзьями своей юности и с нашим современником. Мужественный рассказ о событиях огромной исторической важности, ставших живым документом революционной эпохи, ведет В. Казин в своей поэме:

Заводы, как немая рать,
Во мраке вспыхивали, глядь,
Не жаром домны —
зажигалкой.
Без хлеба, бедноте под стать,
Республика, Советов мать,
Крепка была — ну, что
скрывать? —
Лишь класса нашего закалкой.

Создание произведений на историческую тему обычно требует от художника предварительного собирания материала, длительного изучения его, вживания в эпоху. Тема первых субботников не потребовала от В. Казина прохождения этого предварительного этапа. Поэт сам был свидетелем эпохи рождения «великого почина», сам был непосредственным участником его (в поэме есть указание на это). Может, именно поэтому столь ярко и последовательно переданы атмосфера субботников, настроение их участников. Указание поэта

на факт, имевший место в его собственной биографии, обеспечило лирическому герою поэмы ту особенность, которую принято считать совпадением личности автора и лирического героя.

Следует отметить, что лирика В. Казина часто автобиографична. Его поэзия — своеобразный лирический дневник, запечатлевший на своих страницах увиденное, пережитое автором в разные годы.

Поэма «Великий почин» — произведение большого социального и политического обобщения. В. Казин поэтически обосновывает закономерность пробуждения беспримерного энтузиазма советского народа. «Товарищи! — звала строка, — враг рвется к Волге» — так входит в поэму тема партии и Ленина. И она занимает центральное место. Сцена субботника в Кремле создает целую панораму великой борьбы народа, и в центре этой борьбы Россия и Ленин:

...Всем гением, во всем объеме,
Россия в Ленине, в борце,
В учителе, в предсовнаркоме,
В характере его, в лице,
Горела на крутом подъеме,
Как вдохновение в творце.

Конечно, обращение к образу Ильича — сложная и ответственная миссия любого художника. После поэмы В. Маяковского В. Казину нелегко было осуществлять свой, пронесенный через десятилетия творческого пути замысел — создать монументальное произведение о В. И. Ленине. И все-таки поэту удалось найти новые краски для портрета вождя, найти свежее поэтическое слово, что и позволяет ставить «Великий почин» в ряд лучших историко-литературных произведений наших дней.

В августе этого года исполняется семьдесят пять лет со дня рождения поэта и пятьдесят пять лет его работы в советской литературе. В. Казин много лет трудится над поэмой о городе, где родился и писал, о Москве. Старейший поэт не может не размышлять сейчас о новом поколении советских людей, о современной молодежи. Делясь своими творческими планами с читателями «Вечерней Москвы», он сказал: «В 1918 году я работал секретарем Бауманского райкома комсомола. Прошло много лет с той поры, а я до сих пор считаю себя «мобилизованным и призванным» в комсомол. Название цикла стихов, над которым я сейчас работаю, — «На комсомольском пленуме» — это и воспоминания о комсомольской юности, и раздумья о нынешнем поколении молодежи, продолжающем дело отцов».

Поэт готовит к изданию и книгу стихов о любви. Лирику «по самой строчечной сути» В. Казину принадлежит ряд широко известных стихов о любви. Это чувство, вдохновляющее на труд, поддерживающее в тяжкую минуту, чистое и благородное, он пронес через всю свою жизнь.

Новое издание стихов В. Казина заслуживает особого внимания, потому что оно появилось ровно через пятьдесят лет после выхода в свет первой книги поэта «Рабочий май». Во-вторых, это самое полное издание произведений ровесника нашего века. По сравнению с предшествующими сборниками В. Казина оно дает представление не только о лучших стихах поэта, но и об этапах его работы над тем или другим стихотворным циклом. Впервые с конца 20-х годов, когда вышло пятое издание «Рабочего мая»,

эта книга включена в «Избранное» целиком. Стал достоянием современного читателя ряд стихов, опубликованных лишь в периодике 20—30-х годов: «Ленин», «Еще и юности наливом», «Книгам», «Счастье», «Песня ветра» и другие.

Во многом, правда, выиграл бы сборник, если бы в него были включены эпиграммы В. Казина, стихотворения «Идем!», «Ответ Петру Орешину» и некоторые другие, раскрывающие облик поэта с новой стороны.

Стихи последних лет — свидетельство непрекращающихся поисков В. Казина, сохранившегося творческого вдохновения и оптимизма, неизменной бодрости духа и молодости чувств, без которых не может быть подлинного успеха.

Уж на все я
Смотрю всерьез.
Все вот реже он, шутки возглас.
Я серьезностью пообброс,
Завершая зрелости возраст.
Но в серьезности
Так люблю
Мысль в те детские санки
Впрячь я,
На которых, как во хмелю,
Пролетела пора ребячья.

(«ГОЛУБИ»)

Это было сказано почти двадцать лет назад. И сейчас В. Казин полон творческой энергии, его голос продолжает звучать твердо, уверенно и молодо.

Л. ПОЛЯКОВА

ЗАЧЕМ ЖЕРЕБЕНКУ КОЛЕСИКИ?

Сказка — ложь, да в ней намек...
А. Пушкин

Говорят: скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты... А что читают дети? Или даже точнее — что читают детям? На память приходят мудрые сказки народов мира, изумительные сказки Пушкина, братьев Гримм, Перро, Гауфа, Андерсена... И вспоминается пушкинское: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!..» Слушая сказки Арины Родионовны, «проникался он духом родного языка» — по словам Чернышевского. «Лично я должен признать, что на мой интеллектуальный рост сказки действовали вполне положительно, когда я слушал их из уст моей бабушки и деревенских сказочников...» — признавался Горький.

И не случайно к «свежим вымыслам народным» обращались почти все русские писатели, оставляя детям мудрые сказки русского народа, изложенные «гибким звонким языком», как бы в благодарность за то счастье, которое когда-то, в детстве, подарили им самим эти сказки. Огромную заслугу Пушкина перед народом Горький, например, видел в том, что Пушкин «украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу...».

Все меньше и меньше остается у детей таких бабушек. Сказка-книжка стала для миллионов малышей своеобразной Ариной Родионовной. Сказок выходит в нашей стране много. Но ребенок требует все новых. И писатели пишут, дети читают, и не только читают, но перечитывают, запоминают наизусть. Сказки входят в детское сознание, в открытую, доверчивую душу ребенка, формируют детский духовный мир. И только ли детский?.. Академик Павлов, например, утверждал, что нравственные, духовные основы будущей личности едва ли не вполне формируются в раннем детском возрасте. Затем они лишь наполняются все новым содержанием, корректируются, уточняются, но уже на этой «детской» основе. Вывод, подтверждаемый многими выдающимися учеными.

Нет необходимости доказывать, какую великую роль в воспитании играет слово. Слово родителей, первых книжек. Слово сказки. Попробуем перечитать хотя бы несколько сказок современных авторов. Из тех, книжки которых встретишь в любом доме, где есть малыш. Ну вот хотя бы из этой стопки, аккуратно сложенной на детской полке рядом с самой любимой куклой.

Стопка немалая, всю ее перелистать и оценить мы враз не сможем. Но вот какие-то страницы начинают казаться неожиданными, случайными здесь.

Героиня сказки Б. Заходера «Серая звездочка» («Сказки». М., «Детская литература», 1970) — жаба. Что ж, мало ли чего не бывает в сказках. Естественно, жаба была «неуклюжая», «некрасивая», и, конечно же, вся в огромных безобразных бородавках. Может быть, это какая-нибудь заколдованная злым волшебником красавица, вроде Царевны Лягушки? Нет, это самая обычная жаба. За какие же заслуги становится она героиней не специальной статьи или книги о животных, а именно детской сказки? Жаба — «добрая, хорошая, полезная», объясняет автор. Но однажды в сад пришел Мальчик и «закричал очень глупым голосом: «У-у-у, какая противная! Бей жабу!»

«С тех пор, — повествуется далее, — все жабы приходят в сад и делают свое Полезное Дело только по ночам...»

Сказку эту якобы рассказывает старый Еж маленькому Ежонку и, закончив, говорит: «...Ведь мы с тобой тоже полезные и должны делать свое Полезное Дело по ночам...»

Безобразное в сказке никогда не было носителем добра. Добро, по внутренней логике подлинной сказки, всегда связано с красотой. И Царевна Лягушка, и Чудище из «Аленького цветочка», и андерсеновский Гадкий Утенок не безобразны, они только одеты в безобразное. Сказка и есть всегда победа добра над злом и вместе с тем красоты над безобразием.

Да и не о Добре вовсе — понятии, кстати, прежде всего нравственном — идет речь в сказке Заходера, а о Пользе — понятии прагматическом...

Если бы маленькому Ежонку пришло в голову спросить: «А прекрасны ли розы?» (хотя о прекрасном в сказке нет и речи), — по той же логике старый Еж должен был бы ответить: «А как же! Ведь они тоже полезны: из них делают розовое масло...»

Обратимся к другим сказкам того же автора.

Гусеница из сказки «История гусеницы», как и Жаба, понятно, красотою не блещет. И даже довольна этим: «Меня никто не может съесть! Я волосатая и очень противная на вкус...» Безобразное полезно — такова логика и этой сказки. Единственное занятие Гусеницы — поедание крапивы. Это возмущает других: «Где, спрашиваю я, где у этой Гусеницы высшие духовные интересы?»

И дело даже не в том, что подобные «сказочные» обороты вряд ли предназначены детскому восприятию. Настораживает то, что возмущается не какая-нибудь Старая Мудрая Улитка, например, а... Лесной Клоп, у которого, естественно, этих самых «высших интересов» явно не предполагается. И в его, так сказать, устах вся фраза приобретает обратный смысл. Так и есть. Клоп остался Клопом, а Гусеница превратилась в Красивую Бабочку... Вот вам и «логика поедания» — поедать полезно, в этом есть «высший духовный интерес», только Клопам его, конечно же, не уразуметь... Мало того, если в «Серой звездочке» безобразное подменяет собой прекрасное, то здесь безобразное является основой красоты. Эстетика «безобразной полезности» в смысле «высших духовных интересов» — вот что преподносится детям в форме «познавательной сказочки»...

В «правоучительной» сказке «Почему рыбы молчат» (того же автора) Судак разболтал человеку рыбьи тайны. Рыбам житья не стало. Собрались они на совет и постановили: «...Впредь будем язык за зубами держать, чтобы ни люди, ни птицы, ни звери больше никаких наших рыбьих хитростей не узнали... С тех-то пор, — повествует сказка, — все рыбы... говорят только между собой. И то — тихо-тихо...»

Может быть, и не бросилась бы в глаза эта сказка, да уж больно близка она к «ночной философии» «Серой звездочки» — затаиться, уйти в скорлупу, ну хотя бы как рак-отшельник из сказки этого же автора «Отшельник и Роза», которого тоже все обижают. Вокруг одни враги, а друзья далеко, «за семью морями построили алый город», да не добраться туда раку — вот и живет он в своей скорлупе...

В мир сказки все более вторгается мир техники... Что ж, «Городок в табакерке» В. Одоевского написан в первой половине XIX века. А в наши дни удивляться этому тем более не приходится. Важно, как соприкасаются эти миры, нарушается ли логика сказки с ее особой, сказочной правдой жизни.

В сказке Г. Балла «Как мы ехали в город Егорьевск» («Как катер научился плавать», М., «Детская литература», 1972) Поезд показывает Мальчику природу, учит ее понимать, любить. «Ветер влетал в окошки», и Мальчик «слышал голоса птиц... Фьють-фьюить-фью, — подсвистывал птицам Поезд...»

Особая, «сказочная логика» подмены живого птичьего «фьюить» паровозным станет, пожалуй, яснее, если мы познакомимся со сказкой того же автора «Гнедок».

Жеребенок гулял по зеленому лугу и случайно забежал в город. Можно представить, сколько радости для городских ребятишек: кто же из них не мечтает о живом жеребенке! Но фантазия автора поистине «неисповедима». Оказывается,

никому в городе жеребенок не нужен, потому что здесь все на колесах... Попросился он почту хотя бы перевозить, да Машина говорит ему: «Ты очень медленно бегаешь...» («Ты не полезен», — как сказал бы старый Еж из сказки Заходера...) «О, если бы... у меня были колеса!» — мечтает жеребенок. И Мастер приделал Гнедку колеса и кузов, даже дырочку для хвостика не забыл оставить. И получилась, рассказывает сказка, «рыжая машина с хвостиком»... «То-то радости было у ребятишек», — заключает автор.

Да, фантазия богатая... на уровне современной техники. Куда уж там бедным тихоходным Конькам-Горбункам да разным бесколесным, а стало быть, бесполезным Сивкам-Буркам — вещим кауркам...

Мне вспоминается старая, добрая сказка «Соловей», в которой заводная игрушка чуть было не заменила живого певца... И подумалось: попади Соловей к Мастеру Г. Балла, тот бы ему вставил вместо живого сердца мощный динамик или ультрасовременный транзистор... Может, и он был бы полезен в «сказочном» городе нашего автора.

«Рыжая машина с хвостиком»... Живое не только подменяется машиной в «сказочном мире» Балла, но превращается в машину. И этот процесс преподносится дошкольнику как нечто такое, что должно его восхищать и умилять... В том же издательстве «Детская литература» выходит немало книг, возражающих подобной эстетике роботов. Но все-таки...

В маленькой аннотации к сказке С. Могилевской «Про молодцов-удальцов и столетнего деда» (М., «Детская литература», 1970) говорится, что сказка рассказывает о молодых строителях Сибири. Сказка написана для дошкольников. Желание автора познакомить малышей с историей нашей страны понятно. Но одно дело язык фактов, иное — язык сказки, сказочная условность.

«Жил был дед... в дремучей тайге, — рассказывает сказка. — Построил себе избушку из бревен, накопил в земле богатства несметные». Кто же этот дед? Какой-нибудь Кащей Бессмертный или Заморское Идолище поганое? Нет, это Хозяин Тайги. «Жил он здесь сто лет, да еще сто лет, да еще сколько, никому не ведомо... А как пойдет дед шагать по тайге, одним махом все макушки кедровые перешагивает...» Прямо богатырь из русских былин, вроде Святогора или Ильи Муромца, с которым он и бородой схож и характером — спал богатырским сном, пока не пришли враги из далеких земель...

Пришли и к деду в тайгу «молодцы-удальцы», прибыли сюда из «далеких мест». И стали прогонять «хозяина земли здешней, чтобы строить здесь города», «налаживать свое хозяйство», к его «золоту да алмазам» подбираться...

И чтобы объяснить малышам, что дед — это не богатырь русский, а «трудности, с которыми встретились молодые строители», как говорится в аннотации, и «молодцы-удальцы» не разбойнички, а комсомольцы, и что пришли они не из сказочных «дальних мест», чтобы выгнать «хозяина земли здешней» и завладеть его землей и алмазами, а... и т. д. и т. п. — чтобы объяснить все это детям на языке им доступном, нужно разрушить логику сказки

С. Могилевской. Сказочки тогда и не остается вовсе...

Впрочем, в некоторых современных сказках и не то бывает. Если мы прочитаем еще и повесть-сказку Р. Амусиной «Волшебные бутылки» (Л., «Детская литература», 1971), то, пожалуй, не станем удивляться непочтительному отношению «молодцов» к «столетнему деду», а поймем, что на языке подобных сказок это называется «способом множить добро в мире» (!).

Сказка начинается почти «символически»: «Подчиняясь **общему ритму**, два **лучших представителя** шестого «А» мчались по тротуарам почти со скоростью звука...»

Что же это за «сказочный» ритм? Оказывается, «лучшие представители» летят в магазин доставать шапки-невидимки. «Весь город» и даже «весь мир» подчинен этому «ритму доставания». Пробегая площадь **Романтиков**, на которой **«продавали** лотерейные билеты» на... космический корабль, «лучшие представители» думают: «Эх, счастливчики, **везет же** некоторым. **За тридцать копеек** вокруг земного шара облетят!» Они бы тоже не прочь стать романтиками за тридцать копеек, но у них более возвышенные цели, ведь они «лучшие представители». «Только бы **«добыть** эту самую штуковину», — бормотали они»... А «штуковина» нужна для еще более высоких целей: «Ребята из шестого «Б» один за другим, прямо по алфавиту **от зависти лопнут...»** Цель, как известно, оправдывает средства — вот «лучшие представители» и толкают по пути старушку (думаете, хоть извинились? Только удивились: «Вот это да, спортивная бабуся!»). В магазин они влетают с воинственным кличем: «Вперед, на абордаж!» Тимка «прокладывал дорогу стилем брасс. Наташе «приходилось работать головой и локтями»...

Впрочем, это еще присказка, «сказка будет впереди»...

Ту шапочку, от которой «могли лопнуть от зависти», «мигом **расхватали»**, как объясняет продавец... Но ведь это были «лучшие представители»! Правдами и неправдами им удалось выклянчить чужую шапочку «модели сто восемьдесят семь-бис телеэлектронной лаборатории Научно-исследовательского института психологии...» Тимка действительно «лучший представитель» того мира, девиз которого: «хочешь жить, умей вертеться»... Он **«достает»** «Звездно-земляничный напиток» («попробуйте найти именно этот, а не какой-нибудь другой...») и совершает множество других подлинно сказочных дел... А уж когда он сделался **обладателем** шапки-невидимки, то его просто стала обуревать жажда «добрых дел». «Жила, например, в их зоне пионерского действия» девяностодвухлетняя старушка. Она «страдала религиозными предрассудками». Тимка при помощи своей шапочки обманом проникает в дом старушки, морочит ей голову, вернее, просто издевается над ней.

Пока Тимка «перевоспитывает» старушку, за ним наблюдают из специальной лаборатории. Лаборантка удивляется: **«Тактично** ли, что мальчик так **вольно** и... **бесцеремонно разыгрывает** бабушку? Почему же на экране не фиксируется отрицательно поступок?»

Но Конструктор ее успокаивает: «У нашей шапочки есть **своя** логика, которая вытекает **только** из разумного и спра-

ведливого». Стало быть, для Конструктора неважно, нравственно ли, безнравственно ли поступает человек.

Шапочка воспитывает и самого Тимку. Он, наконец, дошел до такой степени совершенства, что решил вернуть деньги за бесплатный проезд в поезде... А когда узнает, что теперь ездят уже бесплатно, покупает на эти деньги чижика и выпускает его из клетки! И это окончательно убедило Конструктора:

«Шапочка нас не подвела! Она служила только добрым делам, и она воспитывает человека...»

Сказка заканчивается гимном электронно-экспериментальной нравственности: «Шапочка способна самоусовершенствоваться. Значит, она и дальше будет придумывать все новые и новые способы множить добро в мире!..» Что касается самих «способов», то о них мы уже говорили. А вот Конструктора придется огорчить. Еще во времена шапок-невидимок, вроде той, что Людмила нашла в замке Черномора, выпускать птиц из клетки каждую весну было в традициях народа, а не высшим проявлением совершенства «лучших представителей»... Но это так, к слову.

Внутренняя логика жанра сказки непосредственно вытекает из ее особого мироощущения. Ломка внутренней логики сказки небезобидна. «Правда жизни», заключенная в изломанный, вывернутый наизнанку «сказочный» мир, оборачивается ложью.

Мир подлинной сказки формирует в открытой, доверчивой душе ребенка основы светлого, доверительного и, главное, цельного мировосприятия.

Дети не выбирают книги. Детям книги выбирают взрослые. И ребенок должен получать лучшее из того, что создано человеческим гением. Не случайно же только подлинно великие книги прошлого перешли в разряд «детской» литературы: «Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера», «Гаргантюа и Пантагрюэль» и т. п. Потому что, как прекрасно сказал Пришвин, «каждый великий поэт вершиной своего творчества соприкасается с душевным миром детей».

Ю. СЕЛЕЗНЕВ

РАДОСТЬ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

По разному входят в литературу. Одни шумно и эффектно, сразу обращая на себя внимание, другие исподволь готовятся к дебюту и выходят к читателю с речью зрелой и своеобразной.

Амир Гази — поэт со своим восприятием мира, со своей, как говорил Белинский, «манерой понимать вещи». Поэтическое слово А. Гази отмечено печатью той непреднамеренной естественности, за

А. Гази, Дерево на вершине. Перевод с даргинского Л. Дубаева. М., «Современник», 1972.

которой угадываешь истинность таланта, чувствуешь дыхание поэтической воли, радость всегда оставаться самим собой.

Это слово при всех издержках поэтического темперамента А. Гази весомо, ибо за ним — достоверность переживания, жизнь сердца, прошедшего через горе, познавшего разлуку и потери. В том, что это не трескучая, ради вящего эффекта сказанная фраза, вас убедит почти каждое стихотворение Гази:

Дай же мне на тебя
наглядеться,
Постаревшая сакля моя!
Я пришел повидаться
с детством
В эти милые сердцу края.
У порога мне не с кем
обняться,
Шапку мну, прижимая к себе...
Только дикие птицы гнездятся
В покосившейся черной
трубе.

Внимательный читатель заметит особую приверженность поэта к одному слову — «память». «Меня уводит память сквозь года...», «Меня в те годы снова память гонит...», «И в памяти еще стоит как тень военное издерганное детство». Еще одно слово — «война» — негасимым сигналом вспыхивает в стихах А. Гази. Памятью сердца помнит он те далекие годы, когда мама связала для брата носки, которые он так и не успел надеть, сраженный вражеской пулей. Вспоминая свое детство, озаренное пожаром войны, А. Гази точен и предельно искренен в фиксации своих ощущений, далеких от легковесной пафосности, словесной патетики. Душа поэта, если переиначить известные строки, навечно уязвлена неутихающей болью потерь, и сегодня, когда война позади, эта боль все еще дает о себе знать. Вот старуха из одноименного стихотворения, которая до сих пор не расстается с надеждой увидеть не вернувшихся с войны сыновей и на устах которой только один вопрос: «Сынок, неужели до сих пор не кончилась война?»

Продолжая наблюдения над поэзией А. Гази, отметим настойчиво звучащий в ней мотив возвращения к родным пределам. Несколько лет — служба во флоте, учеба в Литинституте — А. Гази прожил вне Дагестана, но звезда родины всегда светила над ним.

В худом кармане,
Как мечту,
Среди засохших крошек хлеба
Ношу я чистую звезду,
Упавшую с родного неба.

В обращениях к родине А. Гази то взволнованно-патетичен, тяготея к ударной интонации, то, и это характернее для него, избегая клятвенных заверений, проникновенно-лиричен, умея сообщить стихотворению максимальную емкость, ограничиться «беспредельностью лишь немногих насущных слов». Таково стихотворение о березках: «Я каждую из вас хочу обнять и ласково назвать горянкой».

Говоря об «особливости» дарования А. Гази, надо указать прежде всего на пристрастие поэта к форме балладного, остросюжетного стиха. Поэт обнаруживает вкус к ситуациям конфликтным, подчеркнуто драматическим, о чем свидетельствуют баллады о блудном сыне и орле. Интерес к подобной форме организации стиха привел А. Гази к созданию поэм. Их в книге две, и выполнены они в различном стилевом ключе. Если общую

тональность «Судьбы Чанкура» определяет интонация преимущественно эпического письма, то «Хлеб» — поэма лирическая, выдержанная в манере обнаженно-эмоциональной. В первой поэме, напоминающей сюжет известного фильма «Белая птица с черной отметиной», перед нами жизненная трагедия старого горца Чанкура, один из сыновей которого оказался предателем в годы войны. Эта поэма кажется мне более удачной, чем поэма «Хлеб», художественную выразительность которой снизил налет общей пафосности. И в «Судьбе Чанкура» мы иногда сталкиваемся с явлением неуправляемого слова, с забвением золотого правила «поэтической экономии», но главное в другом — А. Гази удалось уловить и воссоздать трагизм судьбы Чанкура в войне, безжалостно ломавшей людские судьбы. Великолепен сквозной образ поэмы — три тополя, посаженные в дни рождения сыновей. Выразительна в своем поистине символическом звучании сцена расправы Чанкура с одним из тополей:

И над простертым на земле,
Как над своим несчастным братом,
Два тополя шептались рядом
О совершившемся суде.

Поэма А. Гази «Судьба Чанкура», безусловно, явление знаменательное в современной дагестанской поэзии. И вот почему, на мой взгляд. Современная дагестанская поэма развивается исключительно в русле поэмы лирической, часто представляющей развернутое стихотворение. Я не хочу сказать, что поэма А. Гази на голову выше всего созданного у нас в этом жанре, я хочу только отметить как отрадный факт попытку, и попытку успешную, как-то возродить традицию поэмы эпической, использовать ее богатейшие возможности.

Наш разбор книги А. Гази — разбор критический, а критика, как известно, не обходится без того, чтобы не отметить недостатки поэта, если они имеются. Да и как пройти мимо стихов автора, отмеченных печатью безликости, таких, например, как «Кинжал», «Кто мог горянкам нежность дать такую...», «Вспомнится, как встречу земляка...». А. Гази, по-моему, здесь отступает от самого себя, оказавшись в плену привычных, давно апробированных другими поэтических ходов, облегченных образных решений.

Теперь об уровне поэтического перевода. Лев Дубаев во многих стихах добился, как писал Пастернак, «настоящей близости к тексту», а перевод «Судьбы Чанкура» я считаю просто отличным. Но его работа далеко не безупречна. Зная даргинский язык, легко уловить в переводах Дубаева некоторое своеволие, нотки, чуждые А. Гази. Меня, например, не удовлетворил перевод стихотворения «На утренней глади озерной...» своей знакомой приевшейся романсовой интонацией: «и черные весла печали опустишь ты в сердце мое». Претенциозными кажутся строки: «и даже ноготки на пальцах пели, как на весенних ветках соловьи». А вот совершенная бессмыслица: «сердце по тропам (!) бежит сквозь (!) время». Подчас переводчик грешит против норм русского языка: «споткнувшись о сугроб», «далекий то-

пот... как будто по душе скакал».

Я подробно останавливаюсь на этом потому, что многие дагестанские поэты — и молодые, и уже опытные — не совсем требовательны к своим переводчикам.

Издательская аннотация к сборнику Гази заканчивается словами: «Стихи Амира Гази могут вполне дерзать на благосклонное внимание читателя». И здесь нет преувеличения — стихи А. Гази действительно заслуживают интереса.

Казбек СУЛТАНОВ

ТИПЫ И ЛИКИ НИГИЛИЗМА

С легкой руки Мопассана творцом слова «нигилизм» привыкли считать Тургенова. На самом деле оно употреблялось в России и раньше. Белинский, например, звал нигилистом бездарного литератора Прутикова, а Надеждин... Пушкина. Очень разный смысл вкладывался в это определение! И чем ближе к нам по времени, тем все более усложненный и даже запутанный смысл приобретало слово. Проникнуть в сущность этого понятия, рассмотреть обстоятельно историю русского нигилизма поставил своей целью А. И. Новиков в книге «Нигилизм и нигилисты». Она обращена к современнику и потому интересна не только историку и философу, социологу и литературоведу. Хотя сама жизнь настойчиво стучалась в двери философской науки, требуя книги о нигилизме, такого специального труда до сих пор не было. Книга Новикова — первый ответ на общественный «заказ» времени. Парадокс: русский нигилизм до сего дня исследован менее западного, а западные нигилисты считают своими духовными учителями наших. И Новиков раскрывает в книге содержание этого парадокса.

В книге собран огромный фактический материал. Автора, набравшего в путь столько историографического и библиографического багажа, подстерегала серьезная опасность: его труд мог превратиться в груду фактов, имен и названий. С книгой А. И. Новикова этого не случилось. Автор сумел сцементировать ее прочным идейно-композиционным стержнем, который обусловлен марксистско-ленинской методологической основой деления нигилизма на революционный и анархо-индивидуалистический. Отсюда четкое распределение трех первых глав книги: «Методологические проблемы изучения нигилизма», «Русский революционный нигилизм», «Анархо - индивидуалистический нигилизм в России конца XIX — начала XX века, его теоретические и социальные основы». О четвертой, заключительной, главе придется

А. И. Новиков, Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. Л., Лениздат, 1972.

поговорить особо. Чтобы четче представлять себе, о чем, собственно, идет речь в книге, надо, видимо, кратко охарактеризовать каждую из глав.

Во второй, например, обстоятельно рассматриваются основные черты русского революционного нигилизма. Выясняется не только социальная, но и психологическая основа общественного движения шестидесятников. «Без учета социальной психологии, — справедливо утверждает А. И. Новиков, — невозможна целостная характеристика определенных периодов истории мысли». Немало страниц уделяется философским и эстетическим взглядам Писарева. Казалось бы, о вожде русских революционных нигилистов сказано уже столько, что и добавить нечего. Однако, освещенная лучом социально-психологического «прожектора», колоритная фигура Писарева предстала перед нами интересной по-новому.

А. И. Новиков отнюдь не сводит разговор о нигилистах-шестидесятниках только к Писареву, как это делают некоторые авторы статей, исследующие эпоху. Он обстоятельно говорит и о Н. Соколове, о В. Зайцеве, о М. Бакунине, о Е. Нечаеве, тем самым рассматривая движение, так сказать, и вглубь и вширь. Не замалчиваются — напротив, объясняются — некоторые издержки учения Писарева, исследуются причины ошибок во взглядах М. Бакунина, вскрывается суть нечаевщины. Не забыта автором и антинигилистическая литература, философская и художественная.

В третьей главе не менее широко и обстоятельно рассматривается анархо-индивидуалистический нигилизм. Автор книги проводит идею о влиянии Ницше на русских реакционных философов — от К. Леонтьева до Мережковского. Вместе с тем А. И. Новиков разрушает «хитроумные» конструкции современных зарубежных «марксологов», ставящих своею целью доказать присутствие внутренних связей между «ранним русским марксизмом» и ницшеанским нигилизмом.

В книге прослежена эволюция «интеллигентского» нигилизма — от заигрывания с марксизмом до откровенно охранительных установок. Что касается В. Розанова, то его попытки нигилистически «опровергать» революцию под флагом борьбы с нигилизмом нашли за рубежом свое продолжение в послереволюционные годы в выступлениях различных эмигрантов, критике положений которых А. И. Новиков уделяет должное внимание. И это злободневно: ведь попытки подобного рода предпринимаются и ныне некоторыми зарубежными «советологами», обвиняющими коммунистов в нигилистическом неприятии свободы личности.

Как видим, книга А. И. Новикова имеет не только познавательную ценность. Ее автор ставит и пытается решать проблемы, актуальные для сегодняшнего дня и с позиций сегодняшнего дня. Он сам заявляет об этом и в начале книги, и в последней главе, где прямо говорится: «Победа социалистической революции в России выявила в проблеме нигилизма совершенно новые грани».

Поэтому-то история русского нигилизма интересна для А. И. Новикова не только сама по себе: глубокие экскурсы в

историю общественной мысли понадобились ему в первую очередь для того, чтобы попытаться понять и объяснить современный зарубежный нигилизм, его корни. Этим проблемам как раз и посвящена заключительная глава книги — «Нигилизм как явление социальной и духовной жизни современного буржуазного общества».

Позволим себе полностью привести оценку А. И. Новиковым современного западного нигилизма: «Опыт истории российского нигилизма важен и для предвидения тенденций в развитии нигилистических идей и настроений современных «левых» в буржуазном мире, их неизбежной дифференциации. Этот опыт позволяет предвидеть неизбежность значительного расхождения, вплоть до поляризации, как самих идей нигилизма, так и в особенности судеб его носителей. Часть нигилистов переходит на позиции осмысленного и сознательного протеста против буржуазного строя, понимания необходимости совместной борьбы интеллигенции и рабочего класса за свое социальное освобождение. Другая часть закрепляется на позициях нигилизма, отрицания всех организованных форм борьбы и вообще всякой рациональной организации в обществе».

Итак, в рассуждениях А. И. Новикова налицо две основные посылки. Первая — современный западный нигилизм внутренне связан с русским, и не только с анархо-индивидуалистическим, но и с революционным. Вторая — он в настоящий исторический момент находится накануне размежевания. В дальнейшем исследовании А. И. Новиков исходит из этих двух положений, по его мнению, неразрывно между собою связанных.

Попробуем разобраться в этом конгломерате «людей, и дел, и мнений», как выразился некогда герой Грибоедова. Что касается «людей», то есть судеб отдельных нигилистов, то тут с автором книги согласиться можно. Хотелось бы только добавить, что часть из них — молодых по возрасту,— по-видимому, со временем примкнет к своим отцам и старшим братьям, которых сегодня третируют как конформистов (ниже, впрочем, и сам автор об этом упоминает). Что же касается тех, для кого и в будущем конформизм останется неприемлемым, то и их пути размежевания так же верно обозначены в книге. Тут уж среднего быть не может: или уйти в «чистый нигилизм» (используем выражение, часто употребляемое А. И. Новиковым), или примкнуть к движению рабочих и передовых интеллигентов, организуемых коммунистами.

Все, казалось бы, верно в ходе рассуждений исследователя. Но закономерно встает следующий вопрос: какое же отношение имеет ко всем этим явлениям русский революционный нигилизм? Мы, чтя память Писарева и лучших его последователей, в то же время отчетливо видим историческую ограниченность их движения и его неприемлемость для современного этапа борьбы с капитализмом. Видят это и зарубежные коммунисты. В книге же А. И. Новикова (отметим, кстати, что некоторая недосказанность в оценке положений присуща ей) речь, судя по всему, идет о современном западном нигилизме в целом, а не об отдельных его представителях,

которые в будущем могут влиться в ряды рабочего движения и — добавим — которых сейчас едва ли возможно четко выделить среди их «товарищей по оружию». Но есть ли основания хоть как-то сближать современных «левых» с русским революционным нигилизмом? Мнения по этому поводу самих «бунтарей» (тем паче битников, хиппи или гаммельнов) приниматься на веру, естественно, не могут. В их головах такой же сумбур, как и в их комнатах, где рядом помещаются портреты Писарева, Примо де Ривера и Мао Цзэ-дуна.

А. И. Новиков и сам признается: «Однако то, что весьма условно можно назвать современным революционным нигилизмом, не является главной и тем более самой распространенной формой практического нигилизма». Но, несмотря на такое признание, он в ряде случаев противоречит ему и проводит аналогии: «Российские реакционеры и дворянско-буржуазные либералы именовали все формы революционного движения, в том числе общедемократические по своей природе студенческие выступления в Петербургском и Московском университетах нигилизмом. Аналогично реагирует и современная американская буржуазия... Эта защита (университета в Беркли. — Г. А.) от «бунтовщиков» и «нигилистов» продиктована, как и сто лет тому назад в России, не заботой о развитии культуры, а своекорыстными интересами...» и т. д.

Сближение А. И. Новиковым в заключительной главе современных западных нигилистов с русскими последователями Писарева невольно принуждает по-иному прочесть некоторые, принципиально важные определения предыдущих глав, известная смысловая неопределенность которых поначалу могла быть объяснена общей нелюбовью автора к конкретизации положений.

Так, в первой главе А. И. Новиков хочет определить общие черты нигилизма, принадлежащие всем его историческим формам. Ими, по мнению исследователя, являются следующие: 1) гипертрофированное сомнение и отрицание различных духовных и социальных феноменов; 2) абсолютизация субъективного (точнее, индивидуального) начала, непризнание объективных закономерностей истории, коллективных интересов социальных общностей людей; 3) использование в борьбе против устаревших форм наихудших способов действия, что влекло за собой аморализм, граничащий с преступностью, отрицание общечеловеческих норм поведения; 4) транзитивность всех нигилистических форм сознания, то есть переходный их характер в самом полном смысле этого слова.

А. И. Новиков предваряет перечисленные определения утверждением: «Существенные, подчас принципиальные различия между историческими формами нигилизма, выраженные в предикате, определении, не отменяют черт хотя бы отдаленной общности». Но предложенные исследователем определения говорят, во-первых, об общности отнюдь не отдаленной и, во-вторых, в главном снимают авторскую оговорку о принципиальных различиях между историческими формами нигилизма. Тем самым не только подкапывается глухая стена,

разделяющая «два нигилизма» (В. Воровский), но выдвигается на первый план утверждение общности меж ними. А это противоречит основному содержанию книги, автор которой, как отмечалось, ставит своей целью следовать ленинской концепции в определении двух типов нигилизма

Жаль, что А. И. Новиков не развил нащупанного им в ходе исследования положения еще об одном принципиальном различии между революционными нигилистами и анархо — индивидуалистами. Имеется в виду проблема отношения их к культурным ценностям. Первые, хотя порой и недооценивали некоторые из традиций национальной культуры, по сути дела, развивали их самые демократические черты. Вторые же были принципиально враждебны культуре своего народа. Сама эта проблема двоякого отношения к культурным ценностям занимает в книге важное место. Но вот в решении ее далеко не все удалось автору.

Излишне прямолинейными кажутся проводимые им линии сближения между явлениями разного плана — социального, философского, эстетического. Вот, скажем, он пишет: «Как бы ни были различны определения, например, реализма, всем его формам присуще нечто общее. Примерно так же (?!) обстоит дело с нигилизмом». Или называет «практическими нигилистами» ...членов черносотенных союзов. Исторические параллели часто у А. И. Новикова кажутся очень натянутыми: «От псевдореволюционеров-нигилистов до преступников один шаг... История уже знала нечаевское дело. Она знала и молодых национал-социалистов штурмовиков в 30-х годах нашего века в Германии...» Комментарии здесь, как говорится, излишни.

Во-вторых, А. И. Новиков неоправданно мягко относится к некоторым антикультурным в основе своей тенденциям, имевшим место у нас в 20-е годы: «Было бы нарушением исторической правды видеть «злой умысел» во всех проявлениях отрицательного отношения к старой культуре и ее ценностям в первые годы революции. Видимо, следует отделять вполне естественную реакцию широких масс на элитарность... многих форм жизни буржуазно-помещичьего строя от концепции теоретиков «чистой» пролетарской культуры». Отделять, конечно, следует. Но мы помним, в какое русло «естественную реакцию широких масс» старались направить «неистовые ревнители», о чем поведал в своем исследовании один из современных нам литературоведов, С. И. Шешуков.

Не будем детально останавливаться на других недоработках книги, среди которых и необязательные повторы, и нередкое «буксование» мысли, и частая неопределенность выражения, и дробность определений вроде «чистый нигилизм», «действительный нигилизм», практический нигилизм» и т. д. Все эти недостатки во многом объясняются сложностью поставленных вопросов, перенасыщенностью книги фактическим материалом, а также тем обстоятельством, что А. И. Новиков, отойдя в своем исследовании от распространенной среди наших философов узколокальной концепции нигилизма, впадает в другую край-

ность, ошибочно относя к нигилизму многие явления общественной, научной, литературной жизни.

Более строгий счет мы предъявили автору в отношении заключительной главы его книги. Она выглядит менее убедительно, чем первые три. Если в них автор представал глубоко эрудированным, свободно владеющим материалом, то в последней он нередко скользит по поверхности явлений и фактов. А. И. Новиков, придававший в предыдущих главах столь большое значение литературным фактам, здесь даже не упоминает о западной беллетристике (пусть малоталантливой, но интересной именно с точки зрения проводимого исследования), посвященной майским событиям 1968 года на Западе — во Франции и Америке — или хиппи: романы Кристи де Ривуар, М. Балка, Алена-Шеданна.

Хотелось бы, чтобы А. И. Новиков, а также другие наши философы продолжали работу над темой, важность которой с особой наглядностью подчеркнула книга «Нигилизм и нигилисты». А ее глава о современном нигилизме настоятельно просится в отдельную книгу, тогда она станет существенной и своевременной заявкой на решение актуальнейшей общественно-политической проблемы современности.

Г. АТАНОВ

ЧТО БЫ СКАЗАЛ БУРДЕНКО?

Я вырос в семье врача-хирурга. Моими детскими сказками были рассказы отца и его друзей-коллег о фантастических операциях Бурденко, Вишневского, Герцена, Юдина и других, как тогда любили говорить, светил хирургического мира. Я вырос в благоговении перед профессией врача, в сознании благородства и возвышенности его долга.

Видимо, далекими впечатлениями детства прежде всего и объясняется то, что к произведениям искусства — будь это книга или фильм, спектакль или картина художника, — рассказывающим о врачах, особенно о хирургах, я всегда отношусь с особым интересом и с ревностью. С этими чувствами взял я в руки и повесть Артема Гая «Трудные дежурства» *...

Повесть состоит из трех повестей, объединенных образом героя, от лица которого ведется рассказ, — молодого хирурга Владимира. Остальные персонажи в большинстве своем тоже медики: врачи, сестры, няни. Разумеется, есть и несколько образов больных. Словом, я оказался в хорошо знакомом мне мире.

На первых же страницах повести я встретил справедливые рассуждения о трудности и напряженности работы врача-хирурга, правильные и важные мысли об ответственности, о святости медицин-

---

* Журнал «Звезда», № 3, 1972.

ской работы, о совершенной недопустимости и особой общественной опасности здесь карьеризма, шкурничества, делячества.

Но ведь передо мной было художественное произведение, и потому мне не хватало здесь лишь правильных мыслей, хотелось видеть еще живых людей, их характеры, чувства... Нетрудно заметить, что у автора есть определенный литературный навык, он умеет построить связный рассказ, однако проникнуть во внутренний мир своих героев, дать живые, достоверные, запоминающиеся образы он пока не может. Выражаясь метафорически, Артем Гай может вырезать аппендикс, но нейрохирургия или операции на сердце ему еще недоступны.

В самом деле, все персонажи повести очерчены слишком бегло, поверхностно, едва намечены. Дело усугубляется тем, что в повестях, составляющих единое произведение, происходит почти полная смена персонажей. Например, в первой повести мы встречаем группу женских образов: Таню, Олю, Лору, Нину, Эллочку... Они даны во взаимоотношениях с главным героем. Мы присматриваемся к ним, стараемся их понять, но произведение обрывается, никакого развития и завершения эти образы не получают, а во второй повести на их месте мы видим уже Лену. В третьей повести не очень-то внятный образ Лены заменяет столь же неясный образ Али... Аля гибнет в горах. Гибель эта чисто литературная. Увы, в нашем сердце она вызывает не больший отзвук, чем вызвала бы такая же гибель Тани или Оли, Лоры или Нины, Лены или Эллочки... Я думаю, что автору следовало бы писать не цикл из трех повестей, а одну повесть, но при этом постараться дать своих героев глубже и убедительней, проведя их через все повествование.

Может быть, я и не стал бы писать о повести А. Гая — в самом деле, мало ли появляется произведений, еще нуждающихся в существенной доработке! — если бы не одно поразившее меня обстоятельство.

Я далек от намерения к каждому произведению искусства прямо и непосредственно прилагать недавнее, очень важное постановление партии и правительства «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», но все же думаю, что в книге о врачах, особенно о больнице, крайне неуместно, когда герой-повествователь, врач, то и дело сообщает:

«Я с удовольствием выпиваю подряд два стакана пива», «Мы привыкли уже к этому пиву»; «Муся наливает мне сухого вина»; «Выпей с нами»; «Заходишь в Елисеевский. «Мукузани»... «Киндзмараули»...»; «Откуда-то из «заначки» была вытащена бутылка водки... И квас. Или, вернее, бражка»; «Нина затаскивает меня в предоперационную. — Для восстановления сил мензурку спирта, — говорит она, доставая из шкафчика приготовленную мензурку... Я осушаю мензурку и закусываю огурцом»; «Мне вдруг очень хочется глотнуть неразведенного спирта... Я поднимаюсь в операционную со стаканом и говорю сменившей Нину сестре:

— Налей-ка немного из государственного фонда для обмороженных.

Она колеблется, но все же

не решается отказать»; «Спирт здорово меня взбодрил»; «Спирт остервенело бросается внутри во все стороны»; «Вовочка, да ты совершенно пьян»; «Хмель бродил в башке»; «Как выпью немного, начинаю философствовать»; «Подобные фантазии ко мне приходят разве только на нетрезвую голову»; «Что вас давно видно не было? Пить бросили?» и т. п.

Как видим, пьют герои повести пиво, брагу, сухое вино, водку и неразведенный спирт. Пьют в предоперационной и даже в святая святых — в операционной. Но автору и этого мало. Заведующий хирургическим отделением, которым герой-повествователь и все остальные врачи не устают восхищаться, даже операции делает в пьяном виде. И как! Герой-повествователь в восторге: «Фантастично! Смогу ли я когда-нибудь трезвый (противоположная возможность, как видим, тоже не исключается. — *В. Б.*) проделать эту операцию?.. Или каждая операция для него творчество, поиск?» Если сам заведующий творит в пьяном виде, то что ожидать от боготворящих его рядовых хирургов!

Право же, дело тут не только в драматическом несоответствии поведения героев повести с решением партии и правительства. Дело прежде всего в том, что эти выпивки в стенах больницы, в операционной, это приобщение к фонду для обмороженных, эти восторги по поводу операции в пьяном виде начисто зачеркивают все возвышенные разглагольствования героя-повествователя о святости врачебного долга, об ответственности и т. п.

...По рассказам, слышанным мною в детстве, Николай Нилович Бурденко в разговорах с нерадивыми людьми, с провинившимися порой мог употребить крепкое словцо. Счастье героев повести А. Гая, что им не грозит встреча с Бурденко.

Вл. БУШИН



Джабир Новруз, Простые истины. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с азербайджанского Анатолия Передреева и Владимира Гордейчева. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

Новая книга Джабира Новруза названа «Простые истины». И действительно, в стихах и поэме, включенных в книгу, нет никаких сногсшибательных открытий; нет ни парадоксальных утверждений, в которых, по мнению некоторых критиков, только и заключена подлинная поэзия, ни алгебраических формул, ни наспех зарифмованных ресторанных счетов.

Д. Новруз, как и многие его поэтические сверстники, откровенно декларирует совпадение и биографий, и жизненных позиций автора и лирического героя. Поэтому простые истины, которые он провозглашает, звучат и как признание, и как кредо поэта. Уже первое стихотворение книги, озаглавленное «Происхождение», содержит важные положения этого кредо.

Но ни зернышка в дар мне
судьба не дала,
Только бич свой безжалостный
в руки взяла.
Сколько принял ударов я
грубых и злых,
Сколько было разбито
мечтаний моих...
Все, что есть у меня, — это
добыто мной,
От гвоздя до любви
незабвенной самой!
Если что-то в моей изменилось
судьбе,
Я обязан не ей, я обязан себе...

В этом признании звучат и суровое мужество, и гордость человека, преодолевшего судьбу, добившегося чего-то благодаря собственной воле, настойчивости, решимости. Но есть в процитированных строчках какой-то оттенок, вызывающий не то чтобы несогласие, но чем-то смущающий: не привыкли мы, советские читатели, к тому, чтобы наш современник приписывал свой успех только себе, только собственным качествам и заслугам. Но читаем дальше:

Рассказать ли о предках моих,
о родне —
Землеробе, ткаче, рыбаке,
чабане.
Если я и обязан кому —
это им,
Их мечтам, и делам,
и заботам простым,

Да, мужество и стойкость, умение преодолевать трудности лирический герой Д. Новруза получил в наследство от поколений трудовых людей. Они, люди труда, окружавшие его с детства, приучили мальчика, а затем юношу к труду и борьбе. И у него на всю жизнь сохранилось чувство глубокого уважения и благодарности к истокам, которых нельзя, не имеешь права забывать:

Он тянет нас, — в горах под облаками
Наш первый в жизни адрес, где опять
Нам след отцов отыскивать и камни
На дедовских могилах целовать.
Кто б ни был ты — поэт, и академик,
И врач — ты льнешь к началам тех начал
И к песням тем, что некогда, младенец,
Ты в вечное наследство получал.

Пишет ли он о матери или покинутых деревнях, о гордости азербайджанского рабочего класса — Нефтяных Камнях или об отзвуках войны в сердце советского человека, о рабочих поездах или о новостройках старого Баку, теснящих уходящий в прошлое мир, в его стихах всегда сочетаются зрелая, глубокая философская мысль, политический темперамент гражданина и точный, зримый поэтический образ. Постоянное беспокойство души — неизменный и необходимый спутник подлинного поэта — никогда не покидает Д. Новруза.

Когда в довольстве пребываю, пишу я хуже.
Когда о бедах забываю, пишу я хуже, —

признается он и призывает людей спешить к свершению добрых дел.

Творчеству Д. Новруза в высокой степени присущи чувства братства между людьми разных национальностей, судеб, профессий, возрастов, объединенных идеями борьбы против всяческих форм угнетения человека человеком. И сам он остро ощущает потребность в том, чтобы всегда быть необходимым:

Быть нужным людям
В их плохие дни,
Необходимым
В радостное время
Хочу, чтоб сразу
Миллион родни
Мою любовь почувствовал скорее!

Простые истины, о которых страстно, убежденно, талантливо говорит Джабир Новруз в своей книге, — это преемственность революционных традиций, это интернациональное братство трудящихся, это высота нравственных идеалов нашего молодого современника. И думаю, что премия Ленинского комсомола Азербайджана, увенчавшая книгу, — свидетельство заслуженного признания, которым пользуются у молодых читателей стихи поэта.

Юрий ИДАШКИН

В. Шустров, Красные острова. Повести и рассказы. М., изд-во «Молодая гвардия», 1972.

Б. Шустров принадлежит к разряду писателей, которые, по выражению М. Алексеева, пришли в литературу из «житейских будней». Не постороннее, книжное знание изображаемой действительности, а глубокое душевное ее переживание — отличительная чер-

та таких авторов. У каждого из них, образно говоря, есть своя малая родина, свой родной край в безбрежной России — источник вдохновения и крепости писательского таланта. У Бориса Шустрова — это русский Север, часть земли вологодской, протянувшейся вдоль реки Сухоны.

«Моя родина — маленький городок Сухонск», — пишет он в прологе лучшей в сборнике повести «Кухня», невыдуманные истории которой во многом автобиографичны, и люди, окружающие мальчугана Сережку, могли быть и в «военном детстве» самого писателя.

Столь необычным названием повесть (в журнальном варианте она называлась «В некотором царстве») действительно обязана кухне, на которую выходили комнаты обитателей дома, принадлежавшего до революции торговцу аптекарскими товарами, а после Октября заселенному рабочими Красной Слободки.

У жильцов дома общей оказалась не только кухня, но в какой-то мере и жизненная судьба. Всех их объединила между собой война. В каждой маленькой квартирке кто-то был на фронте: отец, муж, дочь. И как-то само собой получилось, что именно кухня стала местом, где люди узнавали последние новости, делились радостями, но больше всего горем и несчастьями.

Казалось, проще простого было потеряться человеку в той полной тяжести жизни. Но этого не происходит с героями «Кухни», в которой (как и в другой повести сборника — «Красные острова» и рассказах) нет ярко выраженных отрицательных персонажей. Конечно, это не значит, что все они люди добродетельные и добросовестные, что они, как молодой бухгалтер Николай Петрович («По реке по Сухоне»), не в силах выносить сделки с собственной совестью. Есть и такие, кому наплевать на совесть и на людей (объездчик Петруха, его дружок-кладовщик), но о них говорится как о посторонних. В центре же внимания писателя люди по-настоящему сердечные, в ком теплится душевный огонек.

Душевность, пожалуй, одна из главных черт таланта Б. Шустрова, умеющего разглядеть в человеке его внутреннюю красоту и без крикливости и назидательной навязчивости донести ее до читателя.

Ведь как ни сварлива заезженная работой Аннушка («Кухня»), у которой на руках девять мальков, а все ж и у нее, несмотря на кражу козы Розки, чуть ли не единственного источника существования многолюдной Аннушкиной семьи, всколыхнулось сердце сочувствием и материнской жалостью к бывшему вору Кащею.

Небольшой, цельный по мысли рассказ — подлинная стихия Б. Шустрова. Не случайно обе его повести состоят из вполне законченных новелл.

Успеху таланта рассказчика писатель обязан прежде всего лаконичности и предельной точности в обрисовке характеров персонажей. Нередко два-три штришка, маленькая, но характерная деталь лучше всяких подробностей и объяснений говорят о главном в человеке.

Так, например, повествуя в «Кухне» о Густеньке Дроздовой, матери двух близнецов Риты и Руди, считавшейся до похоронки первейшей ак-

тивисткой в слободке («она ходила широко и уверенно, говорила громко и ясно, без тени сомнения»), писатель замечает, что «когда после четырех дней затворничества Густенька вышла на кухню, все увидели другую женщину. Она похудела, огромные черные глаза налились тоской, в них появилось нечто отрешенное, сумасшедшее. Не глядя ни на кого, Густенька неумело свернула толстую цигарку и закурила. С тех пор редко кто слышал Густенькин голос, словно дала обет молчания». В этом немногословии — вся жизнь Густеньки, вся ее незавидная теперь бабья доля.

Такой же емкий рассказ «Золотые буквы». При незамысловатом сюжете — пожилая скромная женщина Катя Зародина добивается, чтобы на памятнике, который судостроительный завод их маленького городка ставит в честь погибших на войне своих рабочих, было и имя ее мужа Степана, считавшегося в свое время лучшим заводским кузнецом, — автор сумел рассказать о целой жизни Кати. Это рядовая русская труженица, нажившая на сплаве леса неизлечимый ревматизм, вырастившая в одиночку в годы послевоенного лихолетья дочь и сына, а теперь добрым ласковым словом принимающая участие в трудной судьбе своей соседки, неудачницы Таисьи.

Внешне негромка и жизнь другой русской женщины, молодого терапевта Веры Андреевны («Тополя»). Недавняя выпускница мединститута, она добровольно отправилась в старинное село Репино, «что затерялось в северных сырых лесах, на должность заведующей больницы». Нелегко дается врачу сельская практика. Но все трудности Веры Андреевны проходят, когда она осознает свою нужность односельчанам.

Идя в своем творчестве от действительности, от ее реальных истоков, Б. Шустров берет своих героев не со стороны, а из гущи жизни, о чем прямо говорит и в эпилоге к повести «Кухня», и в послесловии к «Красным островам». Вот почему так крепка и художественно убедительна его проза.

Н. ВАСЕЦКИЙ

Н. Соловьева, Николай Бирюков, Симферополь, изд-во «Таврия», 1972.

Писатель Николай Бирюков, автор известного романа «Чайка» и ряда других значительных произведений: «Воды Нарына», «В Отрадном», «Первый гром», «Вихри враждебные», «Твердая земля» — был человеком трагической и героической судьбы. Он страдал тяжелым недугом, был прикован к постели. И его творческая работа воспринимается как настоящий подвиг. На выход в свет его книг, объединенных в цикл «На крутых перевалах», критика отозвалась рецензиями, очерками, статьями.

Недавно издана монография «Николай Бирюков», автором которой является симферопольский критик Н. Соловьева. Работа привлекает верностью методологической позиции, глубоким знанием материала, хорошим эстетическим чутьем, пониманием значения таких произведений, как «Чайка», «Воды Нарына», в современной идеологической

борьбе, в утверждении дружбы народов. Автор исследует жизненный и творческий путь писателя, характеризует все произведения цикла «На крутых перевалах» — их проблематику, систему образов, особенности художественной структуры. Речь идет и об истории создания повестей и романов Н. Бирюкова. Композиция монографии учитывает особенности творческого развития писателя, соотнесенность его книг с движением времени.

С интересом читатель узнает, как воплощался в произведениях писателя образ Ленина, какое отражение получали события пореформенной России, революция 1905 года, гражданская и Великая Отечественная войны, строительство новой жизни. Обстоятельно охарактеризованы в монографии любимые герои Н. Бирюкова — рабочие и крестьяне, вступившие на путь революционной борьбы, — Петр, Степан, Орловы, героические участники строительства Ферганского канала — Дусматов, Раджиби, герои Великой Отечественной войны — Катя Волгина, Зимин... О каждом из произведений писателя критик говорит с убеждающей ясностью, но наибольшее внимание уделяет «Чайке» и «Водам Нарына». Это и понятно. Ведь «Воды Нарына» — значительное явление и в творческой биографии Н. Бирюкова, и в советской прозе в целом.

Энтузиазм народа, пафос социалистического строительства здесь раскрыты вдохновенно и правдиво. Автор отмечает, что «Воды Нарына» — многогранный по своей жанровой структуре роман, в котором как бы объединены тенденции так называемого производственного романа и романа воспитания.

С увлечением пишет Н. Соловьева о романе «Чайка». На переднем плане анализа, естественно, оказываются герои-партизаны, народные мстители, партийные руководители. Ведется критиком нужный разговор о роли и месте документального материала в сюжетно-образной системе произведения, об историзме.

Критик обнаруживает основательность своих эстетических критериев в анализе важнейших аспектов «Чайки». Однако его увлеченность не позволила заметить элементы описательности, свойственные роману. В целом перед нами интересная, нужная читателю монография.

Евг. ДРЯГИН,
доктор филологических наук

Олег Жихарев, Летние ливни, Харьков, изд-во «Прапор», 1972.

Олег Жихарев пишет в мягкой манере, как сказали бы художники, акварелью, что роднит его прозу с рассказами Паустовского. Правда, он не столь тематически и географически разнообразен, как его выдающийся и, может быть, даже невольный учитель. Солдатский нехитрый быт, летучие впечатления юности, первая грусть о невозвратном — вот что больше всего привлекает О. Жихарева.

Писатель не всегда придерживается строгого сюжета. Каждый его герой вроде бы находится в ожидании своего

«звездного часа», чутко прислушиваясь к тому, что совершается вокруг и в нем самом. Это относится и к Дмитрию из повести «Возвращение», и к Филонову («Дочь лесника»), и к Лопатину («Зима — лето — год солдатский»). В дымчатом, чреватом эмоциональным эхом мире герои книжки Жихарева ждут ответа ни больше ни меньше, как... на самих себя. Кто они, какими отразились в глазах близких и любимых — вот «тайная тайных», подвигающая и Дмитрия, и Филонова, и Лопатина раздумывать над своими отношениями с людьми. И не случайно главный подсознательный вопрос персонажей О. Жихарев оставляет без ответа: все — впереди, двадцать пять лет — возраст свершений, и только они, эти свершения, способны разрешить загадочную смутную мятежность молодости. Отсюда неопределенность концовок в произведениях автора, этакая непроявленность судеб и характеров героев.

Правда, в «Причине» автор явно тяготеет к бо́льшей, что ли, законченности, что связано с первыми шагами главного героя. Сюжет, если так можно назвать контуры произведения, прост: в горно-геологическую партию на должность мастера приезжает специалист с дипломом Баженов. Его предшественник Сушин — практик, у которого нет специального образования, чувствует, что Баженов оттесняет его «на законном основании». Молодой специалист стоит перед трудным нравственным выбором: все права на его стороне, но на «внутреннем суде» своем он выступает не истцом, а скорее ответчиком, ставя себя в положение Сушина, добросовестного работника, участника Отечественной войны. На этом суде у Баженова были и колебания, вызванные его внезапной любовью к жене Сушина — Маше. И она-то, эта любовь, продиктовала Баженову единственно верное решение — не рушить так трудно налаженную жизнь Сушиных и отказаться от должности мастера. Внешне бегство Баженова выглядит поражением, но оно из тех, которые ценнее и благороднее многих и многих видимых побед.

Название сборника «Летние ливни» точно соответствует содержанию. Под ним автор подразумевает открытия и потери, первые светлые и грустные раздумья героев, столь необходимые и благодатные для наступающей зрелости...

П. МЕЛЕХИН

Кирилл Усанин. Разбуди меня рано. Рассказы и повесть. М., изд-во «Советский писатель», 1972.

Теплой осенью учительница географии и истории Надежда Григорьевна Конькова привела семиклассников на экскурсию в шахту. С затаенным восторгом приобщался герой повести К. Усанина Николай к таинственной жизни, много дней затем был наполнен весь без остатка необычными впечатлениями. А когда преподавательница литературы предложила школьникам описать увиденное в шахте, Николай даже не заметил, как у него получился целый рассказ — десять страничек! Так много он не писал даже тогда, когда школьникам задавали изло-

жение по самому любимому его произведению — тургеневскому «Муму». Рассказ Николая оказался лучшим в классе. «Пиши, Коля, обязательно пиши!» — сказала ему при встрече Надежда Григорьевна. Тот далекий уже сентябрьский день определил судьбу Николая.

Повесть Кирилла Усанина «Разбуди меня рано» знакомит нас с судьбой молодого шахтера, прошедшего трудную школу жизни, прежде чем он решил ехать в Москву и поступать в институт, где «учили на писателя». Через долгих двенадцать лет возвращается Николай в родной поселок, встречается с друзьями, навещает свою бригаду.

В добрых и светлых тонах описывает К. Усанин встречу молодого писателя с родными и друзьями, воспоминания, которые охватывают Николая, когда он спускается в шахту, считая ее «своей».

Заметил Николай, как много перемен в его поселке за эти двенадцать лет: появился Дворец культуры, стадион, магазин новый. Люди стали жить зажиточней, культурней, многие прежние знакомые Николая овладели сложными профессиями. Но хоть много воды утекло, по-прежнему шахтеры считают его своим. «Ты наш!» — говорит на прощание Николаю Василий Бородин. И в этом писатель ощущает доверие рабочего коллектива, в котором начинал свой трудовой путь.

«Разбуди меня рано» — первая книга Кирилла Усанина. Очевидно, живые впечатления легли в основу и повести, давшей имя всему сборнику, и рассказов, многие из которых также посвящены труду горнорабочих. Запоминается простой и трогательный рассказ «Смирнов и Петька» — о дружбе десятилетнего мальчугана с немногословным и суровым с виду рабочим. Казалось бы, чему может научить Петьку Смирнов? Юность Смирнова прервалась войной, и потому закончил он всего-то четыре класса, всю жизнь свою работал на шахте — заполнял с бригадою лесом клеть и опускал под землю. Но Петьку тянуло к Смирнову. Каждый день прибегал он к нему, расспрашивал о шахте, ее машинах, и рабочий как взрослому серьезно и рассудительно объяснял все ему, желая «привадить» к настоящему делу.

Рассказы К. Усанина тематически разнообразны: тут и современное село («Вольный человек»), и городской поселок («Еще один день»), и, конечно же, шахта («Шахтерская идиллия»), но всякий раз в центре внимания — нравственная проблематика, поверка духовных ценностей человека, сдача им «жизненного экзамена». К. Усанин пишет о людях разных профессий и жизненного опыта, но светлое и доброе отношение героев к жизни и людям придает внутреннее единство первой книжке молодого автора.

Л. МЕДВЕДКОВА

М. Левашов. Будни живописца, изд-во «Московский рабочий», 1972.

Эта небольшая книга сделана с подлинной любовью. Автор, его герой, издатели книги — все вместе постарались сделать читателю настоящий подарок.

Герой книги — старейший

художник-анималист Алексей Никанорович Комаров. Около пятидесяти рисунков и репродукций его картин воспроизведено на страницах издания. Медведи, волки, наши северные птицы, лоси, кони, картины русской природы... Торжествуют талант, наблюдательность, реализм.

М. Левашов рассказал о долгом и трудном пути Комарова, годы ученичества которого приходятся на девятнадцатый век. С детства он полюбил животных и начал их рисовать. С этими рисунками был принят в Училище живописи и ваяния. Он входил в клетки ко львам и ездил на край света, чтобы понаблюдать, как ведет себя перед прыжком барс. Художник видел псовую охоту и запечатлел бег-полет борзых. Он побывал в самых глухих углах нашей страны — где же еще увидишь природу в ее первобытном состоянии? И трудился, трудился, трудился. Из зарисовок потом рождались картины, иллюстрации для детских учебников и книг натуралистов. И в девяносто шесть лет художник не откладывает кисти...

Мстислав Левашов старался смотреть на мир и животных глазами художника. И это ему удалось. Описания природы, рассказы о повадках животных точны и красочны. Интересно говорится о приключениях и странствиях художника. Жаль, что теоретические размышления автора часто беспомощны, а политические события описаны словесными штампами.

Книга кончается так:

«Я вижу подмосковный лес и тропинку, по которой идет высокий человек с суковатой палкой и этюдником. Где он проходит, дятлы стучат веселее, конек задорнее раскачивается на вершине елочки, щегол оживленно запевает песенку — все живое и доброе приветствует его. Иначе и быть не может, потому что весь жар своей души, весь свой талант отдает этот художник людям».

Дмитрий ЖУКОВ



М. ЛОБАНОВ

ВЕЧНО ЖИВЫЕ ТИПЫ

В нашем журнале (№ 8, 1972 г.) были напечатаны письма М. ЛОБАНОВА «СЛОВО И ОБРАЗ». Читатели просят продолжить публикацию материалов о художественном мастерстве. В частности, в одном из писем содержится просьба рассказать о созданных русскими классиками образах, разоблачающих сущность буржуа, об актуальном значении этих образов в современной идеологической борьбе.

Печатаем статью М. Лобанова «Вечно живые типы», в которой рассказывается об антибуржуазной, антикапиталистической направленности творчества Щедрина, Гоголя и Достоевского, о некоторых социально-психологических особенностях созданных ими образов.

В постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» говорится о необходимости борьбы наших критиков с буржуазной идеологией, с западной «массовой культурой». Большую помощь в этой борьбе нам может оказать классическая русская литература, антибуржуазная направленность которой приобретает в настоящее время особое, животрепещущее значение. Известно, какие муки разочарования в буржуазном Западе испытал Герцен, воочию увидевший духовное убожество буржуа. В книге «С того берега» Герцен с презрением пишет о французском буржуа, которому «достаточно десятка два мыслей, сентенции Вольтера, чтоб довольствоваться ими и покойно учредить на них нравственный быт свой...». Герцен писал в одном из своих писем о западно-буржуазной цивилизации: «Все мелко в ней: литература и художества, политика и образ жизни, все неизящно — это признак смерти — все смутно и жалко». От наблюдательного

взгляда русского мыслителя не укрылось глубокое разочарование народа в буржуазных революциях, которого «обманули», надежды которого бесстыдно растоптали.

Сатирическое слово о западном буржуа оставил Щедрин в своих очерках «За рубежом». Олицетворением буржуазного мещанства здесь становится немецкий «мальчик в штанах», самодовольный и крайне гордый своими обывательскими добродетелями, убежденный в том, что «гороховица с свиным салом», «обычай не рвать яблоков с деревьев, растущих при дороге» и другие подобные «блага цивилизации настолько ценны», что за них можно «по контракту закрепить душу».

Автор очерков «За рубежом» пишет о когда-то любимой им стране: «Сверх того, для нас, иностранцев, Франция, как я уже объяснил это выше, имела еще особливое значение — значение светоча... Поэтому как-то обидно делается при мысли, что этот светоч погиб. Да и зрелище неизящное выходит: все был светоч, а теперь на том месте, где он горел, сидят ожиревшие менялы и курлыкают».

У этого ожиревшего менялы-буржуа, по словам Щедрина, «сонливая простота воззрений», «в деле науки он ценит только прикладные знания»; «в деле беллетристики он противник всяких психологических усложнений»; «буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел, чтоб не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтоб нуждаться в расширении горизонтов».

«Эта безыдейная сытость не могла не повлиять и на жизнь» и т. д. Это та мелкость целей жизни, тот позитивизм, который один из русских классиков назвал «пищеварительной философией» и который вызвал у Некрасова по возвращении его из-за границы домой горькие строки о «чужой дали»:

Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль.

* * *

Русская литература типологична по своей сути, по своему воззрению на человека как на характер социальный и с философской точки зрения как на своеобразный микрокосм, на бесконечно сложный внутренний мир. Поразительно разнообразие воплощения этого характера. Что может быть, казалось бы, общего между сугубо бытовой «приземленностью» героев «Мертвых душ» и одержимостью братьев Карамазовых? Правда, и в «Мертвых душах» мысль Гоголя уходит в бесконечность, когда он пытается постичь призвание России. Но и сама гоголевская вещественность глубоко метафизична и тем более таинственна, что она вышла из недр духа гениального художника одновременно (и даже после) психологических откровений «Петербургских повестей». Седьмая глава «Мертвых душ» заканчивается следующей сценкой: «Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги,

точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и осматривал бойко и на диво стачанный каблук».

В этой смешной мелочи весь характер поручика. Но это и не смешно, не просто примеривание сапог, а какое-то даже таинство, на грани реального и фантастического, в обстановке полутаинственной («только в одном окошечке виден еще был свет»; «Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог»). Но вот из «Записок сумасшедшего»: «Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма... Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой».

Потрясающее действие таких спокойно-деловых мест у Гоголя в том, что они всегда могут перейти в нечто противоположное, как это и следует с мантией Поприщина, пишущего вместо даты: «Число не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое» и далее сообщающего: «Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании». И тот самый поручик, примеривающий ночью сапоги, тоже, кажется, может выкинуть «черт знает что такое» — и оттого самое как будто сугубо бытовое у Гоголя загадочно двоится.

В тех же «Записках сумасшедшего» происходит трагикомическое спасение луны. Поприщин так об этом рассказывает: «Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну... И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились... на стену, с тем, чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкой и прогнал в мою комнату».

Помню, как меня поразило напечатанное в старой книге письмо помешанного человека, бывшего военного, письмо нелепое, бредовое, но в котором сквозь болезненную напыщенность выражений вдруг прорывалась удивительно глубокая мысль, живое движение когда-то, видимо, очень чуткой души. Мне даже запомнилась такая фраза: «Вот почему нахожу нужным обратить внимание на пережитое человечеством», а далее следовал призыв ко всем сделать то же самое, что и он, т. е. отдавать ровно половину из того, что он получает, на содержание тех, что бедны. Я подумал тогда, прочитав это письмо: ум расстроен, а что же тогда так трогательно прорывается? И Поприщин еще более одержим этой спасительной миссией, но уже не в рамках помощи бедным, а в космическом масштабе: луну хочет спасать.

Нравственной тоской заканчивается у Гоголя даже безумие (вопль Поприщина); блеск слова, упоение меткостью его, которое,

видимо, было для Гоголя одной из великих радостей бытия, не могут насытить и обращаются также в высшие, сверхэстетические интересы. Кого из тех, кто наделен эстетическим чутьем к слову, не заражает какой-то магической игрой разговор Чичикова с генералом Петрищевым по поводу «преказусного анекдота» — «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Генерал в восторге от этих слов, переспрашивая: «Как бишь: «полюби нас беленькими?»

— Черненькими, ваше превосходительство, — подхватил Чичиков.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха-ха, ха!..

Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но из уважения к генералу пустил его на букву э: хе, хе, хе, хе!» Но в Уленьке, дочери генерала, рассказанная Чичиковым история вызвала досаду и грусть. На наших глазах происходит новое чудо: что-то затуманивается в этом разговоре, гаснет смех и воронкою тянет невесть как возникающая задумчивость: «необыкновенно странны были своею противуположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом... Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата».

Из этой глубины грусти по «погибающей душе брата» яснее открывается нам странный мир «Мертвых душ». Тоска по живой душе человека, а Чичиков строит свои проекты на «мертвых душах». Сама эта идея — добиться могущества с помощью «мертвых душ» — весьма знаменательна. У Чичикова она возникла как будто при самых заурядных обстоятельствах, когда он в качестве поверенного столкнулся с канцелярским затруднением по делу, которое вел. «Эх я Аким-простота... ищу рукавиц, а обе за поясом!» Чичикова «осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову». Приступил он к делу как «незначащий червь мира сего», но недаром в губернском городе решили, хотя и с безудержной фантазией, что Чичиков похож на Наполеона. Размах его замысла имел дело уже с самой историей.

Чичиков начал осуществлять свой план, когда в России было крепостничество, но уже было очевидно, что оно не вечно, зрело уже то, что через двадцать-тридцать лет приведет к отмене крепостного права в феврале 1861 года. Некрасов оставил нам художественное свидетельство того, каким ударом стало 19 февраля для многих помещиков, от одного помещика домашние его долго скрывают правду о вышедшем манифесте, а когда тот случайно узнает об этом, с ним происходит удар.

Но Чичиков не из такого хлипкого рода, он уже однажды, в истории на таможне, когда за сношения с контрабандистами был взят под суд и лишен полученного от них полумиллионного капитала, доказал, что никакие удары судьбы не могут раздавить его. Будь он и действительно тем херсонским помещиком, каким считают его в губернском городе, и тогда он не дрогнул бы. Но главное в другом: души-то, приобретаемые Чичиковым, не-

уловимы, неподвластны учету, вообще, можно сказать, безразличны ко всем манифестам, ибо только по ревизской сказке числятся как живые. На деле именно как душа мертвая дает она капитал Чичикову, и это та его идея, которую нельзя пресечь внешними обстоятельствами, — идея извлечения капитала из «мертвых душ», которые всегда найдутся. Вдохновляющим фактором для Чичикова стало то, что «теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало». И еще более выгодна для Чичикова духовная эпидемия, когда духовные ценности, человеческая душа «все равно, что пареная репа», как выражается Собакевич.

Чичиков не просто как торговец совершает сделку, он опутывает ее сетью рассуждений о высоких материях. «Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются. И что по существующим положениям этого государства, в славе которого нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма...»

В практическом смысле (а для Чичикова в практической сфере сконцентрировано, если хотите, все мироздание) чичиковская тактика овладения «душами» куда могущественнее, нежели прямолинейное действие гётевского Мефистофеля, заключившего договор с Фаустом на началах познания мира, тайн его. А для Чичикова нет никаких тайн, душа — «пареная репа».

И вместе с тем практичность Чичикова — не узкий прагматизм, не видящий ничего далее утилитарной пользы. Хотя для Чичикова душа и значит не более, чем «пареная репа», все же не забудем, что он имеет дело все-таки с душой, с идеей ее и — что весьма существенно — не ради временного извлечения из «мертвых душ» нужного ему капитала, а в целях того, как это отзовется в потомках («Уже известно, что Чичиков сильно заботится о своих потомках»). Поэтому так оптимистичен в своей перспективе проект Чичикова, а сам он исторически неотразим в своем искушении маниловых. Маниловы в своих мечтах мосты строили, всякого рода воздушные нравственно-духовные проекты, а тем временем Чичиков, рассудивши трезво, что чего стоит, сделал ставку на «мертвые души» и приступил к осуществлению своего проекта не на словах, а на деле. И Манилов, который в своих мечтаниях заносился до того, что не замечал, как отпускаемый им на заработки «мужик шел пьянствовать», сослужил прямую службу Павлу Ивановичу: «...Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка. — Славно написано, — сказал он, — не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг!»

Эти «мужички», внесенные Маниловым в реестр для соверше-

ния купчей крепости, отныне не обуза для нового их хозяина Чичикова, а вполне пригодный строительный материал для его целей!

Но какими силами был столь гостеприимно принят Чичиков и кто они, ринувшиеся ему навстречу? Это то губернское общество, отличительную черту которого составляет полуобразованность. Оно, это общество, далеко от «необразованного» народа и к культуре не пристало. Русский язык здесь урезан до необходимого минимума («половина почти слов была выброшена вовсе из разговора»). Один из ведущих чиновников, вдавшийся в философию, извлек из нее для себя, видимо, самое глубокое, научившись уснащивать свою речь «множеством разных частиц, как-то... знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что всегда придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал... «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». Все эти «люди просвещенные» далеки как от Арины Родионовны, так и от Пушкина, то есть не имеют никакого отношения ни к одной из сторон, образующих в совокупности культуру. Межеумочность духовная, пауперизм мысли — сила воинствующая по своему невежеству и претенциозности. Такая полуобразованность и возвышает чичиковых. Что бы делать Чичикову с его проектом среди, скажем, мужиков типа Марея и кого-нибудь из людей менделеевской породы? Первые бы его не заметили, а для вторых он был бы любопытен разве лишь с познавательной точки зрения. Чичиков — ничто в сравнении с «живой душой». Он кружит и победительно потирает руки, когда перед ним «просто прах». Но стоит ему столкнуться с чем-то здоровым, как он уже не тот Чичиков. В разговоре с генералом Петрищевым он, конечно, и льстит, как всегда перед лицом «сильных мира сего», и ловко обводит доверчивого на рассказы генерала, но больше всего, пожалуй, извивается, как бесенок на жаровне, как бы чувствуя какую-то неприступную крепость в «его превосходительстве». А дело в том, что за душой у Петрищева есть то, что не предусмотрено чичиковским реестриком, — память о двенадцатом годе, о тех, кто сражался с нашествием. Генерал по-богатырски воодушевляется при одном только упоминании о двенадцатом годе. Вот эта историческая память и делает человека неприступным для операций приказчика «мертвых душ». К Чичикову попадают те, у кого нет никакой связи с прошлым, с историей народа. Ибо сам-то он, Чичиков, «человек без племени и роду», он только и может брать в толк не генералов двенадцатого года, а «генералов вообще», «вообще» Россию, все вообще. Он убежден, что в этом его сила и в этом его будущее, что вся эта ветошь исторической памяти обречена на тление и тогда-то он и выложит свой реестрик на вывод человечества. Но не может ли случиться того же, чему свидетелем был сам Чичиков, когда спросил у прохожего мужика дорогу к Плюшкину и услышал: «А! Заплатанной, заплатанной!» Было прибавлено и существительное к этому слову, хотя и неупотребительное в разговоре, но очень меткое, так что Чичиков долго еще усмехался прозвищу. И где гарантия, что и Чичиков со своим проектом не может получить такого же «пашпорта на

вечную носку»? Как говорит Гоголь, «выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство».

Но есть еще и «благородное побуждение к просвещению» Петрушки, лакея Чичикова. Известно, что этот грамотей любил читать, при этом «ему нравилось не то, о чем он читал, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». Уровень такого просвещения весьма работает на реестрик Чичикова, и такое грамотейство для него — та же желаемая эпидемия.

Как мы помним, в губернском городе нашли, что лицо Чичикова очень сдает на портрет Наполеона. И хотя это сходство доводится до нелепости («не есть ли Чичиков переодетый Наполеон»), сама идея «наполеонизма», видимо, неслучайна в отношении Чичикова. В русской литературе XIX века настойчиво повторяется эта идея. У Германа в пушкинской «Пиковой даме» профиль Наполеона, согласующийся с его честолюбием и маниакальной жаждой власти над деньгами. Раскольников в «Преступлении и наказании» одержим наполеоновским примером достигать «великой» цели, преступая с презрением законы человеческой морали. Любопытно, что и Герман и Раскольников терпят поражение, «наполеонизм» обнаруживает несостоятельность, не говоря уже о «Войне и мире», где Наполеон по исторической мелкости своей как бы уже «переодетый Чичиков». Но сам-то Чичиков оказывается неуязвимее всех со своей схожестью с Наполеоном, не погибая, как Герман, не потрясаясь духовно, как Раскольников, а просто укатив на своей бричке в опасный момент, чтобы снова потом продолжать свое дело. Дитя революции 1789 года, Наполеон обратился впоследствии в ее отрицание, в силу, претендующую на мировое владычество. И «наполеонизм» Чичикова именно в этом преклонении перед «земным кесарем», в презрении к идеальности и духовности, в идее господства над «мертвыми душами», для которых нет ничего высокого и святого.

И у самого Чичикова что, кроме шкатулки, какие поклонения? Но зато эта вещь даже не шкатулка, а целый лабиринт со своим планом и внутренним расположением, квадратными закоулками, перегородками с крышечками и без крышечек и т. д. Это целая система закоулков и ширм, прячущая самое сердце шкатулки: «Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что, наверно, нельзя сказать, сколько было там денег».

Эти господа удивительно скрытны, когда почуют посторонний интерес к своей шкатулке, этого они очень не любят.

Международный Чичиков вояжирует с континента на континент, из штата в штат. Спрутами расползлись по земному шару рокфеллеры, простирая щупальца к природным богатствам народов. Еще тот Чичиков, Павел Иванович, был как бы уже не в одном лице, а одновременно в нескольких, помните, рассматривал свое лицо в зеркале: «Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки;

отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе... Наконец, он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакой!» С тех пор Чичиков значительно совершенствовался как в степенности и артистичности своих разнообразных личин, так и в умножении точек приложения своего делячества — от сбора голосов на каких-нибудь сенаторских выборах до турне по западным странам, как по собственным штатам. Ведь Чичиков заботился о своих потомках и в любом деле ставил прежде всего то, что объединяет людей без «племени и роду», — размах космополитической деятельности. И везде в конечном счете все та же цель — прикупить «мертвые души», причем вовсе не обнародывая, что они мертвые, а напротив, выдавая их за живые, в некотором роде даже духовно богатые и заклиная при этом, как Чичиков: «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они, или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые».

То же самое, что и знакомая нам шкатулка, — духовная отпечатка буржуа, с ее перегородками, крышечками и одной-единственной загадкой — брюха. Здесь все тайны бытия и разрешение всех мировых вопросов. Если же кто не постиг этой загадки и полагает наличие других, то таковой подозревается в здравом смысле. И сам Гоголь может попасть в тот же разряд за его слова о том, что «нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина». Чичиков хотел бы держать в колодке своего мышления всех, вошедших в его реестрик. И ни насколько не отходить от установленной нормы слов, держать равнение на его словарь. Хотя это ужасно — «построить» мышление на фразеологии, терминологии Чичикова — никакого намека вглубь, в основание чего-то философского, вообще человеческого, одно скольжение по эмпирической плоскости с делячеством и со скрытым плутовством.

Но мы недооценили бы Чичикова, если бы упустили в нем его именно чичиковское: да, и он как буржуа, и другой буржуа несравненно «капитальнее» — одного поля ягоды, но ведь только Павла Ивановича посетила «вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову». И поскольку он здесь первооткрыватель — в идее могущества над «мертвыми душами», то и требует не уравнения себя в правах с другими буржуа, а исключительных, почти мессианских прав.

Прекрасно знавшие психологию буржуа К. Маркс и Ф. Энгельс писали в «Манифесте Коммунистической партии», что буржуазия «превратила личное достоинство человека в меновую стоимость».

Великая русская литература с особой чуткостью встретила появление нового в русской жизни типа — буржуа, вопрошая: что он несет миру? Гоголь с гениальной прозорливостью схватил то потаенное в буржуа, что связано с его расчетами на умерщвление духовной жизни народа.

* * *

Социально-духовная природа буржуа вызвала к себе напряженнейшее внимание и со стороны другого русского гения — Достоевского. Его Лужин в «Преступлении и наказании» носит в себе

особый, деляческий «дух», который ставит как бы в тупик героев Достоевского, занятых отвлеченными вопросами. Но энергичность, куражение Лужина отдает какой-то внутренней неподвижностью, механистичностью. Нет, пожалуй, у Достоевского более «неинтересного» характера, более прозаичного. Ни одной здесь такой обычной у героев Достоевского «изюминки», хотя бы и порочной. Даже и безграничность низости Лужина ничего общего не имеет, например, с игрой темных страстей Свидригайлова, знающего не только пропасти падения, но и порывы великодушия. А у этого все мелко, гаденько, расчетливо. Он кладет деньги в карман Сони, чтобы потом публично обвинить ее в воровстве, — в этом и вся высота фантазии Лужина. Характер Лужина живет, точнее, паразитирует в романе на сцеплении с другими характерами: Раскольников, Дуня, Разумихин, Свидригайлов, даже Лебезятников. Но если собрать в одну компанию одних лужиных — какая это будет удручающая серость! Это тот самый «мундир да фрак», о которых в гоголевском «Портрете» говорится, что пред ними «чувствует холод художник и падает всякое воображение».

Примерно то же самое говорил впоследствии Герцен, не скрывая своего отвращения к антиэстетизму буржуа, с тревогой думая о будущем искусства. Лужин — это такое духовно-эстетическое понижение личности, упрощение ее, за которой, собственно, уже ничего не стоит, кроме деловой функции, унифицированной формы. Тот же презираемый лужиными труженик — это богатейший резерв красоты. Недаром же из этого источника без устали черпали великие русские художники. А что можно почерпнуть из такого материала, как масса лужиных? Из их языка, который в лучшем случае в своем духовном подъеме может достигать только таких вершин: «ценя и, так сказать, обожая вас» — как говорит Лужин своей невесте.

У Лужина в Петербурге «весьма важное дело по его адвокатской части»... Буржуа с адвокатской пронырливостью — это не какой-нибудь лавочник или косноязычный купец середины века, а вполне передовой деятель, с выглаженными фразами обо всем, что почитается общественно современным и о чем он судит с непререкаемостью оракула. Лужин ораторствует о прогрессе: «...распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романтических; литература принимает более зрелый оттенок, искоренено и осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уж дело-с».

Лужин ведь адвокат-с, ему мало для удовлетворения того, скажем, что «лес рубят — щепки летят», он сделает из этого целую систему софизмов, казуистики, демагогии, угроз, и останутся только щепки как нужное истории, а леса как и не было. И уже можно, конечно, сообразить, какого рода те «полезные мысли», о которых распространяется Лужин, не знающий иной пользы, чем та, для достижения которой все средства хороши.

Эмпиризм, закрывающий все духовные горизонты, это «внутри» Лужина, а на виду — адвокатское самодовольство, делячество, процветание, речи и т. д. Распад буржуазного духа — в самой основе познания мира, смысла бытия, в онтологических связях — это Смердяков в «Братьях Карамазовых». Как быстро совершилось перерождение, а точнее, переход от Лужина к Смердякову, меч-

тавшему о благополучии («кафе-ресторан открыть на Петровке»), а кончившего убийством и самоистреблением.

То, что можно назвать мировосприятием Смердякова, не допускает ни малейшей доли воображения. Пришлось ему прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки».

«Про неправду все написано, — ухмыляясь, прошамкал Смердяков». Все то «неправда» для Смердякова, где есть поэзия, творческая фантазия, внутренняя красота, богатство содержания. «Неправда» и народное творчество, былины, живущие в памяти народа-богатыря. Все «неправда», что стоит за рамками рационалистичности Смердякова и что враждебно ему уже одной своей «глупостью». «Бывает» только то, что знает и видит Смердяков, во что он верит, а все остальное — сказки. Оттого, видимо, и такое презрение у него к людям, до брезгливости отвращение к ним, не могущим дорасти до его умственной трезвости. А этой трезвостью не допускается никакая метафоричность мышления, никакие духовные краски в нем, одна плоская рассудочность. Волнующая высокие умы необъятность мира свертывается до размера, доступного смердяковскому контролю.

В раскрытии механики сознания Смердякова сказалась прозорливость гениального художника, психолога — то, что крайне поучительно и для современных писателей. Попробуем проследить, как психологически завязывается и развивается этот характер. Первое появление Смердякова в романе связано с чем-то непредвиденным для героев. «У нас валаамова ослица заговорила, да как говорит-то, как говорит!» — новостью встречает Федор Павлович Карамазов своего сына Алешу. До этого Смердяков всегда был нелюдим и молчалив, какую-то мысль вынашивал в себе, «копил впечатления свои с жадностью». Но неожиданным это говорение «валаамовой ослицы» было для Карамазовых, а Григорий, их слуга из бывших крепостных, уже слышал рассуждения Смердякова. И видел, как тот насмешливо глядел на него, Григория, заставив его остолбенеть перед заданным вопросом. Теперь Смердяков решил испробовать свои силы в споре уже не с мужиком Григорием, а с «интеллигенцией», причем в присутствии обеих сторон. И видит, что им, его казуистикой восхищаются (открыто шутовствующий Федор Павлович, молчаливо Иван). А Григорий плачет от бессилия опровергнуть, заставить замолчать Смердякова. Это и нужно Смердякову — симпатия если и не на его стороне, то, во всяком случае, и не на стороне Григория, на которого и не обращают внимания в споре, а если и замечают его, то снисходительно, как дитя. Смердяков берет «трезвостью» доводов — никто «не сможет спихнуть горы в море». Григорий на это не готов возразить, на эту буквальность, наглядность. В самом деле нельзя. Так же нельзя, как полететь от радости на крыльях, хотя это случается с людьми в момент душевного ликования. Сила смердяковской логики в том, что она играет на общедоступности, приземленности, на таком мировосприятии, которое принимает в расчет только плоскую видимость. При этом пускается в ход эквилибристика доказательств, на которую беспомощный в споре Григорий может только прошептать: «Врешь, пр-р-роклятый», но которая тешит своей изворотливостью Ивана Карамазова. Почему бы этому Ивану, гордому своей умственной монополией, и не поделиться со Смердяковым и даже, по широте натуры, не допу-

стить его к пиршественному интеллектуальному столу? Соперник ли ему этот лакей?

По уходе Смердякова между захмелевшим Федором Павловичем и его сыном Иваном происходит такой разговор:

«— ...Передовое мясо (говорит Иван), впрочем, когда срок наступит.

— Передовое?

— Будут другие и получше, но будут и такие. Сперва будут такие, за ними получше...

— То-то, брат, вот этакая валаамова ослица думает-думает, да и черт знает про себя там до чего додумается».

Мы видим, как психологически исподволь, из самой потенции характера возникает особое в Смердякове, но еще требующее разгадывания.

Такой гений, как Достоевский, не мог, конечно, преднамеренно логизировать обстоятельства, вести своего героя по «плану», но поражает какая-то внутренняя закономерность эпизодов со Смердяковым, точнее, последовательность его встреч с другими характерами, которые как бы испытываются им. Тогда это были Григорий, Карамазовы, теперь — девица из мещан Марья Кондратьевна. Смердяков здесь весь нараспашку — любовные куплеты под гитару, мстительная обида на судьбу и на людей за свое происхождение от Смердящей, ненависть к «русскому мужику»: «Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь?.. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна». И такая свобода во всем, такая откровенность от близости не просто «милочки», а поклонницы его передовой личности: «А вы и сами точно иностранец, точно благородный самый иностранец, уж это я вам через стыд говорю». И впоследствии, когда Смердяков переселился в дом матери Марьи Кондратьевны, «и мать и дочь его очень уважали и смотрели на него, как на высшего пред ними человека».

Но достаточно натолкнуться такой разлагающей силе на культурно-духовную развитость, на нравственно-углубленную преграду, как обнаруживается пустота этих вульгарных претензий, тогда вся эта призрачность силы отваливается, как ветхая штукатурка со стены с изображением плакатных геркулесов. Так же, как все пониженное в культуре торжествует, пока опирается на грубое количество, на внешнее превосходство. Это та «массовая культура», которую на Западе называют «поп-культурой» и назначение которой — убрать границу между творчеством и «потребителем», смешать их в быте. Там существует даже понятие открытости культуры, когда каждый желающий обыватель «творит» наряду с художником. Или открытость мазни на выставках — секретов нет в искусстве, и ты можешь приобщиться к этой мазне. Или индустриальный поток выпуска литературной продукции. Чтобы не было никакого почтения, никакого уважения к искусству, чтобы полностью приблизить его к «потребителю».

Ведь чтобы приобщиться к Гомеру, Данте, Сервантесу, Рембрандту, Баху, Пушкину, Достоевскому, вообще к художественным гениям, надо подняться на духовно-нравственную высоту, найти в себе силы держаться ее, иметь жизненный идеал. А чтобы войти в контакт с «массовой культурой», для этого никаких внутренних усилий не надобно.

Понижение культуры может быть катастрофически стремительным. И это не будет бросаться в глаза «просвещенной» публике,

Попробуй убедить делателей «массовой культуры», что настоящая-то высота культуры — это классики... Конечно, классика не может быть поощрением для эпигонства, но тоска по ее идеалу может быть реальнее для творчества, чем все то, чем вызывается к действию «массовая культура».

Итак, Смердяков отдает дань искусству бренчанием на гитаре, «вывертом песни лакейским». Для него «стихи вздор-с... если бы мы стали в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли бы мы насказали-с?» Бесполезно пререкаться с ним о стихах, о «Вечерах на хуторе близ Диканьки», где «про неправду все написано», по его словам. На таком уровне бороться со Смердяковым — значит множить смердяковых. Единственное, что может противостоять ему и отвести его от искусства, это культурно-духовный уровень самой среды, в которой действует Смердяков. Ну что ему делать там, где (как это происходит в романе «Идиот») люди слушают стихотворение Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный», и не только слушают, а проникаются высшею простотой стихов, их высоким духом и соединяются в этой сфере высоких интересов. Смердякову в такой среде остается только исполнять свои лакейские обязанности и никем не замечаемому исходить в злобе. Но вот бы пофартило Смердякову, если бы все слушатели стихотворения «Жил на свете рыцарь бедный» пустились в дискуссию: «стихи «вздор-с» или нет?»

Впрочем, у Смердякова есть на кого делать ставку как на слушателя — на Марью Кондратьевну, девицу из мещан, которая восхищается им: «Как это вы во всем столь умны, как это вы во всем произошли?» И то, что Смердяков таил от Григория, от Ивана Карамазова, то он выкладывает сполна перед своей поклонницей. У тех принципы: у Григория — моральный, а Иван аристократично высокомерен перед этим лакеем в философских вопросах. А здесь разъеден сам принцип (если он вообще мог быть) податливостью нигилистической силе, всегда очень привлекательной для не знающего творчества, созидания мещанства; здесь все в смешении житейских представлений, даже патриотизм на уровне восхищения «военным юнкерочком али гусариком молоденьким». Теперь Смердякову можно распоясываться вовсю, выговариваться до конца. И он это делает: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Смердякова пробирает до печенок досада на такую, в его глазах, историческую несправедливость. Духовное мещанство открывает Смердякову дорогу для его цели. Теперь можно самоувереннее быть с Иваном Карамазовым, при котором он был до этого «Личардом». Интеллектуальная тяжба между Иваном Карамазовым и Смердяковым — одно из наиболее проницательных психологических открытий в романе. Смердяков как будто союзник Ивана Карамазова, усвоил по-своему его идею «все позволено», если нет абсолютных нравственных устоев. У Ивана эта идея бесконечно сложна и противоречива, знаменитый вопрос о «детской слезинке» — не бездушный теоретический силлогизм, но в принципе остается всеобъемлющий скепсис аналитической мысли, так сказать, демонизм ума. Сила отрицания в Иване и приходится по

праву Смердякову, в которой он трагической глубины и не может никогда постигнуть, но из которой извлекает подходящее для себя, приспосабливая его к своим интересам. Из этого различия и возникает странное, ненавистное друг другу сообщество. У Ивана в душе еще живет «детская слезинка», а у этого ничего не живет, он «из банной мокроты завелся», как сказал о нем Григорий, Смердяков не знает сдерживающих пут совести, он свободен в своей аморальной воле, но это и его рабство. Казалось бы, по логике такой воли, в борьбе дело решают одни только звериные инстинкты — сильнее тот, кто сильнее жаждет убивать, не зная расслабляющего действия морали. На эти инстинкты и делали ставку «мировые» завоеватели вплоть до Гитлера, называвшего совесть химерой человечества и приказывавшего своим солдатам начисто освобождаться от нее. Памятны сказанные в войну слова о немецко-фашистских главарях — о «людях с моралью животных», «лишенных чести и совести»; известно, чем они кончили. Конец Смердякова и не мог быть другим, «все позволено» оканчивается самоистреблением, однако проблема и в другом. Мы воочию видим, как из ведомого он превращается в ведущего, из лакея Ивана в господина его, в психологического контролера над ним, что пострашнее всякого интеллектуального надзирательства. С жуткой силой обнажается такое пленение Ивана в эпизоде, когда он перед отъездом в Москву встречается со Смердяковым. Помимо воли своей, помимо даже физических усилий, Иван выполняет что-то непонятное ему самому, а, видимо, нужное Смердякову. «Иван Федорович поглядел на него и остановился, и то, что он так вдруг остановился и не прошел мимо, как желал того еще минуту назад, озлило его до сотрясения». «Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к величайшему его удивлению, слетело с языка совсем другое.

— Что батюшка спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку». Иван как бы уже отчитывается перед Смердяковым в своих мыслях:

«— Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это знать — завтра рано утром — вот и все! — со злобою, раздельно и громко вдруг проговорил он, сам себе потом удивляясь, каким образом понадобилось ему тогда это сказать Смердякову».

И в другой раз, па следующее утро после того разговора:

«— Видишь... в Чермашню еду... — как-то вдруг вырвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера, так само собою слетело, да еще с каким-то нервным смешком. Долго он это вспоминал потом». В том, что Иван Карамазов вспоминает потом свои разговоры со Смердяковым, неожиданные для самого себя признания перед этим лакеем, скрыто нечто неотвязное, главное, без разрешения которого вот это «все позволено» исчезает как философская категория, и тогда вообще ставится под сомнение оправданность метафизических проблем. Зависимость внешняя может быть и условной, но здесь она стала неодолимой, потому что в душе Ивана Карамазова «сидел лакей Смердяков». Видеть идеал — это далеко не всем дается, а доступно принижение всего высокого до своих элементарных потребностей. И Смердяков демоничен по-своему в низменной своей заразительности. После того разговора со Смердяковым (накануне своего отъезда в Москву) Иван Карамазов испытывает ночью в самом деле что-то смер-

дяковское, какое-то постыдное любопытство к тому, что слышится в нижних комнатах отца, Федора Павловича: выходил на лестницу и «слушал — подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал. Этот «поступок» он всю жизнь свою потом называл «мерзким» и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей — самым подлым поступком изо всей своей жизни». Иван еще не отмылся от мерзости недавнего разговора со Смердяковым, и ему кажется, что это собственная мерзость. Убить старика Карамазова — это мысль не Ивана, это уж предел смердяковской заразительности, а Ивану кажется, что в этом его вина (метафизическая) — от логической честности его мышления («все позволено»), «цельного» по сути, отвечающего за слово, за мысль как за дело, не знающего разрыва между ними. В трех последующих свиданиях со Смердяковым Ивану открывается уже само «дело» его теории «все позволено». Любопытно, что все три свидания спрессованы, собственно, в одно, два первых вспоминаются по ходу третьего, последнего свидания — смердяковщина как бы сконцентрирована в решающем давлении на Ивана. Куда он пойдет? Туда же, куда и Смердяков, или куда пошел Раскольников? Есть одна поразительная подробность в разговоре Ивана со Смердяковым: он слушает изворотливейшее плетение слов убийцы, как тот будто бы хотел его, Ивана Федоровича, косвенным образом убедить остаться дома: «Потому и говорил: уезжайте от греха, чтобы вы поняли, что дома худо будет и остались бы родителя защитить.

— Так ты бы прямее сказал, дурак! — вспыхнул вдруг Иван Федорович».

Вот эта доверчивая, почти наивная выходка циника мысли Ивана и может в конце концов стать началом возрождения его души. Смердяков не знает таких «глупых» вспышек, он намертво закрыт для всего доверчивого, простодушного Но пока это только вспышка у Ивана. «Тайные знаки» между ним и Смердяковым идут не в сфере нравственной интуиции, как у Алеши, а в области рассудочно-разрушительной. Иван Карамазов быстро обнаружил, что для Смердякова, говорившего с ним на философские темы, «дело вовсе не в солнце, луне и звездах, что солнце, луна и звезды предмет хотя и любопытный, но для Смердякова совершенно третьестепенный, и что ему надо чего-то совсем другого». Но этого главного в Смердякове Иван так и не увидел, а точнее, не почувствовал. Он верит тому, что отца убил брат Дмитрий, а не Смердяков — верит по самым поверхностным доводам логики. Но зато брат его Алеша сразу понял, кто истинный убийца. Иван объяснил эту веру Алеши в безвинность брата его состраданием, но оно зрячее, чем холодный ум Ивана. Смердяков недаром больше всего ненавидит Алешу («презирает» на смердяковском языке), ибо Алеша сердцем видит Смердякова, видит его глубже и дальше, чем все другие Карамазовы. Он видит его моральное и духовное растление как главное и как более всего «перспективное» в нем. Так писатель раскрыл «перспективу» духовного вырождения буржуа.

Смердяковщина оказывается и родовым свойством «интеллектуалов» типа Макса Нордау, проповедовавшего, как известно, вырождение личности и целых народов. И разве не таковы нынеш-

ние идеологи сионизма с их архаичной претензией на мировое владычество, откровенно исповедующие программу Смердякова: чтобы «умная нация покорила бы весьма глупую-с».

С психологией буржуа связывается готовность продать за чечевичную похлебку такие первородные ценности, как любовь к Родине, исторические заветы народа, народная основа культуры и т. д. Происходит устранение социально здоровой основы культуры путем внесения в нее модернизма, «сексуальной революции» (столь распространенной сейчас на Западе), прикрытого и откровенного культа садизма. Деловито высказался один из американских кинопостановщиков, который на вопрос, какое влияние оказывают фильмы о насилиях на общество и молодое поколение, ответил: «Почему я должен об этом думать?»

Имевший возможность длительное время наблюдать «американский образ жизни», тамошнюю культуру Н. Федоренко, автор книги «Дипломатические записи», приводит любопытные свидетельства самих американцев о страшных порождениях механической цивилизации, о духовной опустошенности людей. Так, например, Гендрик Рейтенбек в книге «Фрейд и Америка» одной из причин духовного кризиса называет слабость традиций, отсутствие исторических корней. В книге Н. Федоренко приводятся слова американского критика: «Литература — царица всех искусств — уже не заключает в себе ныне ни мудрости, ни опыта, ни, главное, будущего мира». Царствует «индустрия развлекательной продукции».

Дух буржуа убивает все творческое. Для него все средства хороши и все аморальное — морально, была бы достигнута цель. Будь то чичиковская погоня за «мертвыми душами», будь то смердяковское «все позволено». И оба они, эти образы русской литературы, для современных буржуа «как пашпорт на вечную носку», говоря словами Гоголя, восхищавшегося меткостью обрисовки в народе «одной чертой» человеческих характеров.

Ст. художественный редактор Ю. Киселев

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 5/VI 1973 г. Подп. к печ. 18/VII 1973 г. А00461.
Формат 84×108 1/32. Печ. л. 10 (усл. 16,8). Уч.-изд. л. 21,4.
Тираж 468 000 экз. Зак. 1085. Цена 60 коп.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.

Ю. Киселев, «ОТСЫПКА ПЕРЕМЫЧКИ».

Художники «Молодой гвардии» побывали на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Сегодня мы воспроизводим рисунки, выполненные ими с натуры.

Очерк Вениамина Колыхалова «Меж крутых берегов» о гидростроителях крупнейшей в мире ГЭС читайте на стр. 224.

В. Хапугин, «ТАЙГА».





В августе в лесу поспевают плоды малины обыкновенной, черники, черной смородины, лимонника китайского, шиповника иглистого.

В этом месяце наиболее целебны также листья белены черной, дурмана обыкновенного, крапивы двудомной, красавки, подсолнечника, толокнянки обыкновенной и тысячелистника, цветы ромашки аптечной и ноготков лекарственных, корни одуванчика аптечного, валерьяны лекарственной и многих других растений.

Собирайте и сдавайте в организации сельской потребительской кооперации лекарственные растения!

ЦЕНТРОКООПЛЕКТЕХСЫРЬЕ ЦЕНТРОСОЮЗА



Цена 60 коп.
Индекс 70544